ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

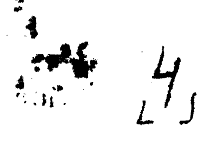
ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

ВОСПОМИНАНИЯ
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА
ЧИЧЕРИНА

Земство и Московская Дума



КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕВЕР»
МОСКВА — 1934

Ответств. редактор *М. В. Сабашников.*
Техред. *З. П. Измайлова.*



ВОСПОМИНАНИЯ

ЖИЗНЬ В ПРОВИНЦИИ

Вернувшись в частную жизнь, я поставил себе две ближайшие цели: написать курс государственного права, начиная с истории политических учений, и заняться делами земства.

Первая задача осуществилась только отчасти. Историю политических учений я сначала предполагал кончить в трех томах. Но по мере работы, рамки все раздвигались; в течение десяти лет я написал четыре тома, и все-таки не довел предприятия до конца*. Меня отвлекли другие работы, которые казались мне более полезными и самого меня более интересовали. К тому же я убедился, что сочинение в тех размерах, в каких оно у меня окончательно сложилось, совершенно не подходило к современным потребностям русской читающей публики. Мне хотелось обогатить русскую литературу таким произведением, какого нет даже в европейской публицистике; но всякая литература должна соответствовать современному состоянию умов. Многолетний труд можно предпринять только тогда, когда он находит сочувствие и поддержку, а в том и другом мне было отказано. Сочинение, которому я посвятил десять лет своей жизни, встречалось молчанием или недоброжелательством. Ни малейших признаков принесенной пользы я не мог заметить. Может быть, кому-нибудь моя книга пригодилась при чтении лекций; но следы этого чтения не обнаруживались ни в чем. Напечатанные томы были для меня только обузою, и я наконец увидел, что лучше употребить оставшиеся силы на что-нибудь другое. Таким образом, значительная часть пятого тома, уже написанная, осталась у меня в портфеле, а этот том не был еще последним. Что касается до остального курса, то я за него и не принимался. Приготовленные для университетских лекций тетради, частью даже вовсе не читанные, лежат у меня нетронутые. Может быть, когда в русском обществе снова пробудятся серьезные умственные и политические интересы, и они кому-нибудь пригодятся. Пока оно пробавляется журнальными статьями, о научных трудах нечего думать.

Вторая моя цель осуществилась вполне. В самый год моей отставки происходили земские выборы на новое трехлетие, и я сделался гласным, сперва уездного, а затем губернского собрания.

Участие в делах земства, в течение многих лет, оставило во мне одни хорошие воспоминания. Мне доводилось на своем веку видеть самые разнородные собрания, но это было единственное, в котором я чувствовал себя совершенно на своем месте. Отчасти это могло произойти оттого, что я родился русским помещиком; но думаю, что тут кроются и другие причины. Едва ли в России найдется другая среда, которая бы до такой степени приходилась чувствам и потребностям порядочного человека. Это не собрание чиновников, всегда имеющих в виду, что думает и скажет начальство; это не съезд дельцов, заботящихся единственно о частных своих интересах; это не ученое сословие, печальный образчик которого мне пришлось видеть так недавно*; это и не городское общество, где нередко выставляются вперед весьма необразованные элементы; наконец это и не дворянское собрание, которое и по составу и по способу производства дел представляет какую-то бестолковую сумятицу. Земство есть цвет дворянства поставленный в самые благоприятные условия для правильного обсуждения общественных вопросов; это — собрание независимых людей, близко знающих дело и совещающихся о тех жертвах, которые они готовы принести для общей пользы. Конечно, в семье не без урода. На обширном пространстве нашего отечества можно встретить всякого рода явления. Наши силы, вообще, скудны; людей слишком мало. Особенно там, где образованный дворянский элемент, живущий на местах, немногочислен, заправилами могут явиться лица весьма невысокого свойства. Но если в уезде находится несколько честных и порядочных людей, готовых действовать дружно, земство всегда будет идти недурно. В продолжении более двадцати лет моего пребывания в земстве, я видел недостаток сил, небрежность, легкомыслие, иногда мелкие раздоры, но не видал ни безобразий, ни гнусных интриг; в собраниях всегда господствовало чувство приличия и нравственного достоинства, я видел себя среди своих равных и не чувствовал себя униженным. Поэтому и на старости лет я всегда возвращаюсь в земские собрания как бы в свою семью, где все мне близко, знакомо и дорого.

Это — лучшее, что я видел в России. Провинция есть та еще нетронутая среда, из которой может выдти для нее обновление.

Время, в которое я вступил в земство, можно назвать порою молодости и свежести земских учреждений. Местные помещики всей душой предались этому делу. Перед ними открывалось новое, обширное поприще для деятельности вполне независимой; являлась возможность собственными силами и средствами устроить свой местный быт, и они принялись за это без малейшей задней мысли, одушевленные одним желанием общественной пользы. Кирсановское собрание было составлено отлично; в уезде было достаточно хороших элементов, которые все в него вошли. Не было таких выдающихся, европейски образованных личностей, какими некогда были Кривцов, Баратынские, мой отец *. Это поколение сошло в могилу, унеся с собою те высшие дары, которые были его украшением; но оно оставило по себе живые предания, гуманный и образованный дух, который царствовал в собрании. Председателем был уездный предводитель, Михаил Степанович Андреевский, человек невысокого ума и образования, впечатлительный и несколько шатких мыслей, но отличных нравственных свойств, безукоризненной честности и прямоты. Скоро, однако, он вышел и заменен был моим братом Владимиром, который девять лет был уездным предводителем и председателем мирового съезда. Можно сказать, что эти был золотой век Кирсановского уезда. Одушевленный самыми чистыми и возвышенными стремлениями, работник неутомимый, сам вникающий во все подробности, притом в высшей степени практический, с твердым и сдержанным характером, брат умел и направлять дела и действовать на людей. Он пользовался неограниченным доверием всех, и даже когда, по расстроенному здоровью, он покинул должность, он остался, как его называли, старостою Кирсановского уезда. Председателем управы в течение двенадцати лет был Михаил Сергеевич Баратынский, человек благороднейшего характера, хранивший все лучшие предания семьи и всею душою преданный общественному делу. Управа была составлена из людей дельных и работящих. В собрание съезжались не только помещики, жившие на местах, но и люди служащие, владевшие имениями в уезде. Приезжал бывший кирсановский предводитель и член губернского присутствия, в то время тамбовский вице-губернатор Перфильев, сделавшийся потом московским губернатором, человек мягкий и уклончивый, любивший пожить, но приятный в обществе, добродушный и обходительный, с некоторыми умственными интересами. Неразлучен с ним был и другой бывший член губернского присутствия во времена освобождения, милейший старик Астафьев, гуманный и образо-

ванный, хотя несколько витающий в облаках. Приезжал управляющий акцизными сборами в губернии, ныне директор департамента Марков, невысокого ума, но живой, деятельный и сведущий. Постоянным членом собрания был старик Соловой *; Олив, французского происхождения, сын бывшего таврического губернского предводителя, сдержанный и молчаливый, но в высшей степени порядочный и дельный; Михаил Семенович Кишкин, в то время член губернской управы, несколько болтливый и недалекий, но честный, работящий, усердный хозяин. Были и элементы другого рода: одним из последующих представителей старого времени являлся Матвей Филатович Лебедев, начавший службу в должности лесничего в начале века и наживший всякими средствами порядочное состояние, человек весьма неглупый, сохранивший до глубины старости всю свою грубую энергию. Были и богатые помещики северной части уезда, Иван Иванович Сатин и зять его Вальгард, набивавшие себе деньгу хозяйством; старый купец Сосульников, кирсановский миллионер. Но все они не отделялись от общего строя собрания. О крепостнических стремлениях и жалобах на уничтожение крепостного права не было и помину. Иван Иванович Сатин, которому свои интересы были всего дороже, сам говорил мне, что он увидел свет со времени освобождения крестьян. А с другой стороны, не было и популярничанья, которое так часто встречалось в те времена. С гласными от крестьян мы обходились, как с себе равными, подавали им руку, но они большею частью играли роль безмолвных зрителей. Самых дельных мы приобщали к комиссиям, допрашивали и вызывали их на объяснения по делам, близко им известным и касавшимся существенных их интересов; но редко случалось, чтобы кто-нибудь из них вставал от себя, чтобы сказать несколько слов. Главное их значение состояло в том, что они были свидетелями того, что делалось в собрании, и клали шары в пользу тех, кому они доверяли. Они могли сообщить населению, что дела в Кирсановском земстве велись с полною справедливостью, не только без ущерба крестьянам, но с заботливым вниманием к их потребностям и интересам. Лежавшие на них натуральные повинности были сняты и обращены в денежные, распределенные на всех. Через это разом сократились на 50 000 рублей расходы по подводной повинности, что одно с избытком окупало все траты на земские учреждения. Начали заводиться школы: улучшилась столь важная для крестьян медицинская часть, которая дотоле, можно сказать, почти что не существовала. И все это делалось разумно и постепенно. В то время мы еще не зары-

вались, как впоследствии, тратами на медицину, а шли шаг за шагом, соображаясь со средствами. Уезд процветал, и будущее представлялось в самом благоприятном свете. Прения в собрании были всегде дружеские. После заседания были общие, шумные и веселые обеды. Затем работающие шли в комиссии, которые обыкновенно продолжались до ночи; остальные проводили вечер в клубе. Три, четыре дня, в которые происходили заседания, были эпохами в уездной жизни. Каково было единодушие, которое в то время господствовало в Кирсановском собрании, можно видеть из следующего случая. Один из мировых судей, пользовавшийся общим уважением, потерял ценз; его приходилось выбирать единогласно, тайною баллотировкою*. У него были конкуренты; между прочим, старик Лебедев проводил своего племянника. И несмотря на то, вследствие общего желания уезда, он два раза был выбран единогласно.

Несколько лет спустя, этот строй нарушился по вине крестьянина. В числе членов управы был гласный от крестьян Пенин, человек очень дельный и исполнительный. Председатель, испытавши его не раз, вполне ему доверял. Он был казначеем управы, получал хранимые в уездном казначействе суммы. Вдруг стали замечать, что он кидает деньги, завел любовницу. Многие уговаривали Баратынского от него отказаться; тот отвечал, что не может этого сделать по простому подозрению, надобно доказать вину. Член управы Селезнев, человек очень дельный, говорил, что он внимательно следил за каждым шагом Пенина, стараясь его уловить из опасения собственной ответственности, но ничего не может открыть. Тем не менее Баратынский, видя общее настроение, при новых выборах, отказался баллотироваться; но Пенин был выбран вновь, хотя незначительным большинством. И что же вскоре оказалось? Негодяй воспользовался довольно первобытным устройством контрольной части в управе. Никому не приходило в голову, что надобно изредка сличаться с казначейством, и Пенин в течение нескольких лет брал деньги по подложным документам. На беду, у нас там лежали довольно значительные суммы железнодорожных гарантий, которые вследствие пререканий с правлением, не выплачивались, а оставались без употребления. Из них было украдено свыше 30 000; настоящей суммы не помню, да едва ли она была выяснена. Пенина предали суду; но прежде нежели дело началось, он умер в тюрьме, подорвав кредит тех людей, которые оказали ему доверие и приняли его в свою среду.

Этот печальный инцидент бросил, однако, лишь временную тень на наше уездное самоуправление. Когда нравственный

порядок имеет прочные основы, он разрушается не легко. На смену стариков выступило новое поколение; может быть с несколько меньшей ревностью к общественному делу, с меньшим отсутствием всяких личных побуждений и меньшею осторожностью в расходах, но и доселе я с удовольствием возвращаюсь в свое Кирсановское земское собрание, а в то время, когда я в него впервые вступил, я чувствовал себя, как рыба, пущенная в воду после пребывания на знойном песке. Это была среда мне близкая и сродная, где я мог действовать на просторе, не имея дела ни с гнусными каверзами бюрократии, ни с мерзостями журналистики, ни с личными интересами, гнездящимися в ученом сословии.

Я разом приобрел в собрании видное положение. С хозяйственными вопросами я почти вовсе не был знаком; но юридическое образование, знание русских законов, теоретическое изучение административных порядков отечественных и иностранных, и вдобавок полное отсутствие личных целей, привычка к работе, умение писать и изъясняться, все это давало мне некоторый авторитет. Старик Соловой с радостью сообщал мне, что все мною отменно довольны и даже купец Сосульников говорит обо мне с восторгом. Я одним из первых был выбран в губернские гласные.

В губернском собрании я познакомился уже не с местными только элементами, а с цветом всей губернии. На заседания, которые бывали в начале декабря, съезжались самые видные представители уездов, с севера и юга, с востока и запада. Это было уже чисто дворянское собрание. Крестьян не было вовсе, а из купцов весьма немногие. Но так как лица были менее друг с другом знакомы, и интересы более разобщены, то дела шли далеко не так удовлетворительно, как в уездных собраниях. В последних, по крайней мере в нашей губернии, лежал главный центр тяжести земских учреждений. Однако из губернских съездов я вынес хорошие впечатления. Это было собрание вполне порядочных людей; были и люди работящие. Прения велись добросовестно, если не всегда толково; о каверзах и интригах не было и помину.

Губернским предводителем был в то время и долго после Григорий Владимирович Кондоиди, женатый на моей двоюродной сестре Бологовской. Это был человек совершенно светский, большой поклонник прекрасного пола, почему его звали маркизом; но деловитостью он не отличался. Его неумение руководить прениями в значительной степени способствовало беспорядочному ходу дел. Он сам говорил, что в должности губерн-

ского предводителя единственно неприятные для него часы были те, когда он должен был сидеть в земском собрании на председательском кресле. Эти две недели были для него некоторого рода пыткою. Но в то время в нем ценили чувство чести и независимости, которыми он щеголял, как настоящий барин и дворянин. Ему можно было втолковать, что нужно, и положиться на то, что дело не получит кривого направления. Впоследствии он свихнулся. Живя широко и мало заботясь о хозяйстве, в котором он не знал толку, он вошел в долги и незаметно растратил свое довольно крупное состояние. Вследствие этого он стал покровительствовать разным довольно грязным лицам, которые давали ему деньги. Он начал заискивать и перед правительством, чего за ним прежде не водилось. В новое царствование, призванный к участию в правительственной комиссии, обсуждавшей реформу земских учреждений, он выдал их графу Толстому. Тогда от него отвернулись те, которые его прежде поддерживали, и он наконец принужден был оставить свою должность.

Из гласных первое время самое видное положение в собрании занимал князь Виктор Илларионович Васильчиков, генерал-адъютант бывший начальником штаба во время осады Севастополя. Там он снискал всеобщую любовь и уважение. После войны ему поручено было следствие о злоупотреблениях, и это поручение он исполнил блистательно. Затем он назначен был товарищем военного министра, но здесь, как говорил мне Дмитрий Алексеевич Милютин, он оказался несостоятельным. Он задумал разные неприложимые реформы и упорно стоял на своем. Видя, что его планы не принимаются, он вышел в отставку и поселился в своем имении Трубечин, Лебедянского уезда, где усердно занялся хозяйством. Это дело было совершенно по нем; он считался одним из лучших хозяев в России. Обладая большими средствами, ведя скромную холостую жизнь, он мог класть в имение все свои значительные доходы и действительно довел его до цветущего состояния, многократно вознаграждавшего положенный в него капитал. К нему ездили учиться; от него выписывали орудия, хотя подражать ему, при меньших средствах, было не легко. Вместе с тем, он был усердный земец. В собрании он имел значительный вес, как по своему общественному положению, так и по своим хозяйственным знаниям и наконец по характеру. Он был гуманен и обходителен; в нем не было и тени старых генеральских замашек. Приемы были самые симпатические, мягкие и сердечные. Но были и крупные недостатки: он был ограничен, самолюбив

и упорен. Когда он что-нибудь вбивал себе в голову, его уже ничем нельзя было разубедить. В это время он задался мыслью ввести в наши села обязательное обучение грамоте, мысль совершенно неприложимая к нашему сельскому быту и неосуществимая при недостатке учителей. Собрание, конечно, не могло принять этого предложения, и Васильчиков очень сердился за то, что его не поддержали.

Одним из самых усердных и работящих членов собрания был гласный Моршанского уезда, князь Николай Николаевич Чолокаев, женатый на дочери Василия Васильевича Давыдова, ныне губернский предводитель (1892). Это был человек вполне честный, прямой, бескорыстный и дельный. Всякий вопрос он изучал самым добросовестным образом, во всех подробностях. И у него являлось иногда упорство в мелочах, но с ним можно было столковаться. Когда Кондоиди оставил должность губернского предводителя, взоры всех обратились на Чолокаева. Долго он не соглашался расстаться с своею независимою жизнью в деревне. Страстный садовод, он с небольшими средствами завел себе великолепные оранжереи, сам няньчился со всяким растением и в это погружен был весь. Не легко ему было покидать свой деревенский приют, где он вел самую счастливую семейную жизнь с женою очень некрасивой наружности, но чрезвычайно сердечною, живою и приятною. Наконец он сдался, и Тамбовская губерния приобрела единственного путного губернского предводителя, которого я видел на своем веку.

Другим представителем Моршанского уезда был тогдашний уездный предводитель, Василий Григорьевич Безобразов, милейшая личность, тихий и скромный, а вместе сердечный, разумный и толковый. Он был богат, имел большое семейство и отменно вел свои дела. Из дальней Елатьмы приезжал Петр Петрович Дьяков, некогда блестящий светский кавалер, музыкант и певец, в то время уже состарившийся, но сохранивший как светское изящество, так и светскую легкость.

Совершенный контраст с этими представителями Севера составляли борисоглебцы. Их называли южными штатами. Тут встречались последние отголоски крепостнических стремлений, однако в преобразованном виде, приноровленном к новому быту. Весь уезд был в руках немногих лиц, которые делали, что хотели. Рассказывали, что вся полиция у них на откупу и сгоняет крестьян на работу. Когда же губернатор приезжал на ревизию, его встречали с величайшими почестями, кормили и поили с утра до вечера и провожали обратно ошеломленного и очарованного. Зато для своего уезда они умели выхлопотать и

железные дороги, и банк, и всякие льготы. Борисоглебск сделался одним из выдающихся городов Тамбовской губернии. Главными заправилами уезда были Дмитрий Васильевич Садомцев и Федор Михайлович Сальков. Последний был, в сущности, грубый мужик, весьма неглупый, отпускавший иногда острые и едкие шутки насчет лиц и дел, но ленивый, принимавший к сердцу только свои личные выгоды и весьма равнодушный к общественным вопросам. Садомцев же был человек гораздо высшего свойства. Студент Московского университета, он причастен был высшему образованию, но весь свой недюжинный ум и свою необыкновенную силу воли он обратил на практическое дело. В своем уезде он был и предводителем и председателем управы. Все перед ним преклонялось; всякую оппозицию он умел устранить. Наш сосед Леонид Алексеевич Воейков, тоже борисоглебский гласный, искренний и правдивый человек, которому эти порядки вовсе не приходились по вкусу, рассыпался в тщетных протестах и наконец совсем вышел из земства. Но в губернском собрании, где личные его интересы не были замешаны, Садомцев был одним из самых полезных членов. Во всякий вопрос он вносил свет, выставляя все его практические стороны, не отказываясь, когда нужно, и от работы. Он был и приятный собеседник, бойкий, живой, с разнообразием практических сведений. Я очень жалел, когда он впоследствии, расстроив свое состояние и потеряв наконец почву в уезде, выселился из нашей губернии. И рядом с этими двумя мужиковатыми представителями энергической практики, неразборчивой на средства, являлся изящный посетитель петербургских гостиных, камергер князь Волконский, сын декабриста,* впоследствии попечитель Петербургского учебного округа и товарищ министра народного просвещения. С несколько лисьей физиономией, свойственной семье Раевских, от которых он происходил по матери, он соединял утонченные формы, вкрадчивые приемы; он был отменно любезен и приятно пел итальянские арии. Но под этою светскою наружностью скрывались чисто практические цели, которые сблизили его с заправилами Борисоглебского уезда. Ему нужно было провести в Борисоглебск железную дорогу и на этом нажиться, а для этого ему необходима была помощь местных дельцов. Он явился для них искусителем. Ниже я подробно расскажу эту историю. Я сам видел фотографическое изображение этой странной группы, которая была снята в память успеха, увенчавшего предприятие: по обоим бокам сидят грубоватые провинциальные крепыши, Садомцев и Сальков, а посреди них, в камергерском мундире, возвышается тонкая фигура

князя Михаила Сергеевича Волконского,* с улыбкою, обличающею внутреннее довольство от крупной удачи. В губернское собрание Волконский являлся изредка, больше для виду, не принимая живого участия в делах. Личного интереса тут не было никакого, а потому он держал себя больше в стороне. Только когда задумали устроить земский банк, он выбран был членом комиссии и согласился быть уполномоченным для ходатайства, но и это делалось больше для формы, ибо серьезного результата из этого не могло выйти.

Смесь самых разнородных элементов представляли выборные от многолюднейшего уезда, Тамбовского. Тут был уездный предводитель, Михаил Павлович Оленин, который двадцать четыре года оставался представителем дворянства, несмотря на весьма сомнительную репутацию. Причастный разным некрасивым делам, он умел подбирать себе партию и уступками и обходительностью ладить со всеми. В прениях губернского собрания он не принимал, впрочем, никакого участия. Рядом с ним сидел Лев Вышеславцев, бывший впоследствии много лет председателем губернской управы, человек вполне честный и порядочный, умеренного либерального направления, при этом хороший хозяин, способный к труду, но довольно молчаливый, сдержанный и недалекого ума. Тамбовским гласным был и брат Сергей, самый чистый и бескорыстно преданный земскому делу человек, какого можно было встретить, своим мягким характером снискавший общее расположение, без хозяйственных способностей, но хороший работник, не увлекающийся фантазиями. Удивительное сочетание разнородных свойств и побуждений представлял бывший секретарь дворянства Муратов, приобретший на этом месте репутацию ума, безукоризненной честности и знания дела, но в сущности темная личность, и умственно и нравственно. Из-под густой шапки его черных волос сверкали маленькие, глубоко впалые черные глаза, которые не предвещали ничего доброго. Когда он говорил, от так путался в мыслях, что трудно было разобрать, чего он именно хочет; но он очень хорошо знал, что именно ему нужно, и преследовал свою цель всякими потаенными путями. Неподкупный с денежной стороны, несмотря на весьма скудные средства, он готов был итти на всякие каверзы. Зная его прежнюю репутацию, я не прочь был с ним сойтись, но скоро отвернулся, увидев ложь на каждом шагу. Он был в это время и долго после членом губернской управы, где имел авторитет знанием канцелярских порядков и приносил ту пользу, что подбирал дельных исполнителей, на которых сваливал всю обузу, сам

предаваясь лени и нисколько не заботясь об успешном ходе земского хозяйства. В этом отношении своею наклонностью к рутине и эгоистическим направлениям, он скорее служил препятствием. Совершенно подстать ему был и другой тамбовский гласный, молодой купец Слетов, очень умный, бойкий и дельный, но весьма ненадежный, даже с какою-то прирожденною наклонностью к кривым путям и интригам. В первое время Васильчиков превозносил его до небес, но скоро его раскусил, и сам он не долго умел продержаться: стремясь к быстрому обогащению, он пустился в предприятия, разорился и вышел из земства.

Наконец, любопытную пару составляли два брата Бланк, выборные от Усманского и Липецкого уездов. Старший, Григорий Борисович, имел совершенно вид вороны, каркающей без перерыва при всяком удобном случае. Это был отъявленный крепостник, который еще при первых толках об освобождении крестьян яростно защищал крепостное право, видя в нем спасение России. Мне пришлось по этому поводу преподать ему весьма неприятный исторический урок печатно, и я думал, что он питает против меня злобу. Ничуть не бывало. Когда мы десять лет спустя встретились с ним в Тамбовском губернском собрании, он подошел ко мне с распростертыми объятиями, как будто я оказал ему величайшую услугу. Но это было не добродушие, а какое-то развязное отношение к людям и вещам, которое характеризовало всю его деятельность. Он говорил обо всем на свете с величайшею самоуверенностью, но обыкновенно без всякого толку, как будто он излагал затверженный урок, вовсе не заботясь о результате. Поэтому никто его не слушал; авторитета в собрании он не имел никакого и свои крепостнические убеждения он не решался высказывать.* Брат его, Петр Борисович, в то время председатель губернской управы, был, напротив, добродушнейший человек на свете, но толку от него было столь же мало, как от Григория Борисовича. Главная страсть его был писать проекты. На это он посвящал все свое время, исписывал целые кипы бумаг и все это рассылал для предварительного обсуждения по уездным собраниям. И досадно и смешно было читать эти, большею частью нелепые, произведения, которые отнимали драгоценное время. До обсуждения в собрании они обыкновенно не допускались, а хоронились в комиссиях; но Петр Борисович не унимался и к каждой новой сессии готовил новые кипы проектов.*

При таком председателе и таких членах, как Муратов, который постоянно подкапывался под товарищей, и Кишкин, кото-

рый больше болтал, нежели делал дело, управа не могла пользоваться весом. Тем не менее в год моего вступления она была избрана вновь. Васильчиков ее сочинил и поддерживал. Нужно было новое трехлетие, прежде нежели она износилась совершенно.

О кирсановских гласных я уже говорил выше. Все самые видные люди нашего уезда были членами губернского собрания: брат Владимир, Андреевский, Баратынский, Соловой, Астафьев. Вообще, собрание состояло из людей с умеренным образом мыслей и с практическим направлением. В нем не было резкого различия партий; господствовал скорее охранительный дух, но без сетований о прошлом и с гуманными взглядами; было желание улучшений, но без всякого задора. Мы твердо стояли на почве новых преобразований, стараясь устроить предоставленное нам дело, не оглядываясь назад и не забегая вперед. Это было именно то, о чем я мечтал.

Заседания обыкновенно продолжались от десяти до пятнадцати дней. Это было время большого оживления в довольно однообразной провинциальной жизни. И мужчины и дамы интересовались земскими делами, ездили на хоры, слушали речи. После заседаний обыкновенно бывали обеды, то у губернского предводителя, то у губернатора. Нередко приезжие высшего полета обедали в доме моей матери. Сестра,* тогда еще незамужняя, любила принимать и угощать. После обеда начиналась работа в комиссиях, часто до поздней ночи. Все завершалось общим земским обедом, на котором чествовали губернатора в знак согласного действия земства и администрации. Губернатором в то время был Николай Мартынович Гартинг, чистый чиновник, нередко мелочной, но толковый, с которым можно было жить. Он не старался везде выказать свою власть, не обижался, когда делали не по нем; если бывали несогласия, то не было столкновений. Этого нельзя было не ценить. Я с признательностью поднимал бокал за его здоровье на земском обеде.

В самую первую сессию мне пришлось, однако, выступить против разных министерских циркуляров и распоряжений, характеризующих взгляды и приемы нашей высшей бюрократии. По поводу предположенного одним земским собранием института сельских учителей министр государственных имуществ разослал управляющим палатами циркуляр, в котором изъяснял им для руководства в будущем, «что всякий земский сбор, вызванный добровольным пожертвованием земства на осуществление какого-либо предприятия, хотя бы и весьма полезного, но не составляющего существенной необходимости», не должен распростра-

няться на казенные земли. Земства пришли в недоумение, ибо по закону казенные земли облагались совершенно на одинаких основаниях с прочими; ни о каких добровольных пожертвованиях в законе не было речи, а установлено было только различие между повинностями обязательными и необязательными. Некоторые земские собрания заключили, что министр говорит о последних, а так как у нас привыкли министерским циркулярам подчиняться наравне с законом, то на этом основании они выкинули казенные земли из раскладки на необязательные повинности. Однако на это последовал новый циркуляр, в котором объяснялось, что министр вовсе не имел в виду отрицать участие казны в необязательных расходах, например по училищной или медицинской части, а вменяется только в обязанность представителям министерства протестовать в тех случаях, когда предполагается привлечь казну к участию в таких расходах, которые вызваны не существенными местными потребностями земства, а добровольными пожертвованиями на особые предметы и на предприятия, не имеющие прямого отношения к местным губернским интересам земств, например, на сооружение памятников, на устройство празднеств или на промышленные предприятия, в которых земство являлось бы учредителем и акционером. Тут уже окончательно нельзя было ничего понять, ибо институт сельских учителей, по поводу которого возник этот вопрос, очевидно принадлежал к числу необязательных потребностей на народное образование, а отнюдь не мог быть причислен к разряду памятников или празднеств.

Между тем, в нашем губернском собрании возник именно вопрос подобного рода. Собрание просило о переводе Тамбовской губернии из Харьковского учебного округа в Московский, так как сношения с Москвою были и ближе и удобнее. Министр народного просвещения изъявил согласие, но с тем, чтобы земство уплачивало казне ежегодно по 5 500 рублей. На каком основании предъявлялось подобное требование, неизвестно; однако земство согласилось и определило внести эту сумму в смету. Но представитель министерства государственных имуществ протестовал против разложения этих денег на казенные земли. Вопрос дошел до министра внутренних дел, который, усваивая себе теорию министра государственных имуществ, согласился с протестом и объявил, что это — расход для земства не существенный, а потому казенные земли не должны быть к нему привлечены. Губернскому собранию предстояло решить, согласится ли оно с министром или останется при своем мнении, в каковом случае вопрос, на основании 97-й

статьи Положения о земских учреждениях, должен был перейти в Сенат.

Я был докладчиком комиссии, выбранной по этому поводу губернским собранием. Я выяснил, что и циркуляры министра государственных имуществ и решение министра внутренних дел несогласны с законом, который точно и ясно определяет случаи, когда постановления земского собрания требуют утверждения министра или могут быть остановлены, случаи, неприменимые к настоящему. Законом установлено общее правило, что казенные земли облагаются наравне со всеми прочими; ограничение этого правила министерскими циркулярами и распоряжениями есть частная отмена закона административным путем, а вместе нарушение прав, дарованных земству верховною властью. Через это 14-я статья Временных правил, высочайше утвержденная, волею министра заменяется другою, в силу которой от усмотрения министра внутренних дел зависит, допускать или не допускать обложение казенных земель на потребности земства, смотря по тому, признает ли он эти потребности существенными или несущественными.

«Комиссия, — писал я, — считает делом существенно важным не отступаться от своего права, даже в маловажных делах, ибо одно нарушение влечет за собою другое, между тем как твердая и стойкая защита своих законных прав одна в состоянии устранить произвол и внушить уважение к земству Твердость законного порядка составляет ныне существеннейшую потребность отечества. Это — одно, что может упрочить те великие преобразования, которые делают настоящее царствование вечно памятною эпохою в русской истории. Содействовать всеми силами этой цели, таково одно из главных назначений земства. В прежнее время, пока в России господствовал один бюрократический порядок, усмотрение властей было главным элементом управления. Но преобразованиями нынешнего царствования рядом с администрациею установлены самостоятельные учреждения, сдерживающие произвол, и между ними главное место занимает земство. Чтобы независимые друг от друга учреждения могли действовать согласно для общественной пользы, необходимо, чтобы каждое знало пределы своего права и чтобы все стояли на общей почве закона. Уважение к закону — таково непоколебимое основание, на котором зиждутся все наши права. Мы должны сами показывать тому пример, мы можем требовать этого от других. Русское земство может твердо стоять на этой почве, с уверенностью, что державная рука, даровавшая ему права, не оставит его без защиты».

Вследствие этого комиссия полагала, что мы ни в каком случае не можем отказаться от обложения казенных земель. Но с другой стороны, плата во веки-веков 5 500 рублей в министерство народного просвещения, для удобства нескольких студентов и гимназистов, казалась нам расходом и не совсем правильным и в сущности бесполезным, тем более, что при

› строящихся железных дорогах сношение с Харьковом ›вилось гораздо легче. Поэтому мы предложили и собрание яло следующее постановление:

:ея в виду, что 14-ю статьею Временных правил для земских учре-й земству присвоено право облагать казенные земли на одинаких ıниях с землями частных владельцев; что всякое ограничение права, как частная отмена закона, может быть установлена едино законодательным порядком, и что поэтому ни означенные цирı г. министра государственных имуществ, ни основанное на них ие г. министра внутренних дел не может служить руководством ·мства; Земское собрание не может согласиться в основании с эм г. министра внутренних дел на счет обложения казенных земель, ;ругой стороны, имея в виду неудобство и препятствия, которые :ает издержка в 5 500 рублей на перечисление Тамбовской губер-: Харьковского учебного округа в Московский, а также изменив-обстоятельства, земское собрание определяет: исключить эту из сметы.»

·омиссии редакция этого доклада встретила возражение › со стороны одного из шести членов, Астафьева, не по тву, а по форме. Остальные все подписали согласие, не › с существом дела, но и с редакциею, в том числе не › образованные и либеральные люди, как брат Сергей и в, но и старые крепостники, Сальков и Григорий Бланк. рании доклад был встречен общим сочувствием; никто не ıеня революционером. В те времена земство высоко дер-голову и говорило твердым языком, не требуя лишнего отступая от своего права. Так недавно еще воля министра ıась высшим законом, перед которым все должны были лвно преклоняться; совершенные преобразования все это перевернули: они дали независимым людям возможность ıвать свое достоинство. И администрация, даже в эту ıонную пору, когда Шувалов был уже первым лицом в ·рстве, считалась с земством и оказывала ему уважение. была среда, в которой можно было действовать. Не знаю, :ал ли этот вопрос где-нибудь в другом месте; у нас, по ей мере при мне, о нем не было более помину.

·онимал однако, что такими случайными докладами нельзя ·вляться. Чтобы действовать в земстве, надобно было ·ательно изучить земское хозяйство. Лучшим для этого ·вом я считал ревизию. Я был выбран членом ревизион-омиссии, которая будущему собранию должна была пред-ть свой доклад. За месяц до открытия заседаний я отпра-в Тамбов и погрузился в работу. Случилось так, что из ıленов ревизионной комиссии налицо были только двое: Сергей и я. Он взял страховое дело, а я все остальное.

Главным предметом ревизии были обширные заведения, переданные земству бывшим Приказом общественного призрения*: больница, дом умалишенных и сиротский дом. К этому присоединялись вновь заведенная типография и губернский сбор. Для меня дело было совершенно новое; надобно было изучать его, начиная с азбуки. Всякий день, в течение месяца, с десяти часов утра до трех и затем от семи вечера до ночи я сидел в управе, изучая все подробности бухгалтерии, хозяйства и отчетности. К счастью, нашлись дельные люди, с которыми можно было работать. Управа была плохая; от нее трудно было добиться толку. Но канцелярия была хорошая: был весьма сведущий бухгалтер Коршунов и отличный контролер Доброхотов. От них можно было получить все нужные справки и указания. Когда же, в отсутствие контролера, я обращался за разъяснениями к члену, заведующему отделением богоугодных заведений, Муратову, я получал такие ответы, из которых я мог убедиться, что он дела не знает и, что еще хуже, для покрытия своего незнания — врет. Поэтому я перестал его спрашивать. К невинному Петру Борисовичу Бланку, разумеется, еще менее можно было приступать с вопросами: это значило вызывать бесконечные разглагольствования без всякого путного содержания. Однажды, когда я сидел за работой, он явился в управу в восторженном состоянии, неся в руках присланный ему из Петербурга проект всесословной волости. Я очень озадачил его, сказавши, что я вовсе не сочувствую подобному нововведению, ибо сам в волостные старшины не пойду, а жить под начальством мужика не желаю.

Я не ограничивался впрочем расспросами канцелярии. По ревизионной части я обращался за справками к братьям Андрею и Сергею, которые оба служили в контроле, а по хозяйственной части ко всем, кто практически был знаком с делом и мог доставить мне нужные сведения. Жители Тамбова с любопытством следили за ходом моей ревизии. В маленьком городе все известно. Мне сообщали, что губернатор говорил своим знакомым: «теперь дело идет о припеке». А несколько дней спустя: «теперь дело идет о квасе». В результате вышел, могу сказать, самый обстоятельный ревизионный доклад, который когда-либо представлялся тамбовскому собранию. Бухгалтерская часть, отчетность, припасы, продовольствие больных и умалишенных, постройка белья и одежды, ремонт зданий, все было исследовано в величайшей подробности; изложено состояние дела, указаны недостатки и средства исправления. Все были удивлены, ибо никто от меня этого не ожидал. С тех

пор я получил репутацию делового человека. Доклад брата Сергея был тоже весьма ясный и обстоятельный.

Этим я не ограничился. Мне хотелось внести порядок в губернскую смету, которая была в довольно безобразном виде. По моему предложению, при открытии собрания была выбрана комиссия из десяти членов для рассмотрения смет и докладов. Она должна была по собственному усмотрению распределиться на две: на сметную и докладную. Я записался в первую и пригласил себе на подмогу самых дельных по этой части членов собрания: князя Челокаева, Садомцева, Воейкова. Я был председателем и докладчиком. Мы рассмотрели смету в мельчайших подробностях. Изучивши теоретически правила составления сметы во Франции и у нас, я приложил эти правила к губернской смете и предложил собранию принять их в руководство. Смета получила стройность и ясность. С тех пор я всякий год, и в губернии и в уезде становился председателем и докладчиком сметной комиссии. Позднее, когда я, по своим частным обстоятельствам, устранился и даже временно вышел из земства, меня заменил Челокаев, который со страстью предался этому делу. Но года два тому назад, когда я опять вступил в губернское собрание, я снова пошел в сметную комиссию, и Челокаев, по старой памяти, предоставил мне председательство, как зачинателю этого дела.

Мне хотелось совершить еще одну, по моему мнению, необходимую работу: установить твердые и ясные правила отчетности и ревизии. Когда я вступил в ревизионную комиссию, я был как в лесу и не знал, к чему приступить. Нужен был упорный месячный труд, чтобы познакомиться с приемами. Этого нельзя было требовать от всех земских людей. Я считал необходимым выработать такие правила, чтобы каждый новый член ревизионной комиссии тотчас знал, за что ему приняться и как действовать. Но эту работу я не успел исполнить. Скоро я по обстоятельствам от ревизии отстал и потом, как сказано, временно вышел из земства. Когда я вступил в него снова, я предложил губернскому собранию избрать комиссию для составления этих правил. В нее вошли оба мои брата, сведущие по контрольной части. Но тут последовало преобразование, или, скорее, искажение земских учреждений. Было объявлено, что составление правил отчетности и ревизии возлагается на особую правительственную комиссию, которая, однако, до сих пор ничего не выработала. Земская же комиссия, в виду этого, не принималась за работу. Так это дело и остановилось (1892).

В 1870 году в губернском собрании возник политический

вопрос, который косвенно был возбужден самим правительством. Последовало высочайшее повеление о замене платимых податными сословиями подушных окладов другими сборами. С этою целью в министерстве финансов был составлен проект, которым предполагалось собственно подушную подать заменить подворною, а подушный государственный земский сбор переложить на земли *. Комитет министров постановил разослать этот проект в губернии для обсуждения в земских собраниях, замечая при этом, что ни одно из положенных в основание проекта начал не предрешено правительством. От земства требовалось доставить заключение по следующим вопросам: 1) какие изменения, по местным условиям крестьянского быта каждой губернии, представляется нужным сделать в проекте, 2) какая часть общей суммы подушных сборов (подушной подати, государственного земского и общественного сборов), взимаемых в губернии, может быть переложена на земли и какая на дворы; 3) как уравнительнее распределить по уездам и волостям губернии подворный налог и указать, какие, по местным условиям, следует установить оклады подворного налога и поземельной подати в различных местностях губернии, так чтобы в общем итоге вносимая ныне по губернии сумма сборов не уменьшилась.

Вопрос касался, повидимому, только податных сословий. Но тайная мысль правительства состояла в разложении податей на всех. В 18-й статье проекта прямо было сказано, что если поземельного налога не будет доставать на потребности, то при повышении излишек будет распределяться на все земли. В то же время последовало высочайшее повеление, в силу которого одна четверть существующего государственного земского сбора разлагалась на земли всех сословий. Очевидно, правительство било на общую меру, но не решалось прямо ее провести, а желало вызвать мнения земских собраний.

Для рассмотрения этого вопроса в губернском собрании была избрана комиссия, председателем которой был князь Васильчиков, а я докладчиком. Нам предстояло: 1) рассмотреть самые основания проекта; 2) указать те сведения, которые требуются от уездов для окончательного разрешения предложенных правительством вопросов.

При обсуждении оснований проекта мы отправлялись от того положения, что господствующая у нас система подушных сборов была вызвана существовавшим в России отношением между пространством и народонаселением: земли в старину было вдоволь, а население было скудное, вследствие чего земля

сама по себе цены не имела и не могла нести податной тяжести, которая неизбежно падала на труд. Ныне это отношение изменилось, однако не настолько, чтобы земля могла нести главное бремя. На основании существующей арендной платы мы рассчитывали, что крестьянин с наделом в три десятины может чистого дохода от земли получить средним числом 15 рублей в год, тогда как взрослый работник без лошади в состоянии заработать от 60 до 70 рублей, а с орудиями и скотом гораздо больше. Поэтому мы полагали, что значительная часть податного бремени все-таки должна падать на труд. Но мы восставали против той формы обложения труда, которая была усвоена правительственною комиссиею. Предполагавшаяся ею подворная подать была в сущности замаскированная подушная. Двор принимался только как податная единица; распределение же общей суммы по наличным работникам предоставлялось самим обществам. Это было возвращение к той системе, которая господствовала в XVII веке *. Мы признавали такое смешение двух разнородных начал совершенно ложным в теории и непригодным на практике, и предлагали взамен того отделить личную подать от подворной. Первая должна падать на всякого взрослого работника, в размере от одного до двух рублей, вторая на домовладельцев по степени их зажиточности, которая может быть удостоверена страховыми списками. Таким образом мы принимали троякий предмет обложения: землю, труд и капитал, которого признаком служит двор. «Подать, — говорили мы, — должен уплачивать каждый землевладелец, каждый домохозяин и каждый работник». С этой точки зрения мы определяли те сведения, которые требуются от уездов. Думаю и теперь, что принятые нами начала были верны.

В заключение мы высказывались насчет распределения податей на все сословия, указав на то, что этот вопрос возбуждается самим правительством.

«Комиссия полагает, — сказано было в докладе, — что земство, как учреждение всесословное, не может не сознать справедливость равномерного разложения всех налогов и повинностей; но в то же время оно не может отказаться от тех начал, которые служат основанием его существования. В земстве все сословия равно подлежат налогам, но вместе с тем все равно участвуют в установлении этих налогов и все обсуждают те потребности, на которые они даются, а сознавши необходимость налога, каждый легко и свободно несет его тяжесть. Всякое отступление от этого коренного закона повлечет за собою сомнение и лишит земские учреждения возможности сознательно заведывать своим хозяйством. Административное распоряжение, сделанное в Тамбовской губернии по поводу той четвертой части государственного земского сбора, которая отнесена в нынешнем году на земли всех сословий, слу-

жит тому наглядным примером. В прошедшем трехлетии, с губернии ежегодно взималось 858 000 рублей государственного земского сбора. Казалось бы, что четвертую часть этого сбора должна составлять сумма в 214 500 рублей, которую и следует разложить на все земли. Между тем, циркулярным предложением г. министра финансов от 12 июня предписано было всю взимавшуюся прежде сумму оставить подушным окладом на крестьянах, а сверх того сумму в 440 000 рублей разложить на все земли губернии. Таким образом, по смыслу предложения г. министра финансов, наша губерния должна уплачивать в полтора раза более, нежели прежде. Крестьяне не только не облегчены, но обременены новою тяжестью, падающею на все земли; остальные же сословия должны уплачивать подать, которая простирается от $8^1/_4$ и даже до $11^3/_4$ коп. с десятины. По каким соображениям и по какому расчету мы обложены таким образом, остается для нас сокровенным. Невольно приходишь к тому заключению, что такой способ обложения идет в разрез с утвержденным уже правительством порядком вещей, по которому равносильные этому налогу земские сборы подчинены всестороннему обсуждению земских собраний.

На основании всего вышесказанного, комиссия, сознавая последовательность и единство действия, при которых совершены все коренные преобразования последнего времени, пришла к тому убеждению, что и в настоящем случае правительство несомненно будет продолжать развитие признанных им уже начал и совершит эту новую реформу в духе общего законодательства о земских учреждениях».

Первоначально к этому заключению прибавлены были некоторые общие соображения насчет связи податного вопроса с конституционным; но Васильчиков решительно воспротивился помещению их в доклад. Я предлагал включить их не от имени комиссии, а как высказанное в ней мнение некоторых членов. Он уперся и объявил, что скорее выйдет из комиссии, нежели подпишет подобный доклад. Пришлось уступить. Я изложил свои мысли в виде приложенного к докладу особого мнения, которое было подписано двумя членами: мною и Вышеславцевым. В таком виде я прочел его в собрании. Помещаю его здесь вполне.

«Двое из членов комиссии сочли нужным прибавить к этому еще следующие соображения, имеющие более общий характер. Уравнение тяжести есть, без сомнения, требование справедливости; но справедливость удовлетворяется только тогда, когда обязанностям соответствуют и права. Равенство бесправия не есть требование правды. Успех гражданственности состоит не в умалении, а в возвышении права. Ныне сословия в России разделяются на податные и неподатные. На первых лежит все бремя государственных налогов, которыми они облагаются без всякого с их стороны участия. Последние же изъяты от государственных податей, но в земских и сословных учреждениях они уплачивают те сборы, на которые они добровольно изъявили свое согласие. Обращение неподатных в податных было бы очевидно умалением, а не возвышением права. Развитие русской гражданственности на тех началах самоуправления и самодеятельности, которые насаждены великими

преобразованиями настоящего царствования, может состоять единственно в поднятии низших к уровню высших, то-есть, в призвании всех к участию в обсуждении платимых ими податей. Привилегии должны уступить место общему праву. Все значение привилегий заключается в том, что через них вырабатывается право, и если бы высшие сословия сошли с своего высокого места, не приобретши ничего для всех, они не исполнили бы своего исторического призвания.

Такое развитие учреждений вытекает из самого существа податных обязанностей, падающих на различные классы общества. Пока подати в государстве лежат на одних низших сословиях, обложению есть предел, установленный самою природою вещей. С низших сословий нельзя брать более того, что может платить бедный. Но как скоро податью облагаются зажиточные классы, этот предел исчезает. Тогда нужны гарантии другого рода. Они могут состоять только в устройстве податной системы на тех началах, которые положены в земских учреждениях. Низшие сословия безропотно несут все налагаемые на них тяжести, потому что они в одиночестве к государственной самодеятельности неспособны. Но как скоро податью облагаются высшие сословия, так естественно в них пробуждается желание знать, что и зачем они платят, и самим участвовать в распоряжении своими сборами. Вся история доказывает, что эти два вопроса неразрывно связаны друг с другом. Везде, где высшие сословия устранялись от участия в обсуждении податей, тем они, вместе с тем, освобождались от платежа, и, наоборот, всеобщая податная обязанность непосредственно влекла за собою и право.

От правильного решения этих вопросов зависит вся будущность нашего отечества. Мы не хотим предупреждать событий; мы во всем полагаемся на благую волю, обновившую Россию. Но, призванные к выражению своих мнений на счет предложенных нам вопросов, мы не можем не выразить глубокого убеждения, что уравнение податей должно совершиться на земских началах. С водворением справедливости должно идти рука-об-руку развитие свободы. Этот путь, прозреваемый нами в будущем и предначертанный в мудрых начинаниях монарха, составляет залог всего нашего благоденствия».

Вопрос был щекотливый, поэтому решено было, с общего согласия, что доклад и приложенное к нему мнение прочтутся перед самым закрытием собрания, которое, не пускаясь в прения, выберет новую комиссию для разработки данных, требуемых от уездов. В Петербурге наше заявление было принято неблагосклонно. Министр внутренних дел Тимашев рассказывал, что я требую конституции.

Конституции я не требовал, но указывал на связь податного вопроса с конституционным. Это я старался разъяснить своим московским приятелям еще во времена дворянских конституционных манифестаций. Восставая против тогдашних стремлений, как несвоевременных, я говорил им: «дайте змее съесть одного кролика; когда она его переварит, дайте ей другого. Но если вы ей дадите двух зараз, она лопнет. Со временем непременно возникнет податной вопрос; тогда я буду с вами». Он

возник ранее, нежели я ожидал, и я сделал свое заявление, не думая через это достигнуть практической цели, но считая необходимым выяснить, как правительству, так и обществу, тесную связь обоих вопросов.

Но когда я, после тамбовского губернского собрания, приехал в Москву, я нашел там совершенно другое настроение. Под влиянием славянофильских идей демократического равенства под самодержавною властью московская комиссия била прямо на подчинение всех сословий податному бремени, без всяких гарантий. Столица увлекла за собою провинцию, чем оказала плохую услугу России. Вред славянофильского направления оказывался здесь на практике. Выше демократического абсолютизма, т. е. худшего образа правления, какой есть на свете, они ничего не видели. В Москву частными письмами созваны были представители земства отовсюду. Собралось более тридцати человек. Тут я в первый раз увидел Александра Илларионовича Васильчикова, который в то время уже подвизался на литературном поприще, и который поразил меня своею важною пустотой. Он воображал себя авторитетом и, кроме вздора ничего не говорил. Совещание происходило на квартире Петра Алексеевича Васильчикова, в доме графа Орлова-Давыдова на Страстном бульваре. Председательствовал Юрий Федорович Самарин. Прения были оживленные. Я доказывал, что высказаться в пользу уравнения податей, без всякой гарантии, значит просто открыть свой карман и сказать правительству: черпай оттуда все, что угодно. Мне возражали, что сначала надобно удовлетворить справедливость, а там уже само собою, когда будут бить по карманам, возникнут требования гарантий. Я ответил, что тогда будет поздно; общество, которое так легко жертвует своими правами, никогда не решится требовать новых. Наконец, Самарин поставил на голоса вопрос: следует ли уничтожить различие между податными и неподатными, между черными и белыми? Я отвечал, что готов подать голос за уничтожение этого различия, но с тем, чтобы черные сделались белыми, а никак не с тем, чтобы белые сделались черными. На это Кошелев отвечал: «нет, вот видите, так как мы не можем быть все беленькими, так давайте быть все черненькими». Это был достойный эпиграф к трудам московской податной комиссии. И огромное большинство собрания с полною готовностью пошло в черненькие. Случилось, что в этот самый день я обедал у Пушкина с Голохвастовым. После обеда мы с Голохвастовым вышли вместе, взяли извозчика и поехали в заседание. Видя общее настроение, которое уже достаточно высказалось нака-

нуне, я ему заметил: «вся конституционная партия в России сидит на этих дрожках». Нашелся, однако, третий, который не только подал голос вместе с нами, но и сказал сильную речь в пользу конституционных гарантий. Это был председатель Владимирской губернской управы, Петр Иванович Николаев. Остальные, помнится, все были за безусловное очернение.

Но можно ли было ожидать, что земские люди будут стоять за дворянские права, когда само московское дворянство, столь недавно еще волновавшееся конституционными вожделениями, рукоплескало отнятию присвоенных ему дворянскою грамотою прав? В это самое время вышел новый Рекрутский устав, которым дворянство, наравне со всеми прочими подданными империи, подвергалось рекрутской повинности. Это была отмена основной статьи жалованной дворянской грамоты, которою дворянству на веки-веков даровалась свобода от обязательной службы. * При разрушении государственного строя, опиравшегося на сословные различия, и водворении на место его порядка, основанного на всеобщей свободе и равенстве, эта льгота, рано или поздно, конечно, должна была пасть. Нежелательно было уничтожение исторически укоренившейся свободы без замены ее другою, высшею. С точки же зрения чисто дворянской, подчинение благородного сословия рекрутчине, наравне с мужиками, шло наперекор всем понятиям о дворянской чести, которые установились в течение столетия. Как же отвечало на это русское дворянство? Московским губернским предводителем был в это время князь Александр Васильевич Мещерский, женатый на дочери графа Сергея Григорьевича Строганова, человек пустой, тщеславный, ограниченный и интриган. Он был одним из корифеев конституционного движения, в котором он видел способ связать настоящее с прошлым; за это он и был выбран губернским предводителем. Но теперь явился случай подслужиться к правительству, и он не преминул им воспользоваться. От московского дворянства послан был благодарственный адрес за подчинение дворянства рекрутскому набору наравне со всеми; как-будто в прежнее время дворяне лишены были возможности добровольно исполнять свои обязанности перед отечеством! Вслед за Москвою, по принятому обычаю, посыпались адресы и от других дворянских собраний. В подобных случаях всякий у нас боится отстать и навлечь на себя выражение немилости. Это не помешало тому же князю Мещерскому, в новое царствование, при ином обороте дела, в качестве полтавского губернского предводителя, предложить адрес, в котором говорилось об унижении дворянства в цар-

ствование Александра II, и заявлялась горячая благодарность новому царю за возвещенную им дворянскую эру. К великой его досаде, один из полтавских дворян язвительно напомнил ему его прежние подвиги, подняв на обеде бокал за его здоровье, как за одного из деятелей в преобразованиях прошедшего царствования. Очевидно, конституционные стремления московского дворянства были чисто напускные. Это было минутное раздражение за освобождение крестьян; скоро оно рассеялось, не оставив по себе и следа. Сознание права не находило почвы в России. Века холопства не дали развиться этому началу, и проповедь, которая в немецкой сфере нашла бы самую горячую поддержку, у нас звучала в пустоте.

Петр Федорович Самарин уговорил меня написать по этому поводу статью о конституционном вопросе в России. Он брался напечатать ее за-границею. Статья действительно была написана. Я развивал в ней ту мысль что к представительному порядку само собою приходит всякое образованное общество; что и в России он должен явиться завершением всех произведенных реформ, которые служат ему приготовлением; но, убежденные в необходимости постепенного развития, мы отлагали разрешение этого вопроса до будущего царствования, довольствуясь пока усвоением совершенных преобразований; ныне, однако, возбужденный самим правительством податной вопрос вызывает за собою вопрос конституционный. Я указывал на связь обоих, рассматривал состояние русского общества и способ, каким можно постепенно ввести представительные учреждения. Эта статья не была, однако, напечатана, она осталась в портфеле Самарина. Я на это не сетовал, ибо считал возбуждение вопроса бесполезным, особенно после того, как податная реформа канула в воду. Но я обещал себе впредь не тратить времени на писание статей по чужой инициативе.

Эта зима была последняя, в которой я всецело отдавался земскому делу. В 1871 году совершился важнейший поворот в моей жизни. Я женился. Это было осуществление самых заветных моих мечтаний. Я чувствовал, что я соединяюсь с тою, которую я избрал, или навек останусь одиноким. И мечта меня не обманула. Много пришлось нам пережить вместе тяжелого горя; но если, после ранней молодости, мне довелось испытать минуты радости и блаженства, я обязан ими той, которая свою судьбу связала с моею. На земле нет иной полноты счастья, кроме того, которое дается семейною жизнью.

Свадьба происходила в Москве, 25 апреля, в университетской церкви Тут были все мои московские друзья и многие из род-

ных. Щербатов был посаженым отцом; в церкви присутствовали Николай Алексеевич Милютин, который в то время больной доканчивал свой век в Москве, вся семья Самариных и Марья Федоровна Соллогуб, Черкасские, Станкевич, Кетчер, Соловьев, старый друг нашей семьи Антон Апполонович Жемчужников. Дмитриев был у меня шафером вместе с Владимиром Самариным и братом Сергеем. В тот же вечер мы поехали в имение жены, Полтавской губернии, Золотоношского уезда, село Вознесенск, которое досталось ей по разделу после смерти родителей. Первая остановка была в Киеве. Тут я впервые увидел этот перл русских городов, расположенный на высоком берегу Днепра, с старинными златоглавыми церквами, утопающий в зелени, с стройными тополями, с прелестным видом на окрестность. Это была лучшая пора для Киева. С высоты, где стоит изящная церковь Андрея Первозванного, можно было видеть Днепр, разливающийся на десятки верст, сверкающий на солнце или гладкий, как зеркало, в тихое апрельское утро, и за ним простирающиеся в бесконечную даль леса и селения. Отсюда мы в старинном грузном дормезе, запряженном семью лошадьми, отправились по левому берегу Днепра на юг, через Переяславль, некогда стольный город Всеволода Ярославича, ныне ничтожный уездный городок. В Вознесенске я нашел прекрасную барскую усадьбу, большой дом с красивой архитектурой, окруженный великолепными многовековыми дубами. Но кругом была чистая, гладкая, голая степь, с мелькающими кое-где деревнями и помещичьими усадьбами. Главное же, был недостаток воды; небольшой пруд через несколько лет совсем высох. Мы пробыли тут около трех недель. Погода все время стояла мрачная, холодная и сырая; но какое дело до погоды, когда сердце преисполнено счастьем?

Отсюда мы отправились в Тамбовскую губернию. При недавно построенных железных дорогах передвижения были не затруднительны. Я хотел представить жену моей матери, которая в это время переехала в Караул. Когда мы выехали из Вознесенска, дубы едва начинали распускаться; проезжая через Орловскую губернию, мы видели еще совсем голые ивы. Но когда мы 22 мая приехали в Караул, весна была в полном блеске. Густая и свежая зелень покрывала деревья; сирень пышно цвела, наполняя воздух благоуханием. Был прелестный, тихий и теплый майский вечер. Караул предстал нам во всей своей красе, как бы приветствуя молодую хозяйку, которая призвана была внести в него новую жизнь. На крыльце нас встретила слепая мать с иконою и священником, окруженная всеми домашними. Двор

был полон народа; вся деревня была собрана, и мать представила нас миру, как будущих хозяев Караула. Встреча была задушевная и трогательная. Это была одна из тех редких минут в жизни, когда все, что наполняет человеческое существование, и прошедшее и будущее, сливается в один радостный восторг, в одно невыразимое чувство бесконечного блаженства.

Пробыв в Карауле около месяца, мы опять поехали в Малороссию. Мне нужно было принять в свое управление полтавское имение, познакомиться с тамошним хозяйством, о чем я в первые дни после свадьбы, конечно, не думал. Жена повезла меня и по своим родным. Мы пожили некоторое время в Михайловке, Лебединского уезда, имении, которое некогда принадлежало Полуботку и от него непрерывною линиею, перешло по наследству моей теще, а после нее досталось брату жены, Василию Алексеевичу. Там, среди очаровательной природы и барского обилия, протекли счастливые дни ее детства. Громадный зал наполнен портретами предков. Возле усадьбы мне показали исторический дуб, под которым, по преданию, пировал Петр Великий после полтавской битвы; жена помнит еще прибитый к дереву деревянный орел, ныне сделавшийся жертвою тления. Мы посетили и родовое имение Капнистов, прелестную Обуховку, воспетую дедом жены, Василием Васильевичем *. Приютный дом его под соломой, к которому лень забыла прибить замок, возобновлен в прежнем виде. Внизу извилистый Псел течет под зелеными сводами, образуя острова, которых пышная зелень переплетается над его прозрачными струями. По берегам стоят громадные серебристые тополи в несколько обхватов, перед которыми старик князь Репнин проходя мимо, всегда снимал шапку, как бы воздавая честь могучей старине. Недалеко оттуда лежат Сорочинцы с знаменитою ярмаркою. Мы проезжали и через Миргород, полный воспоминаниями Гоголя. Мне все хотелось спросить: где дома Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича? Проезжали также через Кибенцы, где старик Трощинский, вышедши в отставку, жил на покое после многолетних государственных трудов. Мы вошли в старый запустелый дом и видели тот самый диван, где умер Василий Васильевич Капнист, приехавший навестить соседа. Все в этой стране полно литературных воспоминаний. И все, вместе с тем, дышит какою-то поэтическою негой. Я увидел лучшие места Малороссии, берега Псела, с бесконечно разнообразными и красивыми видами, с селами, утопающими в зелени, с неправильно разбросанными белыми хатами, окруженными садиками, с многочисленными помещичьими усадьбами,

возвышающимися среди стройных тополей и нежной зелени белых акаций; я увидел горы с разноцветными песками, поля, тщательно обработанные плугом, старых чубатых хлопцев и грациозных малороссиянок, украшенных венками цветов на голове. Этот волшебный край, с мягким климатом, с тучною почвою, представляется одним из самых привлекательных уголков русской земли. И на природе, и на населении лежит печать мирного приволья и какой-то сладостной лени.

К осени мы вернулись в Караул, который и по местоположению и по устройству не уступал этим очаровательным местам. Я мечтал поселиться здесь и зажить помещиком, как жил мой отец, с меньшими средствами, однако достаточными для безбедного существования в деревне, для приема родных и друзей. Я был тут в родной среде и мог, занимаясь хозяйством и участвуя в местных делах, пользоваться достаточным досугом для продолжения ученой работы, которая составляла все-таки главную цель моей жизни. Но прежде нежели я имел возможность исполнить свои желания, пришлось совершенно неожиданно, по земским делам, провести зиму в Петербурге. Я был выбран директором Тамбово-Саратовской железной дороги от Кирсановского земства.

Это была пора железнодорожной горячки. Уже с самого начала царствования Александра II, когда для частной предприимчивости открылось широкое поприще, стали возникать общества для построения железных дорог. Первое образовавшееся частное общество получило концессию на дорогу от Москвы до Саратова. Сначало, однако, дела его шли плохо. Московский банкир Марк, который был главным акционером, разорилси на этом предприятии. Но затем оно перешло в руки фон-Дервиза, который дал ему совершенно другой оборот. Не только он достроил участок от Москвы до Рязани, которым вследствие безденежья ограничилась старая компания, но он сам взял концессию на следующий участок, от Рязани до Козлова, и на этом нажил многие миллионы. Это было вполне заслуженное богатство: он был пионером и проложил путь. За ним кинулись и другие; в дело вмешались земства, которые хлопотали о проведении дорог по своим губерниям. Но с выгодностью дела росли и неправильные расходы. В Петербурге открылся настоящий рынок. Концессии получали те, которые умели деньгами и интригами привлечь на свою сторону влиятельных лиц. Между тем, как недавние преобразования более и более искореняли старую язву взяточничества в провинции, в высших бюрократических сферах оно получило страшное развитие. Для людей,

ищущих заработать деньгу, соблазн был громадный. «Тут сидишь себе всю жизнь, — говорил мне Садомцев, — работаешь, как вол, и наколотишь, наконец, каких-нибудь десять, двадцать тысяч; а приедешь, в Петербург, тебе говорят: что это за пустяки? Можно в несколько дней получить сотню тысяч; умей только обделать дело».

И многие земцы поддались искушению. Первый пример подал орловский губернский предводитель Шереметев. Пользуясь связями, он выхлопотал для орловского земства концессию, которую передал Губонину, с уплатою миллиона земству и почти такого же магарыча себе. Я знал это из достоверных источников. Даже правительство было возмущено и несколько раз отказывало ему в утверждении в должности губернского предводителя. Но орловское дворянство с настойчивостью, достойною лучшего дела, выбирало его вновь, пока наконец правительство уступило. И чем же отплатил он своим избирателям? После первого земского собрания, в котором он, в качестве председателя, проявил всю свою деловитость, покончив с делами, запущенными в течение нескольких лет, он вдруг подал в отставку, как бы желая доказать, что он своим местом вовсе не дорожит. Когда мне сообщил это его тесть, Соловой, я сказал, что это пощечина не правительству, которое его утвердило, а дворянству, которое его выбирало. Впоследствии он понял, что сделал большую глупость, но было уже поздно. Дворяне не захотели выбирать его вновь.

В Тамбове искусителем явился Волконский. С своими сподвижниками, Садомцевым и Сальковым, они затеяли построить железную дорогу от Борисоглебска до станции Грязи на Козлово-Воронежской дороге. Осуществить это предприятие было тем труднее, что правительство в это время, вследствие финансовой скудости, приостановилось с выдачею гарантий и отказывало всем. Тамбово-Саратовская железная дорога была давно намечена в правительственных предположениях. Представителям местностей, хлопотавшим о проведении этого пути, было даже формально обещано, что он будет первым поставлен на очередь, как скоро финансовые средства откроют возможность гарантировать железнодорожные предприятия. Но, пока, дело стояло, и никакое общество не могло составиться. Как же, при таких условиях, можно было выхлопотать концессию на совершенно второстепенный участок от Борисоглебска до Грязей? Борисоглебцы изобрели земскую гарантию, и на этом основании правительство не только дало им концессию, но само взяло у них акций на несколько миллионов.

В 1868 году, когда я вступил в земство, это дело было только что сделано. Случилось, что на именинах моей двоюродной сестры Кондоиди я съехался у них в деревне с местными борисоглебскими дельцами. После обеда, за бокалом вина, я пристал к ним с вопросом: «Скажите пожалуйста, как вы получили эту концессию? Ведь не может же быть, чтобы правительство, которое в эту минуту отвечало отказом на ходатайства по важнейшим дорогам, из каких-либо видов общего блага дало вам концессию на дорогу из Грязей в Борисоглебск»? После некоторого колебания они, наконец, признались: «Ну, что тут таить! Дело было заранее обделано между инженером Садовским и Рейтерном. Когда мы явились к министру, он прямо сказал нам: я даю вам концессию и беру для казны акций на три миллиона». — «Всего более меня удивило одно обстоятельство», прибавил Кондоиди. «Заявив министру нашу глубокую благодарность за оказанную милость, я сказал ему: «Ваше высокопревосходительство, я имел честь благодарить Вас в качестве борисоглебского дворянина; теперь позвольте мне в качестве тамбовского губернского предводителя, ходатайствовать о другой дороге, весьма важной для губернии, о Козлово-Тамбовской». — «Этой я не могу разрешить», отвечал министр, «она гарантируется только двумя уездами». — «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, та дорога, которую Вы нам разрешили, гарантируется только одним». — Разумеется, и Тамбово-Козловская дорога была разрешена; давши концессию одному уезду, нельзя было отказать другим. Я потом рассказал этот анекдот Волконскому по поводу похвал, которые он расточал Рейтерну; он ужасно рассердился. «Должно быть, мои товарищи были очень пьяны, если они сказали вам такую штуку», воскликнул он. Он мог сердиться на разоблачение, ибо сам получил весьма порядочный куш. Впоследствии мне случилось встретиться с Александром Борисовичем Казаковым, который вместе с Губониным был строителем Грязе-Царицынской дороги. «Волконский не может при мне отрицать, что он получил от меня акции даром», сказал он мне. На эти акции было куплено большое имение Романовка в Балашовском уезде.

Самое замечательное в этом деле было то, что гарантия, которую брало на себя Борисоглебское земство, была чистою фикциею. Всякий человек, сколько-нибудь знакомый с положением местного хозяйства, мог знать, что уезд не в состоянии платить шестьдесят копеек с десятины, как они обязались. И точно, как скоро дорога была построена, те же борисоглебцы явились к Рейтерну с заявлением, что они такой громадной

суммы платить не в силах. «Сколько же вы можете платить?» спросил министр. — «Четыре копейки». — И гарантия с шестидесяти копеек тотчас была сбавлена на четыре. Так у нас строились железные дороги. Я как-то в разговоре с Садомцевым смеялся над этим способом обделывать дела. — «Что же? уезд должен быть нам благодарен», отвечал он.

В то же время была построена и Тамбово-Козловская дорога. Здесь главным деятелем был козловский уездный предводитель Горсткин, который на ней нажил себе состояние. Затем тамбовский губернский предводитель Башмаков выхлопотал себе концессию на проведение линии от Ряжска на Моршанск и далее на Сызрань, на этот раз даже с правительственною гарантиею. У министра внутренних дел Тимашева было огромное имение в Оренбургской губернии, откуда нужен был сбыт. Естественно, что эта дорога была сочтена существенно важною для государства. Одна Тамбово-Саратовская дорога обреталась в накладе. Не было высокопоставленного лица, которого интересы были бы тут замешаны; не было и ловкого дельца, который бы сумел обработать дело. Земские люди хлопотали, но взяток давать было не на что, и вопрос не двигался. В Комитете министров было даже постановлено, что эта дорога оказывается лишней, так как уже проводятся две параллельные линии к Волге: от Ряжска до Сызрани и от Грязей до Царицына; зачем же нужен еще путь к Саратову? Для нас этот вопрос был существенно важный, ибо с проведением означенных двух дорог наши соседи получали перед нами громадное преимущество. Чтобы иметь возможность с ними конкурировать, надобно было во что бы то ни стало выхлопотать концессию. Волею или неволею, пришлось прибегнуть к земской гарантии. Мы были приперты к стене, и другого исхода не оставалось. Саратовская губерния, город Саратов и Кирсановский уезд вошли с ходатайством о разрешении им гарантировать дорогу, и концессия была дана. Это было как раз перед самым моим вступлением в земство.

Уполномоченным от кирсановского земства был мой двоюродный брат, Николай Бологовский, человек умный и деловой, но в других отношениях не совсем надежный. Дорога была построена, однако, на весьма невыгодных для земства условиях. В концессии стоимость ее была определена по 81 000 рублей на версту, сумма чрезвычайно высокая, и вдобавок при постройке не были даже соблюдены установленные в концессии условия: были уклоны, значительно превышающие норму, что должно было невыгодно отразиться на эксплоатации. Между строите-

лями не было, в сущности, ни одного настоящего дельного человека. Деньги бросались зря, а толку было мало. Несмотря на полученные громадные суммы, ни один из них ничего не нажил. Гладины даже объявили себя банкротами, хотя был слух, что один из них кой-что приберег. Зато земские уполномоченные поживились. Представитель саратовского земства Лупандин купил имение в три тысячи десятин в Подольской губернии, куда и удалился. Бологовской впоследствии приобрел большое имение в Саратовской губернии. Все это нашему земству было известно; оно видело у себя на глазах и безобразное хозяйничанье и постоянные кутежи. Кирсановцы смутились. Они влезли в дело, им совершенно неизвестное, и за которое они могли сильно поплатиться. Своему уполномоченному они перестали доверять. При выборах в директоры составившегося по постройке дороги правления он не был избран. Нужен был человек толковый и верный, который мог бы выяснить дело. Мои ревизии и доклады в губернском собрании побудили всех обратиться ко мне. Ехать в Петербург и погрузиться в совершенно незнакомые мне железнодорожные дела было мне вовсе не по вкусу. Однако, видя затруднение собрания и зная, что это вопрос для земства весьма существенный, я не счел себя в праве отказываться. Я объявил, что приму поручение на один год, постараюсь изучить дело и доложить о нем земскому собранию, а затем предоставлю ему выбрать другого. Так и было сделано. Осенью 1871 года я поехал в Петербург в качестве директора Тамбово-Саратовской железной дороги от Кирсановского земства.

Перед отъездом со мною случился эпизод, характеризующий судебные нравы того времени. Я был назначен присяжным в ту самую пору, как мне нужно было ехать в Петербург. Вообще, я от должности присяжного не уклонялся. Напротив, я вспоминаю, в особенности о первом разе, когда мне довелось заседать в суде, как об одной из хороших минут моей жизни. Так недавно еще в России, можно сказать, вовсе не было суда; он заменялся крючкотворством, взяточничеством и произволом. А тут я увидел процедуру, удовлетворяющую всем высшим требованиям правосудия, со всеми возможными гарантиями для подсудимого; представители общества призывались к участию в приговоре, и все это происходило в отечестве, которым мы могли в этом случае гордиться. Но на этот раз у меня было на руках общественное дело, не терпящее отлагательства. В это время в правлении происходили расчеты с строителями, и я, как представитель кирсановского земства,

на которого возложена была обязанность разобрать дело, не мог при этом не присутствовать. Я поехал в Тамбов к председателю окружного суда и изложил ему свои обстоятельства. Он сказал мне, что я могу прислать заявление, которое будет сочтено законным поводом к неявке. Я так и сделал. Однако, выехавшее в Кирсанов отделение окружного суда не признало приведенной причины уважительною и оштрафовало меня на сто рублей. Я подал жалобу в Саратовскую судебную палату, но та утвердила постановление суда, на том основании, что земское дело не казенное, а *частное!!* Далее я тяжбы не повел.

Переселившись на зиму в Петербург, я весь погрузился в железнодорожные счеты и расчеты. Правление состояло из пяти членов: двух директоров от гарантирующих земств, Лупандина и меня, двух от акционеров, англичан Гвейера и Гранта, и одного от строителей, Пахитонова. Последний впрочем никогда почти не ездил в заседание. Дело вел главным образом председатель Лупандин, человек смышленый и толковый; но он скоро выбыл: саратовское земство удалило его, так же как мы удалили Бологовского. На место его был прислан совершенно пустой человек, Коваленков. Мне предлагали председательское место, но я отказался, объяснив, что я долее года в правлении не пробуду и не имею притом ни малейшего желания отсчитываться перед предстоящим первым акционерным собранием: это должны делать те, которые вели дело с начала. На место Лупандина председателем правления был выбран Гвейер, занятый многими другими делами и имевший в Саратовской дороге весьма второстепенный интерес. Главным дельцом остался Грант, человек, приобретший на Волжском пароходстве репутацию высокой честности и деловитости, но состарившийся и оглохший. Многое поэтому лежало на правителе дел Струговщикове. Это был красивый мужчина, разыгрывавший роль светского льва в средних петербургских гостиных, а вместе подвизавшийся на чиновничьем поприще. Вскоре после моего выхода из правления обнаружилось, что он пользовался железнодорожными деньгами для собственных надобностей. Сделать это было тем легче, что бухгалтерия была в полном беспорядке. Настоящий бухгалтер умер; место его занял его помощник, Куричанов, который дела вовсе не понимал. Я не раз пытался разобраться в этом хаосе, но не мог добиться от него толку, мне случалось задавать ему разные расчеты, и он делал их навыворот. У нас по этому поводу были постоянные споры с Грантом. Тот жаловался на леность Куричанова: «Борис Николаевич, он не хочет работать», говорил он. «Александр Александрович, он

не может работать», отвечал я. «Пока у вас будет такой бухгалтер, ничего путного выдти не может». Действительно, перед акционерным собранием правление должно было нанять двух бухгалтеров со стороны, чтобы распутать счета.

При таких условиях приходилось изучать дело, мне совершенно незнакомое. Я целое утро сидел в правлении, на дом брал старые журналы, дела и счеты, старался ознакомиться со всеми подробностями железнодорожного хозяйства. Два раза я ездил в Саратов, чтобы видеть ход дела на местах, где оно под ведением дельного управляющего, Бунге, шло удовлетворительно. Я ездил и на железнодорожные съезды, которые произвели на меня впечатление собрания людей толковых и смышленных, основательно знакомых с практикой, хорошо понимающих свои интересы, но для которых не только интересы публики были вопросом совершенно второстепенным, но и собственные обязательства становились ничего не значущими, как скоро они противоречили выгодам. Между прочим, постановлениями съезда и частными соглашениями была установлена норма для обмена вагонов между соседними дорогами, причем за излишек была положена плата. В силу этих обязательств, при обмене с Тамбово-Козловскою дорогою нам приходилось получать довольно значительную сумму, но нам в ней упорно отказывали, и железнодорожные тузы, которым я на съезде представил это дело, советовали мне не настаивать, ибо соседним дорогам выгоднее жить в мире, нежели во вражде. В Петербурге мне пришлось познакомиться и с бюрократическими порядками, дожидаться аудиенций у министров путей сообщения и финансов, мыкаться по министерским канцеляриям и департаментам, где я нашел крайнюю рутинность, полное равнодушие к делу, а в руководителях, пользовавшихся известною репутацией, даже удивительное тупоумие. Все это было мне так противно, что я обещал себе впредь держать себя как можно дальше от этих сфер. Но когда я впоследствии был выбран московским городским головой, пришлось опять проходить через всю эту канитель.

Результатом моей годовой работы был доклад, который я осенью 1872 года представил кирсановскому собранию. Он стоил мне много труда, ибо я все данные должен был собрать и группировать сам, без малейшей помощи от кого бы то ни было. Я излагал в нем историю и настоящее состояние дела, представлял все расчеты, входил в хозяйственные подробности, делал сравнение с другими дорогами, рассматривал виды на будущее и в заключение советовал последовать примеру Борисоглебского земства и хлопотать о сбавке гарантий, с каковою целью мною

4*

уже были начаты переговоры с министром финансов. Перечитывая теперь этот доклад, нахожу его обстоятельным и дельным. Им могли бы удовлетвориться даже люди, хорошо знакомые с железнодорожным хозяйством. Кирсановское собрание осталось им вполне довольно, с благодарностью приняло мою отставку и выбрало на мое место Олива, который в это время переселялся в Петербург.

Однако совету моему оно не последовало вследствие малого знакомства с воззрениями и условиями петербургских сфер. Наши земцы вообразили, что если борисоглебцам сразу сбавили гарантию с шестидесяти копеек на четыре, то нас должны совершенно от нее избавить, так как не были выполнены существенные условия, на которых мы ее давали. На этом мы и уперлись. Мы собрали гарантию, но ее не выплачивали, а оставляли в казначействе в виде запасного капитала, что и послужило главным поводом к растратам Пенина. Началась также война между земством и акционерами. В Саратове директором был выбран дельный и деятельный Штрик, который неутомимо подвизался на этом поприще. Но так как в правлении земские директоры были двое против трех, то ничего из этого не выходило. Хлопоты о снятии гарантии также не повели ни к чему. Успех в петербургской бюрократической среде зависит вовсе не от правоты дела, а от умения подладиться и заинтересовать кого следует. Пришлось, наконец, пойти на условия менее выгодные, нежели те, которые мы могли получить вначале, Только в прошлом 1892 году, по случаю голода, гарантия была с нас совершенно снята. Так прекратилась эта странная аномалия в русском железнодорожном хозяйстве.

Погруженный в железнодорожные дела, я в Петербурге мало ездил в общество. Однако пришлось витать и в высших сферах. Нас пригласили на бал в Аничков дворец, где обитал наследник. * Жена пользовалась репутациею красоты, и ее хотели видеть. Из дальнего угла, где она стояла, не желая соваться вперед, ее вытребовали на середину залы для представления императрице, которая была с нею чрезвычайно любезна. Немедленно даже пожилые дамы начали за нею ухаживать. Затем вытребовали и меня. Императрица сказала мне, что она очень жалела о том, что я оставил университет. Я отвечал, что оставаться дозволительно только там, где можно оставаться с честью. Государь тоже подошел ко мне и сказал несколько любезных слов. Тем и ограничились наши представления. У Елены Павловны в начале зимы были довольно частые вечера по случаю приезда пруссаков, которых надобно было забавлять; позднее

она мало принимала, ибо стала уже прихварывать. Были большие вечера и у графини Протасовой. * Но все эти светские выезды, визиты и разговоры нагоняли на меня невыносимую скуку. Я не слыхал ни одной живой мысли, ни одного путного слова. Пустота, пустота бесконечная и однообразная, вот все, что я тут находил. Наполнявшие ее придворные, чиновные и светские интересы нисколько меня не занимали, а были мне скорее противны. Самая политическая атмосфера была в это время удушливая и гнетущая. О реформах не было уже и помину; вызванное ими юношеское одушевление исчезло. Это был самый разгар Шуваловской реакции, царствование Петра IV, как его тогда называли. * В сущности серьезных реакционных мер не принималось; государь не допустил бы искажения собственного своего дела. Но оно было вверено людям, которые портили его по мелочам, исподтишка. Над всем ощущалась какая-то тяжесть. Люди, сочувствовавшие преобразованиям, поникли головой и молчали. С петербургским ученым и литературным миром я не имел сношений. Я считался консерватором, следовательно врагом. Присматриваясь в течение многих лет к петербургским жителям, я разделял их на две главных категории, между которыми немного было посредствующих звеньев: на беснующихся и пресмыкающихся. Ни с теми, ни с другими я не имел ничего общего. Для последних я был слишком независим, для первых не довольно яростен. В Петербурге не только не с кем было сойтись, но почти не с кем было перемолвить слово. Из прежних моих друзей остались весьма немногие. С Кавелиным я давно перестал видаться; Николай Алексеевич Милютин в эту самую зиму скончался в Москве; Дмитрий Алексеевич весь погружен был в свое военное управление. Только беседы с баронессою Раден постоянно доставляли мне сердечное и умственное удовлетворение, хотя и она в это время, так же как великая княгиня, предавалась германофильским сочувствиям, которых я вовсе не разделял.

Я рад был вырваться из этой удручающей атмосферы, отделаться от нисколько не привлекавших меня железнодорожных занятий и возвратиться к сельской свободе и тишине. Я мог наконец исполнить свое заветное желание: жить независимым помещиком и отцом семейства. Жена тоже ни мало не жалела о Петербурге и охотно поселилась в деревне, к которой она с детства привыкла. У нас была уж дочь, * источник семейных радостей, дающих полноту человеческому существованию. Все, казалось, устроилось как нельзя лучше.

В первый раз приходилось мне круглый год жить в деревне,

заодно с природою, и это имело для меня неизъяснимую прелесть. Каждая пора года носит в себе свою, собственно ей принадлежащую поэзию, свое обаяние. У нас в России эти особенности выступают ярче, и переходы совершаются резче и быстрее, нежели на юге, а потому они чувствуются сильнее. Я любил не только лето с его разнообразными наслаждениями, когда караульский дом был полон, и вокруг матери собиралась семья. Мне милы были также осенние дни: и ранняя осень, когда вместо однообразного летнего одеяния, природа облекается в золото и пурпур, когда из свежей еще зелени дубов выделяются лиловый вяз, оранжевый клен и красная осина, когда облитый золотом лес глядится в прозрачной, гладкой, как зеркало, реке; и поздняя осенняя пора, когда человек закупоривается от внешней непогоды, на дворе воет ветер, а внутри тепло и уютно, и мирный домашний быт и семейное счастие чувствуются как бы с обновленною силою. Я любил и утренние осенние прогулки, когда под ногами хрустит мороз и шуршат увядшие желтые листья, волнуются туманы и утренняя свежесть, обдавая прохладой, вселяет бодрость и готовность на всякое дело. Мысль движется ясно и живо; умственный труд спорится. Тут начинаются и любимые мною садовые работы: посадка, порубка, проведение дорожек, начертание клумб. Затем, после утренней усталости и сытного обеда наступает длинный вечер с чтением вслух. И поэзия, и история, и старые романы, и воспоминания, все чередой проходит перед умственным взором и дает все новые наслаждения. Мирно встает день и мирно он кончается сладостным сном, обещая повторение за повторением.

И наступающая затем долгая зима имеет свое обаяние. В природе, облеченной белым покровом, водворяется торжественное и величавое молчание, подобно торжеству смерти вызывающее чувство бесконечного. Но это не смерть, а временный сон, собирание с силами для нового, радостного пробуждения. Порой среди этого однообразного величия, взорам представляются чудные картины: при ярком вечернем зареве розовые оттенки на снежной пелене, над которою возвышается темная зелень сосен и елей; или покрывающий деревья пушистый иней, который всему ландшафту придает какую-то странную красоту и нарядность; лес стоит в серебристом уборе, рисуясь и блистая на глубокой синеве небосклона. Нам случалось при лунном свете гулять по осыпанной инеем роще; кажется, что забрел в какой то сказочный мир, где все таинственно и чудесно, и нет ничего похожего на земное суще-

ствование: среди зимнего покоя природе как бы чудятся волшебные сны. А с восходом солнца эти сны сменяются другими; иней начинает оттаивать, и падающие капли, захваченные морозом, виснут на тонких и длинных ветвях берез; деревья кажутся как бы осыпанными бриллиантами, сверкающими на солнце миллионами огней. Видениями фантастического мира представляются и морозные узоры, начертанные на окнах, когда они при солнечных лучах или при лунном сиянии искрятся разнообразными блестками в самых причудливых очертаниях. Пешеходу зима доставляет много неудобств; но они заменяются катанием в санках по пустынному полю, по безмолвному лесу или по широкой гладкой реке, окаймленной дубравами, с возвышающеюся на холме усадьбою вдали. А там уже после веселых святок, дни начинают быстро расти, возвещая приближение радостной поры; солнце ярче светит в окна и греет теплее; в воздухе чувствуется мягкость, ивы краснеют, с крыш падает капель и одни за другими являются столь знакомые с детства весенние впечатления: первые проталинки, ручьи по холмам, превращающиеся в шумные потоки, первые желтые и синие цветки, мало-по-малу заполняющие и рощи и поляны, прилет птиц, громкий говор гусей на широком половодье, веселое пенье жаворонков под небесами, разлив, на целые версты потопляющий луга. Мы с женою в теплые апрельские дни нередко ходили вдоль сияющей на солнце водной равнины, гладкой, как стекло. Она любила садиться в легкий челнок и кататься по этому зеркальному морю. И вот уже подходит конец апреля; везде кругом, и в кустах около дома, и в рощах, и в дальних лесах тысячами голосов защелкают соловьи, раздается звонкое пение иволги и знакомый голос кукушки; из болот поднимается беспрерывный гул; вся природа как будто ликует и празднует свое обновление. С тем вместе зацветает пахучая черемуха; за нею вишни и яблони покроются белою, как снег, пеленою; яркая зелень лугов усеется желтыми цветами, которые превращаются в пушистые одуванчики, разлетающиеся при малейшем дуновении ветра; наконец пышная сирень является как довершение весеннего наряда. Май наступил в полном очаровании.

Сельским жителям хорошо знакомы все эти впечатления, которые не уступят никаким другим. Кто любит природу и умеет жить с нею одною жизнью, тому она дарует бесконечные и разнообразные наслаждения. И все эти наслаждения воспринимаются глубоко и радостно, когда на душе мир, а в сердце любовь.

Постоянно жил с нами Василий Григорьевич, * в то время весьма погруженный в сельское хозяйство, а зиму проводил в Карауле и брат Василий с своим семейством. Он в это время вышел в отставку и поселился в деревне. Лето он проводил у себя, в Козловском уезде, где занимался хозяйством и устраивал усадьбу, а на зиму переезжал в Караул, пока не купил себе дома в Тамбове. Мы в эту пору во многом с ним расходились. В Париже под влиянием тамошних пиэтистов он заразился узко-протестантским направлением, которое в нем было тем менее понятно, что он был верующий православный. Я не раз встречал у него знаменитого лорда Редстока, казавшегося мне крайне ограниченным человеком, что составляет довольно обыкновенную принадлежность узкого фанатика. Но частные разногласия не мешали нашим братским отношениям. При его возвышенном нравственном строе, при невозмутимой ровности характера, свойственной брату, при его старании избежать всякого, сколько-нибудь жесткого соприкосновения, жить с ним было легко. К счастью, сошлись и наши жены. Да и трудно было не сойтись с моею невесткой, * одной из самых чистых и возвышенных натур, какие мне случалось встретить. И она, также как брат, даже более, нежели он, ибо сама была протестантка, заражена была пиэтистскими взглядами. Но это вполне искупалось безукоризненной нравственной прямизною и глубоко сердечным настроением. Жена моя, которая тоже была глубоко религиозна и постоянно изучала библию, но с преданностью православной церкви соединяла широкую терпимость, сходилась с нею в основных христианских воззрениях и полюбила ее сердечно. Дети были еще маленькие; они наполняли дом весельем. Мелкие домашние дрязги исчезали в общем задушевном строе. Жилось хорошо.

Я занялся и хозяйством более впрочем по обязанности, нежели по вкусу. Имение отца разделилось на восемь частей. На мою долю достался Караул, с 1600 десятин земли, с великолепною усадьбою, но весьма небольшими доходами. Тут были заливные луга, достаточное количество леса, но пашни было немного, и земля была не лучшего качества. Часть ее постоянно сдавалась в аренду крестьянам под заработки, что избавляло от необходимости иметь свой оборотный капитал. Имение жены в Малороссии в 1500 десятин, могло давать от 4 до 5000 дохода. У нее был и небольшой капитал. Всего, сверх того, что шло на домашнюю жизнь из караульской экономии, мы могли рассчитывать на семь, восемь тысяч дохода, сумма, с которою, особенно при барских привычках и барской

обстановке, далеко не уйдешь, если не следить за делом внимательно.

Первые годы после освобождения крестьян были весьма благоприятны для нашей губернии. Проведение по ней целой сети железных дорог значительно подняло цены как на хлеб, так и на земли. Урожаи были хорошие; у крестьян были отличные заработки; помещики не только не жаловались, а напротив были совершенно довольны. Никакого оскудения, ни в нашем уезде, ни в соседних, я не видал. Были, как и всегда, люди, которые разорялись по собственной вине; их имения естественно переходили в руки тех, у кого были деньги, то есть купцов. Но это было исключение. Заброшенных усадеб и покинутых хозяйств у нас не встречалось. Напротив, могу привести многие примеры помещиков, которые в это время построили себе новые усадьбы или перестроили старые. Степи и залежи распахивались, и площадь посевов значительно увеличилась. Помню, что в 1870 году, приехав зимою в Петербург, я попал как раз на вечер к великой княгине Елене Павловне. Она стала меня расспрашивать о том, что делается в провинции, и я рассказал ей о распространяющемся у нас благосостоянии. Она пришла в такой восторг, что тут же подозвала германского посла, принца Рейсса, и сказала ему: «садитесь здесь и слушайте». Я должен был повторить свой рассказ.

Скоро, однако, наступили более трудные времена как для помещиков, так и для крестьян. Урожаи стали хуже, а цены, между тем, падали, с чем вместе сокращались и поземельные доходы и заработки. Вникая в дело, я увидел, что русское хозяйство находится в таких условиях, что с ним надобно обходиться очень осторожно. В других странах, где многолетним опытом выработались приемы, и хозяйство поставлено на рациональную ногу, знаешь, что, положивши в землю известный капитал и нужную долю труда, получишь известный доход. У нас же оказывается коренное противоречие в самых задачах: с одной стороны, при распахивании земель и увеличении народонаселения приходится переходить от экстенсивного хозяйства к интенсивному; с другой стороны, надобно прежде всего остерегаться необходимой при интенсивном хозяйстве затраты капитала: кто делает улучшения в долг, тот прямо идет к разорению. Как новичок в этом деле, я хотел поучиться у людей опытных и знающих, но увидел, что в сущности учиться не у кого и нечему. У меня был сосед Козловский, человек молодой, энергический, необыкновенно деятельный,

смышленный и предприимчивый. Я думал, что у него можно будет кое-что позаимствовать. Но что же вышло? Я был хозяин весьма заурядный, неопытный, без капитала, притом посвящавший этому делу только малую часть своего времени; он же работал, как вол, с утра до вечера, все смотрел сам, без устали скакал по железным дорогам, старался нажить деньгу, не пренебрегая никакими средствами, а между тем я сохранил неприкосновенным свое состояние, а он разорился. Предприимчивость, хотя и подбитая энергиею и практическим смыслом, повела только к крупным убыткам, а вследствие того к долгам, из которых он не мог вылезти. Нечему было учиться и у князя Васильчикова, ибо это было хозяйство особого рода, неприложимое к нашим условиям, хозяйство при сахарном заводе, с значительным оборотным капиталом, с избытком доходов, которые могли идти на улучшение. Сам Васильчиков пробовал сперва хозяйничать в соседнем с нами Балашовском уезде Саратовской губернии, но бросил это дело, убедившись, что немыслимо при столь сухом климате вести рациональное хозяйство. И точно, возможно ли затрачивать капитал, когда все зависит от одного дождя? Поэтому брат Владимир, который был практический хозяин, вел дело очень осторожно, и я последовал его примеру. Возможное улучшение пашни, постепенная замена сошной пахоты плужною, постепенное же улучшение овцеводства, единственной, сколько-нибудь выгодной у нас отрасли скотоводства, вот все, чего я старался достигнуть. Одно, что мне удалось, и что выручало меня в дурные годы,— это — расширение табаководства. Эту отрасль, в небольших размерах, завел у нас Василий Григорьевич, но у меня она значительно усовершенствовалась, и я довел ее до пятидесяти слишком десятин. Дело ведется расчетливо; нашелся и хороший исполнитель, способный держать в порядке все мелкое население Караула, занятое при табачном производстве; с малолетства оно приучается к дисциплине и труду. Мне эта отрасль дает отличные доходы, а крестьяне получают на ней до двух тысяч рублей в год, преимущественно работою детей. В голодный год они говорили мне, что в прежнее время родители кормили детей, а теперь дети кормят родителей.

Я тем менее мог сделаться настоящим практическим сельским хозяином, что научная работа все-таки осталась главным делом моей жизни. Поэтому я мог уделять хозяйственным занятиям лишь часть своего времени; мелочи, требующие неусыпного наблюдения, неизбежно от меня ускользали. Я старался только в крупных чертах держать свои дела в порядке

и этого достиг. Относительно своего благосостояния я не сделал ни шага вперед, но зато и не разорился. При небольших средствах, откладывать было не из чего; часто даже приходилось стесняться. Столь приятного в жизни простора в расходах я не знал, но в долги не влез и надеюсь передать Караул своим наследникам не расстроенным, а улучшенным.

Большой интерес и украшение сельской жизни составляют добрые отношения к окружающему населению. Я получил их в наследство. Отец был истинным попечителем своих крестьян. При выходе из крепостного состояния, благодаря справедливому и гуманному управлению брата Владимира, старая нравственная связь не была нарушена. Меня караульские крестьяне знали с детства, а мне доставляет сердечное удовольствие не только знать каждого в лицо и по имени, но быть знакомым с его нравственными свойствами, с его положением и его нуждами. Все ко мне обращаются при всяких невзгодах; у одного пала лошадь, у другого нет коровы, а дети просят молока, у третьего развалилась изба. С небольшими средствами можно всем помочь, и знаешь и видишь, что эта помощь идет на дело. Жена с своей стороны вошла с ними в самые близкие сношения; она всех их лечит, знает всех баб и детей, постоянно ходит по избам. Мы много лет живем, как родная семья. Я полюбил русского мужика, хотя весьма далек от того, чтобы видеть в нем идеал совершенства. Подобные мечты могут питать лишь те, которые никогда к нему не прикасались близко. Нравственное основание, бесспорно, хорошо. Иногда встречаются даже трогательные черты нравов. Так например, у нас в селе существует обычай одарять сирот втихомолку. В темную ночь вдруг слышится стук у окна; хозяин, который знает уже в чем дело, подождав немного, чтобы дать принесшему удалиться, выходит и на наружном подоконнике находит какую-нибудь часть одежды для сироты. Когда некоторые из караульских крестьян, увлеченные рассказами, собрались на Амур, уходящие получили таким способом целые кучи вещей. Но рядом с этими умилительными чертами, свидетельствующими о высоконравственном строе, рядом с типами женщин, в которых глубочайшее смирение сочетается с глубочайшим благочестием, и невозмутимая кротость украшается таким отпечатленным на всем существе чувством достоинства, которое сделало бы честь любой аристократке высшего тона, сколько явлений совершенно противоположного свойства. Сколько взаимной зависти и злобы, сколько неуживчивости и ссор ведут к постоянным разделам, какое неуважение

к родителям, недоверие к разумному слову при бессмысленном доверии ко всякому проходимцу; рядом с смышленностью часто непонимание самых явных своих интересов, рядом с строгим соблюдением внешних обрядов полное незнание и непонимание самых элементарных истин религии, при наружном добродушии дикая грубость, которая делает не только мужика, но и бабу, в минуты общего увлечения, готовыми на всякие зверства. За них никак нельзя поручиться, что они величайшим своим благодетелям в порыве исступления не свернут головы.

Благосостояние крестьян, которое временно поднялось в первые годы после освобождения, затем пошло под гору. Причины были частью внешние, частью внутренние. К первым принадлежали плохие урожаи и уменьшение зимних заработков вследствие построения железных дорог. В прежнее время крестьяне нашей местности возили хлеб в Моршанск не только из окрестностей, но даже из дальней Романовки Балашовского уезда. Это давало им деньги и возможность держать порядочное количество лошадей. С проведением железных дорог эта статья дохода значительно сократилась. Зимою дела почти не было. Тем сильнее действовали важнейшие внутренние причины: обеднение, семейные разделы, разорительное пьянство и неумение держать деньги в руках. Против разделов помощи не было никакой. Когда бабы ссорятся, братьям волею или неволею приходится расставаться, хотя это и ведет к нищете, а с освобождением сила баб возросла. Меткая русская пословица говорит: «семь топоров идут вместе, а две прялки врозь». Кабак составляет, может быть, еще худшее зло. Против существования его в Карауле мы долго ратовали и наконец успели убедить крестьян его закрыть. Деньги, которые они получали от кабатчика за разрешение взять патент, очевидно восполнялись с избытком из собственных их карманов. Прекратились, по крайней мере, безобразные мирские сходки около кабака, при которых обыкновенно пьянство продолжалось в течение трех дней. Но кто может помешать крестьянину, когда у него есть лишний грош, пропить его на соседнем базаре? Какое влияние это имеет на благосостояние крестьян, я мог видеть из следующего случая. Однажды, в плохой год, приходит ко мне старик, который был в числе перевозчиков на пароме, и приносит сто рублей, с просьбою положить их в банк на имя сына. Я это исполнил. На следующий год, который был еще хуже, он приносит опять сто рублей, все мелкою серебряною монетою, с просьбою положить их на имя внука. Я удивился. «Скажи мне пожалуйста,— спросил я,— как это у тебя столько

денег, когда в нынешнем году даже зажиточные крестьяне нуждаются?» — «Ах, Борис Николаевич,— отвечал он,— ведь я в кабак не хожу, а в кабаке, вы знаете, рубль пропьешь, а десять потеряешь». Этот пример был для меня поучителен. А сколько я видал крестьян, пропивших хорошее состояние и даже погибших при переездах в пьяном виде.

Но у мужика деньги уходят не на одно вино; он просто не умеет их беречь. Века крепостного состояния, в соединении с размашистостью русской натуры, привели его к тому, что у него, так же как у барина, они уходят сквозь пальцы. Вследствие этого зачастую встречаем примеры, что крестьянин приносит деньги на сохранение, или сам купит что-нибудь ненужное, говоря, что иначе у него деньги уйдут. Привычки к сбережениям у него нет, а где эта привычка не укоренилась, там благосостояние неизбежно понижается. Народонаселение растет, земли на всех становится меньше, притом она выпахивается, а капитал, который должен восполнить этот недостаток, не увеличивается; что же из этого может выйти, кроме общего обеднения? Это мы и видим на глазах. Социал-демократы вопят о малости надела, придумывают благодетельные банки, на которые возлагается противная всякому финансовому расчету обязанность давать капитал неимущим, но закрывают глаза на истинные причины бедствия, и главное, считают неприкосновенною святынею то коренное зло, которое влечет за собою общее обеднение,— общинное землевладение. Пока крестьянин не привык думать, что он сам должен устраивать свою судьбу и судьбу своих детей, никаких путных экономических привычек у него не может образоваться. Крепким сельским сословием, способным служить источником обогащения для себя и для страны, может быть только сословие личных собственников или арендаторов-капиталистов, а никак не общинных владельцев. Положение 19 февраля не могло решить этого вопроса; нельзя было разом произвести два коренных переворота в судьбе сельского состояния. Но оно открыло путь личному землевладению, предоставив каждому крестьянину право выкупать свой участок. Задача последующего законодательства состояла в том, чтобы довершить начатое и закрепить наделы за существующими семьями, воспретив переделы на новые души. Только этим способом можно было утвердить в крестьянском сословии понятие о собственности, составляющее основание всякого гражданского быта. Но ничего подобного не было сделано. Не только все предоставлено на произвол судьбы, но в последнее время произошел даже шаг

назад: личный выкуп стеснен. Мудрено ли, что у крестьян все понятия о праве перепутываются, а проистекающие из чувства собственности экономические привычки не могут развиться?

Одна сторона быта в крестьянском населении нашей местности значительно подвинулась вперед. Жилища стали гораздо просторнее, опрятнее и светлее прежних. Курных изб почти не видать; лучины заменились керосиновыми лампами. В последние годы пошла даже мода на кирпичные строения с большими, светлыми, чистыми комнатами. Мужик тратит свой последний рубль, чтобы не отстать в этом отношении от соседей. Бабы также, бросив, к сожалению, свои старые, сделанные дома красивые паневы, стали наряжаться в разноцветные яркие ситцы. Но все это предметы расходов, когда же потребности увеличиваются, а доходы уменьшаются, то какое добро может из этого выдти? Куда мы идем? При существующих условиях будущее экономическое развитие России представляется в довольно безотрадном свете. Нашим потомкам придется, по всей вероятности, пройти через тяжелые времена. А может статься, и на нас еще падет это бремя.

Я сам с наслаждением принялся за убранство дома, употребляя свои небольшие сбережения на устройство родного гнезда. Отец много оставил недоделанным. В последние годы жизни он постоянно хворал и мало уже заботился о приведении в окончательный вид того, что он начал с такою обдуманностью и с такою настойчивостью. Все капитальные работы были совершены; дом в главных чертах был готов. Но для примыкающего к нему зимнего сада была выведена только половина стены, это придавало ему вид разрушения; внутри много было неустроено. Переселившись в деревню после выхода в отставку, я перевез туда свои картины, которые развешаны были по стенам. Теперь к этому присоединилась кой-какая старинная мебель, люстры, вазы, фарфор, частью унаследованные женою, частью прикупленные в Петербурге. Украшением гостиной сделался принадлежащий жене прелестный шкафчик vieux Boule *, некогда подаренный королем Станиславом Лещинским маркизе Вилльнев-Транс *, а жене подаренный ее приятельницей, происходящей от этого рода и вышедшей замуж за малороссийского их соседа Богаевского. В деле устройства дома жена была мне лучшею пособницей; она отлично понимала все требования изящного комфорта, без всякой роскоши и затей. Мы мало-по-малу прикупили или сделали дома нужную дополнительную мебель, выписали по случаю из Парижа и купили в Петербурге разные кретоны,

а для спальных комнат московские ситцы; наш домашний старый столяр Аким по моим рисункам делал подставки для ваз и карнизы для драпировок. Все это было для нас источником беспрерывного удовольствия. Жена устраивалась по своему вкусу, а я в каждом новом улучшении видел довершение отцовского дела, украшение дорогого гнезда, продолжение семейных преданий. Я мечтал о том, чтобы, живя в деревне, постепенно привести Караул к идеальному совершенству и передать его своим детям уже окончательно устроенным, в полной красе.

Этим мечтам не суждено было сбыться. Провидению не угодно было продлить эту блаженную жизнь. В апреле 1874 года у нас родился сын *. Я думал, что этим достигнута полнота семейного счастья: есть и сын и дочь; чего же нам еще более желать. Но это был лишь мимолетный призрак. 6 июня, рано утром, меня разбудила нянька и объявила, что мальчик сильно хрипит. Доктор был за двадцать верст; мы сами были совершенно неопытны, жена к тому же больна. Через два часа малютки не стало. Это был первый, но, увы, не последний постигший нас тяжелый удар. Я взял на руки обитый белым гробик, в котором лежал младенец и понес его в церковь.

На каждое, даже самое обыкновенное, человеческое лицо смерть кладет печать какого-то торжественного величия и неземной красоты; но когда эта величавость бесконечного покоя отпечатлевается на лице младенца, она становится еще привлекательнее и еще более уносит душу в область нетленного бытия. Я стоял у маленького гробика и не мог оторвать от него глаз; и теперь еще этот ангельский образ с печатью смерти на челе мелькает перед моим умственным взором. Мне казалось, что ушедший от нас младенец призван служить живою связью между небом и землею. Только этим я мог объяснить себе появление его на свет.

После такого горя оставаться на месте для матери было слишком тяжело. Мы поехали в Малороссию, где пробыли два месяца в гостях у братьев жены. Под новыми впечатлениями, среди любимых мест и родной для нее обстановки, жгучесть материнской скорби несколько сгладилась. Жена была еще молода, да и я не стар; времени впереди было много. У нас было и живое утешение, маленькая дочь, умненькая, живая, ласковая, которая нас более и более радовала. Мы преклонились перед волею провидения и благодарили его за то, что оно нам оставило.

К осени мы вернулись в Караул. Здесь я опять почувствовал себя дома, среди дорогих мне впечатлений, и снова в душе хлынула волна жизненного счастья. Однажды, стоя после обеда у камина, глядя на жену и на играющую дочку, любуясь изящным убранством родного гнезда, наслаждаясь деревенским миром и тишиною, я воскликнул от полноты сердца: «мне кажется, что я насквозь проникаюсь счастьем!» Прошло три месяца, и от него не осталось и следа. Болезнь, продолжавшаяся целый месяц, унесла последний плод нашей любви. Кто не испытал этих страшных переходов от надежды к отчаянию, кто не просиживал долгие ночи, прислушиваясь к каждому шороху, к дыханию или стону младенца, кто всем сердцем не почувствовал всей глубины материнского горя, когда теряется последнее, любимое дитя, и родители остаются одни в опустелом доме, тот не поймет, что мы пережили в это время. Снова я взял на руки обитый белым гробик с лежащим в нем младенцем и понес в церковь. Мы положили малютку возле брата.

Оставаться в Карауле опять не было возможности. На этот раз мы решились ехать в Италию. Сначала мы поселились в прелестном Ментоне, на берегу Средиземного моря, а в конце марта мы двинулись на юг, посетили Рим с его великолепными развалинами, очаровательное Альбано и голубое озеро Неми, которое мы видели в первый раз; две недели мы пробыли в Сорренто и сделали экскурсию в Амальфи. Но что значат все дивные красоты природы, когда в сердце точится неисцелимая рана, которая не оставляет ни минуты покоя? Я уподоблял себя человеку, который мирно сидел у своего камина, в уютной домашней обстановке, среди семейных радостей, и вдруг все около него рушится, его самого выбрасывают в окно, и он, не помня себя, бежит без оглядки, подальше от этих развалин, и как вечный жид, мыкается по белому свету, не зная, куда преклонить голову.

На лето, по совету Боткина, которого мы видели в Сан-Ремо, где он был с императрицею, мы для здоровья жены поехали в Франценсбад. В Караул мы возвратились в августе. Но тут опять явилась забота: жена заболела; пришлось ехать лечиться в Петербург. К марту мы вернулись, побыв некоторое время в Тамбове с матерью, которая была совсем здорова. Мы ничего не чаяли, как вдруг получаем телеграмму, снова вызывающую нас в Тамбов. Мы тотчас отправились по страшной весенней колоти и почти непроездной дороге, но матери уже не застали в живых. Воспаление в боку унесло ее в несколько дней. Это было новое, тяжелое горе, присоединяющееся к прежним. В апреле в Караул

привезли ее гроб; мы похоронили ее возле отца, на семейном кладбище, где покоятся и мои дети. На похороны в последний раз собралась вся семья. Мы живо почувствовали, какое высокое нравственное значение имеет слепая старуха, которая служит связью и центром семьи. Все живые семейные предания, ее бесконечная любовь, ее горячий интерес ко всему и близкому и дальнему, несмотря на потерю зрения в течение многих лет, все это исчезло на-веки. Случилось, что в Тамбове мы с братом Василием вместе вошли в комнату, где читали псалтырь над усопшей. В эту самую минуту дьячок читал стих псалма: «се что добро или что красно, но еже жити братии вкупе». Я просил брата, который упражнялся иногда по этой части, нарисовать этот стих в виде надписи, которую я вывесил в рамке в караульской столовой, в память нашего совокупного семейного житья.

Еще одну зиму довелось нам провести вместе с ним в Карауле, а на весну в апреле 1877 года явилось нам новое утешение: опять родилась дочь, которую мы в честь матери моей жены назвали Улинькой. Но после всего испытанного провести осень и зиму в деревне, вдали от доктора, казалось нам невозможным. Мы решили на зиму переехать в Тамбов. Там постоянно жил брат Андрей, который имел свой дом. Василий тоже в это лето купил дом, на том же перекрестке Большой улицы. Там жила и сестра, вышедшая замуж за Эммануила Дмитриевича Нарышкина. Остальные братья проживали или в Тамбове или вблизи, по своим деревням. Мы могли провести зиму в семейном кругу. Я поехал в Тамбов и после многих поисков нашел подходящую квартиру. Случилось, однако, что хозяева были в отсутствии и не с кем было заключить условие. Я не хотел дожидаться, а поручил это дело брату Сергею. Вдруг, дней десять спустя я получаю от него известие, что нас предупредили, и квартира снята другими. Я опять полетел в Тамбов, но на этот раз все мои поиски были тщетны. Время было позднее, и ни одной сколько-нибудь удобной квартиры в Тамбове нельзя было найти. Волею или неволею пришлось ехать в Москву. Сама судьба решала за нас.

Я поехал и на шесть месяцев нанял дом. Проживши там зиму, мы решились постоянно переезжать на зимнее время в Москву. Мне удалось найти весьма удобную и недорогую квартиру на Волхонке, в нижнем этаже старинного барского дома князя Сергея Михайловича Голицына, где наверху был великолепный музей и домашняя церковь. * На свои небольшие средства я купил кой-какую мебель и к приезду жены отделал кумачами и ситцами. Здесь мы прожили пять зим, о которых я вспоминаю с удовольствием.

КОНЕЦ ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Москва в то время, как мы в нее переехали, была уже не прежняя Москва 40-х и 50-х годов. Дворянский город превратился в промышленный центр. В старое время она действительно заслуживала название сердца России. Сюда съезжались отовсюду самые зажиточные представители землевладельческого сословия, которое было господствующим в обширных пространствах русской земли. Здесь, в независимой среде, вдали от развращающего влияния двора, проявлялись чувства и мысли лучшей части русского дворянства, его пламенный патриотизм и его просвещенные стремления; здесь постоянно из него выдвигались люди образованные, даровитые и с характером, которые были украшением общества. Теперь Москва перестала быть сборным местом дворянства. Средней руки помещики, занятые хозяйственными и общественными делами, сидели на местах; более зажиточные, пользуясь удобством железных дорог и свободою выезда, жили за границею. В столице, более нежели в провинции, почувствовалось оскудение. Английский клуб ловил уже членов и сделался пристанищем невыносимой скуки. Иссякла и светская жизнь; не было тех беспрерывных празднеств, которых я был свидетелем в молодости. Балы стали редкостью; на них красовались преимущественно начинающие выезжать в свет девицы, которые с трудом находили женихов. Кавалеров набирали не только в университете, но и в гимназиях. Барские дома, один за другим, переходили в руки богатых купцов, которые выдвигались на первый план в замену расшатавшегося аристократического сословия. Но замена была плохая. Ни образованием, ни утонченными нравами, ни возвышенными стремлениями и интересами купечество не могло равняться со старым дворянством. Одно общество ушло, когда другое не успело еще сложиться.

Все литературные интересы сосредоточивались теперь в редакциях газет. Первенствующим светилом был Катков, с которым, однако, мало кто из порядочных людей имел сношения. У него

собирались клевреты и поклонники, что было вовсе не интересно. С другой стороны, собирались у Аксакова, который был редактором «Дня». В год, предшествующий нашему переселению в Москву, тут было, говорят, значительное славянское беснование; но уже в следующую зиму все это испарилось, и жена его * удивлялась такому быстрому исчезновению напускного политического интереса. Вскоре последовала ссылка в деревню за речь о Берлинском конгрессе, * а когда он вернулся, его еженедельные вечерние приемы, на которые я иногда ездил, были только скудными и вялыми сборищами разных второстепенных, преимущественно славянофильствующих лиц; на них никогда не слышалось живого слова или сколько-нибудь интересного разговора. Славянофильство вымирало, а Аксаков тщетно старался его подогреть. Еще тошнее были вечера у Кошелева, который выбивался из сил, чтобы поддержать свои исторические вторники, но напрасно: все элементы умственной жизни исчезли, и кроме нестерпимой скуки, здесь ничего нельзя было обрести.

В Москве была и третья крупная газета — «Русские Ведомости», которые, однако, по таланту далеко уступали первым двум. В то время редактором был еще Скворцов, но они уже сделались центром университетских и разных других социал-демократов. Каковы были эти господа, это лучше всего можно видеть из анекдота, который случился несколько позднее, но который я не могу не рассказать, так он типичен и забавен.

В 80-х годах редакторы и сотрудники «Русских Ведомостей», «Русской Мысли» и их единомышленники собирались, по примеру парижских экономистов, ежемесячно на обед, который сопровождался послеобеденными речами. Обычаи, как видно, были самые просвещенные. В это время приехал в Москву известный писатель Брандес читать публичные лекции о русской литературе. Это был социал-демократ чистокровный, свой брат, делавший честь партии, а потому эти господа тотчас пригласили его на свой ежемесячный обед. Оказалось, однако, что ни один из них не владел достаточно каким-либо иностранным языком, чтобы свободно объясняться с Брандесом. В качестве толмача приглашали Герье, который держался совершенно другого направления. После обеда, когда начали произносить речи, Брандес стал расспрашивать Герье о их содержании и о направлении обедающего кружка. Герье объяснил ему, что они социал-демократы и вместе признают себя либералами. «Как это может быть?» воскликнул Брандес. Герье стал его уверять, что это именно так. Тогда Брандес не вытерпел, он вскочил и обра-

тился к собранию: «Что я слышу, господа?» воскликнул он. «Мой почтенный сосед уверяет меня, что вы социал-демократы, и вместе считаете себя либералами. Да ведь это невозможно! Это монстр! это — теленок о двух головах!» Но те, на своем жаргоне принялись доказывать ему, что то, что представляется теленком о двух головах, очень хорошо умещается в русских радикальных мозгах. Связь понятий составляла для них совершенно излишнюю роскошь. Брандес так и уехал озадаченный. Этот анекдот рассказывал мне сам Герье.

И эти хаотические мозги владычествовали в университете, считались светилами и увлекали юношей! Вскоре я мог испытать на себе, что с полною путаницею понятий соединялось у них и совершенное отсутствие всякого чувства приличия. Это случилось по поводу изданной мною, совокупно с Герье, книгою: «Русский дилетантизм и общинное землевладение», которая заключала в себе критику на сочинение князя А. И. Васильчикова о землевладении. *

Происхождение этой книги было таково. Летом 1877 года, перед переездом в Москву, я отправился к Станкевичам в деревню, Бобровского уезда Воронежской губернии. Там жил и Герье, женатый на племяннице Станкевича. * Я нашел его в большом негодовании. Незадолго до того вышла упомянутая книга князя Васильчикова. Она была написана в социалистическом духе, а потому восхвалялась на все лады и в русских журналах и ученою братией. Я сам слышал, как профессор политической экономии в Московском университете Чупров на каком-то диспуте, в присутствии самого автора, пел ей восторженные гимны и ставил ее на первом месте в современной экономической литературе. Понадеясь на эти отзывы, Герье купил книгу и стал ее читать; но как же удивился он, увидав в ней сочетание самого колоссального невежества с невообразимым хаосом понятий! Он решил, что непременно следует написать критику; но так как он историею русского права никогда не занимался, а тут были исторические и юридические вопросы, касавшиеся России, то он обратился ко мне за содействием. Я сперва отказался. Зная князя Васильчикова, я не имел ни малейшего желания читать его произведения, а тем более заниматься их опровержением. Но тут у меня был досуг. Я две недели прожил у Станкевичей, и от нечего делать согласился прочесть книгу, которая возмутила меня, так же как и Герье. У Станкевичей гостил их приятель, Н. Н. Тютчев, вращавшийся в петербургских литературных кружках. Он горячо защищал книгу Васильчикова. Я увидел, что разобрать ее, в поучение русской публике,

будет, пожалуй, не бесполезно, тем более, что для этого не потребуется много времени. Мы разделили между собою работу. Я взялся написать главы об экономических воззрениях автора, о его взглядах на русскую историю, о его статистических выводах и, наконец, заключение, а Герье, принял на себя начало, главу о методе и разбор общих исторических воззрений князя Васильчикова. Вернувшись домой, я в две недели написал свою часть, но у Герье работа затянулась. Отвлеченный другими занятиями, он мог приняться за нее только в конце зимы, да и то писал наскоро. Потому его критика вышла довольно несвязная и мелочная, что несколько вредило общему впечатлению нашей книги. Тем не менее, удар был жестокий. Из Петербурга посторонние люди писали, что князь Васильчиков совершенно уничтожен: после непомерного превознесения последовало падение. Сам он пришел в такую ярость, что, даже несколько лет спустя, не мог говорит обо мне иначе, как с остервенением, считая меня главным автором и зачинщиком этого дела. Вместе с ним и русская журналистика озлобилась на науку, обличающую невежество. В ее глазах обличать грехи писателя с социал-демократическою тенденциею было непростительным преступлением. На нас посыпалась брань со всех сторон.

Разумеется, и ученый люд, восхвалявший книгу князя Васильчикова, не мог не сказать своего слова. В это время один из видных профессоров Московского университета, бывший харьковский студент, Максим Ковалевский, издавал маленький журнал под названием «Критическое Обозрение». Мне за достоверное сообщили, что сотрудником и даже вдохновителем этого издания, которое должно было служить органом передовой молодежи, был знаменитый парижский социал-демократический философ, если можно так назвать пародию на философа, Лавров. Ковалевского я почти не знал, но имел о нем невысокое понятие со слов Герье, который рассказывал, что этот молодой ученый, выдавая себя за знатока английских учреждений, в своей магистерской диссертации приписывал дарование Великой Хартии вооруженному восстанию баронов, предводимых Симоном Монфортским, графом Лейстер. * В сущности это был хлыщ, который нахватался кой-каких сведений и во что бы то ни стало хотел играть роль, щеголяя перед студентами разными выходками во вкусе новейшего материализма и социал-демократии. Но как ученик Каченовского, он искал со мною знакомства. Мы встретились в Юридическом обществе, которого я был выбран почетным членом. Он заигрывал и почти насильно запрег меня в какую-то комиссию, которая не имела смысла.

Чтобы сделать ему удовольствие и вместе оказать внимание Юридическому обществу, я согласился пойти, но, разумеется, из этого ничего не могло выйти.

Вдруг, после появления нашей книги о *Русском дилетантизме и общинном землевладении,* в «Критическом обозрении» появилась статейка, в которой, мимоходом и чисто голословно, Ковалевский презрительным тоном утверждал, что мои воззрения на общинное владение почерпнуты из старых, давно забытых немецких учебников, и что я отвергаю признанное всеми новейшими исследователями существование общинного землевладения, как первоначальной формы поземельной собственности. * На подобные заметки обыкновенно не отвечают, и я твердо держался этого правила. Но Герье представил мне, что это журнал, издаваемый молодыми профессорами Московского университета, а потому могущий сбить с толку студентов. Он уговорил меня послать заметку в самое «Критическое обозрение». * Я написал, что не только никогда не отвергал первоначальной формы общинного землевладения, а напротив, прямо на это указывал в напечатанной еще в 56-м году статье о сельской общине, которую Ковалевский не потрудился прочесть. * В последней же книге я вовсе не имел повода касаться этого вопроса, ибо хотел только доказать, на основании не подлежащих сомнению данных, что современное нам общинное землевладение не есть остаток древнейшей формации, а плод крепостного права и податной системы. При этом я сослался на цитированную мною еще в то время статью Грановского, напечатанную в Архиве Калачова, в доказательство, что взгляды, которые выдаются за результат новейших исследований, были хорошо известны уже двадцать пять лет тому назад. *

Тогда Ковалевский, видя, что он дал промах, кинулся в другую сторону. В своем ответе он стал уверять, что я, на основании старых немецких учебников, допускаю непосредственный переход от первоначальной родовой общины к личной собственности, помимо общинного землевладения. Это была возмутительная передержка. Я отвечал на этот раз уже не в «Критическом обозрении», а в «Русских ведомостях», * что приписывать мне подобное мнение нет ни малейшего основания, ибо я об этом вопросе не говорил ни слова. Тут же я сделал заметку и о Грановском, которого Ковалевский задел также неприличным образом. Я прибавил, что при таких приемах, дальнейшее ведение спора совершено бесполезно: отныне мой противник может писать все, что ему угодно; я отвечать не буду.

Тогда Ковалевский разразился, на этот раз тоже в «Русских ведомостях», самою неприличною статейкою, в которой, кроме пошлейшей брани, ничего не было. Я даже удивился, как Скворцов, которого я считал все-таки порядочным человеком и с которым я некогда был в хороших отношениях, решился напечатать подобный пасквиль *. После я узнал, что Скворцов в это время был в отсутствии; когда он вернулся, он так рассердился, что даже уволил Неведомского, который заступал его место в редакции. Несколько лет спустя, я случайно встретил Неведомского; он передо мною извинялся, говоря, что в отсутствие Скворцова приезжали в редакцию Ковалевский с Чупровым, который был одним из главных сотрудников газеты, и оба так настойчиво требовали напечатания статьи, что он не счел себя в праве отказать. Рассказываю подробно этот пустой инцидент, чтобы показать каковы были в то время ученые и литературные нравы, и каков был уровень молодых профессоров Московского университета, нас заменивших.

По этому поводу Победоносцев писал мне из Петербурга: «Любезнейший друг Борис Николаевич, сегодня услышал, что вы втянулись в полемику в московских газетах с Максимом Ковалевским. Какой злой гений подтолкнул вам руку? Послушайтесь дружеского моего совета — бросьте это и как можно скорее, хотя бы последнее слово оставалось за противником. Разве можно в наше время в России пускаться серьезному человеку в полемику, и с кем же? Неужели вы еще надеетесь, что разумное слово будет услышано, что разумная аргументация подействует! Напрасно! Вы имеете деле с толпою, которая способна только хохотать, не разбирая, когда видит, что на улице дерутся или ругаются, и только кричит, кому попало: еще его! хорошенько! вишь, как он его отдубасил! И стоит ли растрачивать свои внутренние силы, которые собирать надобно, стоит ли сеять свое негодование! Когда на рынке под окнами галдят мальчишки, и кричат, ругаясь, торговки, посидим дома, либо обойдем осторожно безобразную толпу, пробираясь, куда лежит наша дорога».

Я прекратил спор еще до получения этого письма, ибо также, как Победоносцев, был убежден, что при современных наших литературных нравах и направлении, в журнальной полемике можно только загрязниться, не принеся никакой пользы.

Не все, однако, молодые профессора Московского университета были такого пошиба, как Ковалевский с компанией. Были и почетные исключения. Из них более всех выдавался Герье, с которым я издал упомянутую книгу. Можно сказать, что в это

время он главным образом поддерживал в университете истинно научное направление.

При таких элементах, при таком состоянии общества, для человека, ищущего жизни, движения, умственных интересов, или даже просто развлечений, Москва представляла мало привлекательного. В литературных и светских собраниях царила скука. Но кто хотел жить тихо и мирно, в тесном кругу друзей, у кого были свои кабинетные занятия, тому трудно было найти в России более приятное место жительства. Тут не было столичного шума и суеты, не было всеподавляющего двора, источника всякой суетности и тщеславия; не было и низменных чиновничьих интересов и постоянных рассказов о всякого рода интригах и гадостях. Официальный центр Москвы, князь Владимир Андреевич Долгорукий, в кругу, где я вращался, вызывал только улыбку пренебрежения. А с другой стороны, тут не было тесноты и мелочных сплетен провинциального города, где все смотрят друг другу в глаза и знают, что делается в каждом доме. Это была провинция, пожалуй, даже деревня, но раскинутая на обширных пространствах, с большим все-таки количеством людей и с большею шириною интересов. У меня были тут и свои старые добрые друзья, с которыми я часто видался. Ближайшими были Щербатовы и Станкевичи. Щербатов в это время не занимал уже никакой общественной должности. Он жил себе московским барином, значительно умножив и без того весьма хорошее состояние, наслаждаясь счастливою семейною средою. Его общительный и приветливый нрав, его сердечность, соединенная с большим здравым смыслом, высокое благородство его характера, приобрели ему всеобщую любовь и уважение. Его положение в Москве было, можно сказать, совершенно исключительное. Чем реже становились представители старинного вельможества, тем отраднее было видеть в нем одно из лучших его воплощений. Держа свои дела всегда в полном порядке, он тем не менее жил на широкую ногу и принимал весь город. Жена его *, с молоду блиставшая обаятельною грацией и красотою, сохранила в зрелых летах всю живость и свежесть необыкновенно восприимчивого и тонкого ума, искавшего постоянной пищи в разнообразном чтении, что было редкостью не только между дамами, но и между мужчинами. Одаренная горячим сердцем и пылким воображением, она равно могла быть центром оживленного салонного разговора и соединить вокруг себя тесный приятельский кружок. Детей она, вкупе с мужем, воспитывала в таком высоком нравственном строе, стараясь возбудить в них и умственные

интересы и живое участие ко всякому добру, что любо было смотреть на их семейную жизнь. С дорогими своими друзьями Станкевичами я виделся почти каждый день и всегда находил у них и умственную и сердечную отраду. Старый наш литературный кружок распался *; выбывал один член за другим, а новые не прибывали. Одно время Станкевичи пробовали приютить к себе наиболее подходящих из молодых профессоров; но это не пошло: за весьма немногими исключениями, молодые элементы были такого рода, что они плохо клеились с старыми и представляли собою мало интересного. Приходилось довольствоваться обломками прошлого. Всегда милым другом был милый Кетчер, которого одно присутствие доставляло сердечное услаждение. На зимние месяцы приезжал Дмитриев, в то время поселившийся в провинции и весь погруженный в земские дела. Изредка появлялся Забелин, а также разбитый параличом наш добрый друг Пикулин, у которого мы иногда собирались вечерком. Как опытный гастроном, он обыкновенно угощал нас маленьким ужином, сам варил севрюгу в кастрюльке и ставил бутылку отборного вина, с удовольствием показывая надпись: tiré du chateau *. У Кетчера же, в день его именин, 6 декабря, собиралась целая ватага, ибо у него были приятели во всех кругах. До глубокой ночи друзья его должны были пировать и упиваться шампанским.

В Москве были некоторые удовольствия и для любителей художества, как я. Выше я сказал, что в самом доме, где мы жили, был музей, с отличною картинною галлереею, где были первоклассные произведения, между прочим Распятие Перуджино, античные и новые бронзы, фарфоры, всякого рода великолепные вещи. Вскоре после нашего выезда этот музей был продан. В этом отношении Москве не посчастливилось. Все накопившиеся в ней в течение XVIII века сокровища исчезли, не только старинные барские собрания, Растопчинская галлерея * и одна из Мосоловских, которые были проданы уже на моих глазах, но и то, что было присвоено городу. Я слышал об этом изумительные рассказы от московских старожилов, любителей искусства, каких в старину было много. Вельможи времен Екатерины были все ценители и собиратели художественных произведений. В то время была мода; сама императрица подавала пример, и все ее любимцы и сановники считали долгом ей подражать. Между прочим, русский посланник в Вене во времена Французской революции, князь Дмитрий Михайлович Голицын, пользуясь смутною порою, когда все во Франции продавалось за бесценок, составил великолепную картинную галле-

рею. После смерти он оставил ее при основанной им Голицынской больнице, с тем, чтобы город пользовался ею на вечные времена. Но случилось, что в Москву приехала императрица Мария Федоровна. Осматривая больницу вместе с попечителем, князем Сергеем Михайловичем Голицыным, она заметила, что хорошо бы больницу расширить и прибавить кроватей. Надо было добыть денег. В это время в Москве проживали несколько больших любителей картин: братья Мосоловы, Власов, Протасов. Они уговорили князя Голицына пустить галлерею в продажу и на вырученные суммы расширить больницу. В 1848 году был аукцион; драгоценные полотна разошлись по частным рукам и впоследствии большею частью ушли за границу. Я видел список их у Егора Ивановича Маковского, одного из интересных и типичных представителей старого поколения любителей искусства. Он был бухгалтер Дворцовой конторы, человек бедный, но страстно преданный художеству. С молоду он жил в этой атмосфере и до конца жизни весь был в нее погружен. Он рыскал по всем углам, знал все, свято хранил предания, на свои скудные средства собирал и картины и гравюры, умел до тонкости ценить произведения искусства. Немудрено, что он воспитал целую семью даровитых художников. Но мало того, что Москва лишилась картинной галлереи. Тот же князь Дмитрий Михайлович Голицын составил великолепное собрание рисунков, в числе которых были Преображение Рафаэля и Пляска Смерти Гольбейна. Оно перешло к его родственникам, Долгоруким. И тут опекуном был князь Сергий Михайлович Голицын. Опять понадобились деньги, решено было это драгоценное собрание продать. В сороковых годах оно было выставлено в Москве для продажи. Но времена изменились, богатых любителей уже не обреталось. Два или три года продолжалась выставка, и не только не находилось покупателей между частными лицами, но само правительство отказалось от приобретения этих сокровищ. Наконец, зубной врач Жоли купил все собрание за десять тысяч рублей ассигнациями, увез его в Париж и там продал за большие деньги. Случай весьма характерный для тогдашней эпохи.

Из князей Голицыных нашелся, однако, один, который снова одарил Москву собранием художественных произведений. Племянник князя Сергия Михайловича Голицына, князь Михаил Александрович, служивший в дипломатии и долго состоявший русским посланником в Испании, был большой любитель и знаток искусства. Получив богатое собрание от отца и дядей, он значительно его приумножил, постоянно живя за границею.

Из всех собранных им и унаследованных редкостей он оставил в Москве публичный музей, который помещался в его доме, в том самом, где мы жили. При открытии музея было отслужено торжественное молебствие; прочитана была воля князя Михаила Александровича, в силу которой этот музей предназначался для Москвы и должен был на-веки оставаться открытым для публики. Но в России вечность непродолжительна. Наступило новое поколение, и все это исчезло. Сын князя Михаила Александровича, князь Сергий Михайлович, не только не разделял вкусов отца, но вовсе лишен был ума и образования. Еще очень молодым человеком он женился на цыганке, потом с нею развелся, прижив четверых детей; насильно увез какую-то замужнюю даму, но и ее через несколько лет бросил, наконец, женился вторично на гувернантке своих дочерей, которых он оставил при себе. В виду всех этих похождений он принужден был оставить военную службу и поселился за границею. Огромное состояние было значительно расшатано. Старинный барский дом, с стенами в два аршина толщины, с каменными сводами в нижнем этаже, дом, в котором жила Екатерина, стал раздаваться на квартиры. В наше время отдавался в наймы только нижний этаж, где мы помещались, а наверху был музей; но после нас весь дом был сдан под учебное заведение. * На дворе воздвиглись новые постройки с коммерческою целью, а музей был продан, к счастью, на этот раз не в частные руки и не иностранцам, а русскому правительству, которое перевезло его в Эрмитаж. Но Москва окончательно лишилась картинной галлереи.

Взамен старых русских вельмож разбогатевшие купцы начали собирать картины, но уже новейших школ, русской и иностранных. Так составились галлереи братьев Третьяковых, Д. П. Боткина, Солдатенкова. Сохранились еще некоторые частные собрания и для ценителей старинного искусства. Такова была галлерея, принадлежавшая Семену Николаевичу Мосолову, прелестному старику, представлявшему последний остаток старых московских бар, всецело преданных художеству. Это был, в более утонченной форме, такой же привлекательный тип прежнего поколения, как Егор Иванович Маковский. Его галлерея, собранная еще его отцом, была одним из обломков знаменитого Голицынского аукциона. У Мосолова было составленное им самим великолепное собрание старинных гравюр, которым он часто услаждался. И в третьем поколении продолжалась та же страсть, наполнявшая всю жизнь. Сын Семена Николаевича, Николай Семенович, сам подвизался на этом поприще, побуждаемый и вдохновляемый отцом. Он был одним из видных

русских граверов, и каждое новое его произведение рассматривалось и обсуждалось в небольшом кружке любителей.

Частью при моем содействии составилась небольшая, но очень хорошенькая галлерея Станкевича. Истинным перлом была прелестная, купленная в Италии Мадонна Беллини, а также приобретенная в Москве картина Луини, изображающая Христа, несущего крест. Тут был Гверчино, первоклассный Гвидо-Рени, Мороне, Боль, Стеен, Ван-Гойен, в особенности Кюйп с очаровательным вечерним освещением, а из новых прелестный пейзаж Лессинга, пейзажи Каменева и Шервуда. В пятидесятых годах мы с Станкевичем со страстью предавались поискам. Тогда в Москве еще можно было приобретать хорошие вещи и не за дорогую цену. Иногда совершались дальние походы. Мне особенно памятен один, по своим характерным подробностям. Станкевичу сообщили, что в окрестностях Москвы, в Подольском уезде, продаются картины у помещика Медокса. Отец этого Медокса был первым антрепренером театра в Москве, в начале нынешнего столетия. * В двенадцатом году его предприятие рушилось, но деньги у него были, и он тогда же накупил картин, которые уцелели в деревне. Сын был некогда военным, чуть ли не адъютантом наместника в Царстве Польском, но давно уже вышел в отставку и поселился в своей подмосковной. Мы решились туда ехать; но в самый день отъезда нам пришли сказать, что Медокс с семейством прибыл в Москву. Мы отправились к нему в гостиницу, чтобы переговорить о посещении. Оказалось, что он одну из дочерей выдавал замуж и ехал в другую деревню. Мы увидели тут двух девиц, разряженных, в шляпах с перьями. Деньги для свадьбы были нужны, и он решил тут же отправиться с нами обратно. Мы ночевали в Подольске и на следующее утро, по проселочной дороге, в маленьких санках гуськом, поехали к нему. Снаружи нас поразил вид совершенно разрушенного балкона с колоннами. Видно было, что старая помещичья усадьба вовсе не поддерживалась. Но это было ничто в сравнении с тем, что ожидало нас внутри. Изломанные столы, стулья без ножек, везде грязь невообразимая, вот что кинулось нам в глаза. Ничего подобного я не видывал. Можно было подумать, что тут стояла целая рота солдат. К тому же дом был нетопленный, и мы принуждены были оставаться в шубах. Но всего печальнее было, когда он вздумал угощать нас обедом: еда была такая отвратительная, что буквально нельзя было ничего взять в рот, и вдобавок все подавалось на грязнейшей, избитой посуде, с сломанными и запачканными вилками и ножами. Если бы подобное хозяйство встретилось где-нибудь

в захолустье, у нищего русского помещика, то и тогда бы оно привело нас в изумление, как признак совершенно варварского быта. Но это было под Москвою; хозяин был сын англичанина, имевшего видное положение, сам бывший адъютант, обладатель двух деревень; дочери щеголяли нарядами. И к довершению контраста на стенах висели, если не первоклассные, то весьма хорошие картины, которые вознаградили нас за нашу поездку.

В 60-х годах в Москве было некоторое оживление и между художниками. Перов, Каменев, Шервуд вступали в состязание и выставляли свои произведения. Но в семидесятых годах этот мимолетный порыв значительно ослабел. Перов умер, Каменев спился, а Шервуд разбросался; он писал и пейзажи, и портреты и исторические картины, хотел быть и скульптором, и архитектором, и поэтом. Везде проявлялся талант, порой довольно сильный, но чрезвычайно неровный. Я сблизился с этим чистым, наивным и восторженным жрецом искусства, который то вдруг возносился до небес, воображая себя русским Микель-Анджело и открывая неведомых гениев, то свирепо ратовал против современного равнодушия и низменного направления.

В полном упадке находился и столь высоко стоявший в прежнее время Московский театр. Крупные актеры, украшавшие русскую сцену, сошли в могилу. Не было ни Мочалова, ни Щепкина, ни Садовского, ни Шумского. Один старик Самарин, который недостаток природного таланта заменял умною игрою, оставался хранителем старых преданий. Театр пробавлялся пьесами Островского, которые приходились мне вовсе не по вкусу. Я всегда находил, что изображение пошлости тогда только терпимо, когда оно сопровождается комизмом; при отсутствии юмора оно становится невыносимо. Упадок театра обнаруживался в особенности, когда давали какую-нибудь из крупных комедий старого времени. В 1883 году праздновали столетие Недоросля парадным представлением в Большом театре. И что же? Один Самарин, который играл смертельно скучную роль Стародума, умел ходить, стоять и говорить, как человек. Все остальные были из рук вон плохи. Я уехал раздосадованный после второго действия, будучи не в силах выдержать до конца, а Аксаков, который был тут же, уехал еще прежде меня.

Одна музыка процветала под влиянием Николая Рубинштейна. Если не было порядочной оперы, какие бывали в прежние времена, зато еженедельно давались симфонические концерты, на которые стекались толпы народа среди непомерной духоты, а также утренние квартетные собрания, на которые съезжались любители и даже посредственные слушатели, как я. Но для

последних в особенности это было плохое утешение за оскудение во всем остальном. Москва конца семидесятых годов была, в сущности, не более как воспоминанием старой Москвы. Тем не менее в ней жилось тихо, мирно и приятно.

В тот год, как мы в ней поселились, был, однако, политический вопрос первостепенной важности, который занимал все умы, хотя без всякого толку. Я говорю о Болгарской войне.

Восточные замешательства и болгарская резня произвели в русском обществе небывалое возбуждение. Само правительство не только его поддерживало, но и поджигало. Не решаясь на первых порах выступить прямо и открыто на этот скользкий путь, оно действовало исподтишка. Своим орудием оно избрало Московский славянский комитет. Он не только послал в Сербию генерала Черняева, но направлял туда массы добровольцев, снабжал их деньгами и оружием, отправлял даже пушки. Это я знаю от самого Ивана Сергеевича Аксакова, который с удивлением восклицал: «Славянский комитет вел войну с Турецкою империею!» Однако, война Комитета вышла неудачною, и русское правительство, затеявшее эту опасную игру, наконец, само было вовлечено в военные действия. Значительно способствовал этому исходу наш тогдашний представитель при Оттоманской Порте, генерал Игнатьев, человек весьма неглупый, пронырливый, но крайне легкомысленный. Он систематически лгал не только иностранцам, но и перед собственным своим правительством, которое он вводил в заблуждение, не с каким-либо умыслом, а просто по прирожденной наклонности заменять истину фантазией. Он не распутывал, а затягивал узел. Вернувшись в Россию после порвания дипломатических сношений с Турциею, он уехал в заграничный отпуск. Казалось, что на это время, по крайней мере, он становится безвредным. Не тут-то было. Ему было формально запрещено ездить в Англию; но он представил, что ему совершенно необходимо сделать визит лорду Сольсбери, вместе с которым он был уполномоченным на Константинопольской конференции. Ему разрешили эту поездку, под условием, чтобы он отнюдь не заезжал в Лондон, где в то время происходило новое совещание. Несмотря на то, он не только заехал в Лондон, но виделся с лордом Дарби, тогдашним министром иностранных дел, наговорил ему в три короба и привел его в такое смущение, что тот потребовал включения нового условия, вследствие которого и вторичная конференция не привела ни к чему. Это я знаю от людей, близко стоявших к делам.

Война была решена. Правительство было втянуто в нее, можно

сказать, нехотя, само не зная, чего оно хочет и к чему стремится. Впоследствии Милютина обвиняли в том, что он с самого начала не двинул в Турцию громадного количества войск, которое могло бы одним натиском раздавить врагов. Но сделать это было не легко без своевременного приготовления, а до последней минуты были в полном недоумении относительно нашей политики. Во всяком случае войск было двинуто такое количество, которое считалось с избытком достаточным по имеющимся сведениям о военных силах Турецкой империи. К несчастью, эти сведения доставлял тот же генерал Игнатьев, который представлял все дело в виде военной прогулки. Плевна разрушила эти фантазии. После несчастного приступа 30 августа главнокомандующий хотел отступить. Милютин спас дело, настоявши на том, чтобы выписан был Тотлебен, который придал действиям совершенно другой оборот. Затем последовал победоносный переход наших войск через Балканы и полный разгром неприятеля. Мы остановились у ворот Константинополя. Вопрос состоял в том: войдем ли мы в него или нет?

Разные патриоты, разумеется, кричали, что надо водрузить крест на Святой Софии. Но русское правительство благоразумно воздержалось. Оно видело, что этим может накликать на Россию новую и на этот раз уже европейскую войну. Английский флот был в Мраморном море; заключенная перед войною конвенция с Австрией вовсе не предусматривала подобного исхода, а потому не обеспечивала нас от нападения с тыла. Удержаться на Босфоре при отсутствии флота мы не могли; выгонять турок из Европы и тем самым водворить на Балканском полуострове полнейший хаос мы не имели ни малейшего интереса. Войти же в Константинополь с тем, чтобы опять из него выйти, было таким шагом, который мог иметь самые невыгодные для нас последствия. Как в 29-м году мы остановились при Адрианополе, так теперь мы остановились перед Стамбулом. Это было единственное разумное дело с самого начала замешательств. К сожалению, для заключения мира был послан тот же неизбежный Игнатьев. Пользуясь положением турок, которые, раздавленные и потеряв всякие средства защиты, соглашались на все, он раскроил Оттоманскую империю, лишив ее почти всякой возможности существования, создал невозможную Болгарию, к которой присоединил не только Восточную Румелию, но и значительную часть Македонии, чем самым возбудил против нас и греков и сербов, а между тем военных позиций не обеспечил, так что в случае возобновления действий наш тыл оставался открытым.

Русские патриоты возликовали. Но надо было считаться

с Европою. После Сан-Стефано пришлось итти в Берлин. Здесь мы разыграли не совсем завидную роль. Без толку забравши слишком много для освобожденных нами болгар, мы значительную часть завоеваний должны были уступить обратно. Однако, из собственно русских интересов ничего существенного не было принесено в жертву. От Болгарии была отделена Румелия, но когда они несколько лет спустя соединились, мы первые восстали против этого слияния. Уступка, на которую мы согласились всего менее охотно, состояла в предоставленном Турции праве держать гарнизоны на Балканах, право, которым она никогда не воспользовалась. Тем не менее, русское общество сочло Берлинский мир позором для победителей. Аксаков публично произнес яростную речь, в которой обвинял русскую дипломатию в измене России. Его сослали на время в деревню, но неудовольствие не вдруг улеглось. За бессмысленным увлечением последовало столь же бессмысленное разочарование.

Я не разделял ни того ни другого. При первых замешательствах я с любопытством и даже с некоторым сочувствием следил за славянским движением. Начало народностей было выдающимся вопросом нашего времени, и я не сомневался, что рано или поздно славянские племена, подчиненные чуждым им правительствам, точно также поднимут народное знамя, как подняли его Италия и Германия. Не настала ли эта пора? Я слыхал от умных дипломатов, вовсе не причастных славянским увлечениям, как барон Будберг, что Сербии суждено разыграть роль Пиэмонта на Балканском полуострове. Потому, когда этот новый Пиэмонт, который в начале столетия так геройски отвоевал свою независимость, затеял войну против Турецкой империи, и генерал Черняев, выступив в поход, взял Бабью Гору, я с напряженным вниманием ожидал: что будет далее. Неужели он пойдет на Константинополь? Но вместо того, чтобы итти на Константинополь, генерал Черняев остановился и стал обучать войска. При первом столкновении с турками вся эта ватага сербов и добровольцев рассеялась, как дым. Все это оказалось пуфом, предпринятым с целью затянуть Россию в войну. При таких условиях увлекаться движением казалось мне чистым безрассудством. Славянские племена, обитавшие Балканский полуостров, очевидно, были не в состоянии стоять на своих ногах. Россия должна была не помогать им, а все делать сама, что требовало громадных жертв, да и вовсе не было в ее интересах. С этой точки зрения я спорил с своим шурином, Дмитрием Капнистом, который гостил у нас весною 1877 года. Он был в то время советником министерства иностранных дел

и хорошо знал все, что там творилось. Он сильно стоял за войну, утверждая, что нельзя найти более благоприятной минуты для разрешения Восточного вопроса согласно с нашими выгодами: Германия находится с нами в дружеских отношениях, с Австриею заключена конвенция, Франция ослаблена и не смеет двинуться, а Англия одна, без сухопутного войска, не в силах защищать Турцию. Я же возражал, что на дружбу Германии полагаться нельзя, что Англия, даже одна с своим флотом, не дозволит нам утвердиться на Босфоре, что удержаться там, не имея флота в Черном море, даже совершенно невозможно, а всякий другой результат не стоит тех жертв, которые потребует от нас эта война.

Поэтому я и Берлинский мир встретил, как единственный возможный исход из положения, в которое мы затесались зря, не зная, куда мы идем. Свои мысли об этом событии я изложил в рукописной статье, которую написал в деревне под заглавием: «Берлинский мир перед русским общественным мнением». Она была писана как раз перед появлением в печати яростной речи Аксакова и могла служить ей ответом. Приведу вкратце ее содержание.

Прежде всего я восставал против разжигаемых газетами увлечений, которые требовали войны во имя филантропии и патриотизма. Я доказывал, что проливать кровь из благотворительных целей, во имя евангелия, есть чистая нелепость, а провозглашаемое с таким треском историческое призвание России освобождать братские народы противоречит собственной ее политике в Польше: нельзя итти на освобождение одних братьев, когда держишь в цепях другого. Никто не поверит, что это делается бескорыстно. Не историческое призвание, а политические интересы двигали и движут нашею политикою на Востоке. Для нас существенно важно, в чьих руках находится ключ к Черному морю, и по географическому положению, и по племенному, и религиозному сродству, Балканский полуостров составляет естественную сферу нашего влияния. Но какого рода это влияние? Ни один здравомыслящий русский, конечно, не думает о завоевании Турции и о присвоении себе Константинополя. Это было бы не усиление, а ослабление России. Центр тяжести перенесся бы на юг, и Россия перестала бы быть Россиею. Столь же нежелательно создание мелких государств, состоящих к нам в вассальных отношениях, которые всегда непрочны и требуют значительных жертв. Все, что мы можем и должны желать, это—замены Турецкой империи небольшими государствами, связанными с нами своими существенными инте-

ресами и находящими в нас опору своей независимости. Но для этого необходимо, чтобы народы Балканского полуострова были способны стоять на собственных ногах. Мы можем подать им руку помощи, а никак не брать все дело освобождения на свои плечи, что совместно только с политикою завоеваний. «Отсюда ясно,—писал я,—что то, что называют разрешением Восточного вопроса, зависит вовсе не от изгнания турок из Европы, а от внутреннего развития подвластных Турции племен. Преждевременное изгнание турок было бы не концом, а началом вопроса, ибо тут только возникли бы бесчисленные затруднения от незрелых и сталкивающихся друг с другом стремлений освобожденных народов, к чему присоединилось бы неизбежное соперничество европейских держав, желающих каждая приобрести свою долю влияния на эти государства. Весь смысл существования Оттоманской империи заключается в том, что естественные наследники ее—малолетние. Устраните этого созданного историей попечителя, и тотчас явятся другие, которые займут оставленное впусте место. А так как интерес России состоит вовсе не в том, чтобы владычество Турции заменилось непосредственным вмешательством европейских держав, то прямая ее выгода заключается в сохранении Оттоманской империи до тех пор, пока, в силу естественного хода вещей и внутреннего развития подвластных племен, это дряхлое тело само собою развалится и уступит место более свежим элементам. Следовательно, настоящая политика России в Восточном вопросе должна состоять не в ускорении разрушения, а в спокойном выжидании. Россия призвана не уничтожить Турцию односторонним действием, а помогать зреющим племенам, всякий раз как позволяют время и обстоятельства. В особенности она должна стараться улаживать их внутренние распри, становясь в беспристрастное отношение ко всем им. Это одно соответствует истинным ее интересам, ибо этим только обеспечивается одинакое влияние на всех».

С этой точки зрения я восставал против Сан-Стефанского договора, который мог приходиться по вкусу только проповедникам крестового похода против Турции во имя филантропии и либерализма. «И для поддержания этого трактата,—писал я,—приходилось начать новую и более опасную войну, на этот раз уже не с дряхлою Турцией, а с европейскими державами, с Англией, вероятно и с Австрией, которая после заключенной с нею сделки вовсе не ожидала подобных условий, притом без денег, без союзников, с утомленною армией, с истощенными запасами,—и все это для фантастической Болгарии, о которой

самое лучшее, что можно было сказать, это то, что никому неизвестно, что из нее может выйти».

Но, одобряя умеренность русского правительства, которое не поддалось возбужденным им самим безрассудным толкам и требованиям, я не скрывал, что ложный шаг не обошелся нам даром. «Если мы взвесим все результаты войны,—заключал я,— то едва ли окажется, что мы что-нибудь от нее выиграли. Восточный вопрос значительно подвинулся вперед; это несомненно. Турция разгромлена так, что впредь она не в состоянии уже оказать серьезное сопротивление и может держаться только чужою поддержкою. Из подвластных ей народов некоторые получили полную независимость, другие—политическую, третьи административную автономию. Всем им даны гарантии и открыто новое поприще для внутреннего развития. Но послужит ли этот шаг на пути развития к расширению русского влияния? В этом позволительно сомневаться. Как уже было указано выше, именно сильнейшие племена Балканского полуострова стали нам во враждебное отношение. Кроме горсти черногорцев, к нам примыкают, и то с весьма значительными оговорками, одни болгары, которые пока не представляют ничего, кроме неизвестного будущего. Но неизвестное не может считаться достаточным вознаграждением за пролитую кровь и за потраченные деньги. С другой стороны, взамен разваливающейся Турции явились гораздо более опасные и могучие соперники, Австрия и Англия, которые стали твердою ногою в турецких владениях. Мы сильным ударом пошатнули ветхое здание; естественным последствием было то, что все имеющие интерес в доме пришли занять в нем свое место. Австрия приобрела в Боснии и Герцеговине крепкую военную позицию. Она расширила свое влияние и на Сербию. Англия заняла Кипр и гарантировала азиатские владения Турции. Отныне мы не можем сделать шага, не столкнувшись с ними... Вместо слабого соседа, мы приобрели сильных. Шаг сделан громадный, но не в нашу пользу».

Когда я писал эти строки, я не думал, что несколько лет спустя, даже скудные плоды наших побед на Балканском полуострове будут безрассудно разбросаны по ветру. Можно ли было предвидеть, что вместо бережного отношения к освобожденной нами народности, мы наложим на нее медвежью лапу, станем требовать от нее той же безусловной покорности, к какой мы привыкли у себя дома, и при встрече сопротивления, из чисто личной досады, покинем позицию, приобретенную потоками русской крови? Еще менее можно было ожидать, что самодержавное правительство, всегда стоявшее на страже по-

6*

рядка и гордое сознанием своего божественного права, станет заниматься тайными кознями, подкупами, возбуждением революции, подготовлением ночных нападений на законного, им же посаженного князя. И когда верные болгары, подняв знамя закона, выгнали заговорщиков и призвали своего насильно увезенного князя назад, с высоты русского престола раздался голос, осуждающий его возвращение. Пример, подобный которому едва ли можно встретить в истории. Если болгарская политика прошедшего царствования страдала неясностью мыслей и нерешительностью действий, то политика нынешнего царствования страдает, напротив, чрезмерным пренебрежением ко всему, кроме личного самодурства*.

Печатать мою статью при наших цензурных условиях, конечно, было немыслимо. Дмитрий Капнист литографировал ее, однако с пропуском всех мест, могущих задеть высокопоставленные лица, и в этом виде пустил ее в ход в Петербурге. Она произвела некоторое впечатление в маленьком кругу читателей. Между прочим, граф Строганов говорил мне, что он был так поражен аргументацией, что послал статью императрице. Не знаю, как она там понравилась.*

В переписке князя П. А. Вяземского есть писаное в это время письмо, в котором он говорит: «Сохраните это письмо, как доказательство, что в опьяневшей России был хотя один трезвый человек». Могу с документом в руках, сказать, что их было несколько, хотя, к сожалению, очень немного. Из ближайших моих друзей один Станкевич вполне разделял мои взгляды. Даже Дмитриев и Щербатов плакались над оскорблением патриотического чувства Берлинским трактатом. Я же не видел в постановлениях Берлинского трактата ничего нарушающего истинные интересы России; щелчок же, данный безрассудству, считал весьма полезным для будущего. К сожалению, подобные уроки проходят у нас совершенно без следа.

В других странах, где существует какая-нибудь свобода мнений, люди, остающиеся трезвыми при общем увлечении, могут, по крайней мере, поднимать голос, а при наступающем отрезвлении приобретают некоторый авторитет; у нас они принуждены шептать за кулисами, а минуты отрезвления они никогда не дождутся: за беснованием наступает или полное равнодушие или безрассудство в противоположную сторону. Так и теперь, за слепым увлечением болгарами последовала столь же слепая ненависть к болгарам. В обоих случаях журналы били в набат, и пошлый патриотизм проявлялся во всем своем блеске. Всего

противнее были раболепные восторги при чтении царской телеграммы изгнанному болгарскому князю.

Следя внимательно за ходом политических событий, я в то же время был занят философскою работою. Мне давно хотелось высказать созревшие у меня мысли об отношении философии к религии. Сначала я думал сделать это по окончании предпринятой мною истории политических учений. Но этот труд затягивался, и конца еще не предвиделось. Я решился временно отложить его в сторону и написать сочинение, обнимающее совокупность высших философских вопросов, в форме доступной, если не для массы публики, то по крайней мере для людей, умеющих читать серьезные книги. Результатом было сочинение, которое я издал под названием «Наука и религия» *. Я работал над ним первую зиму, проведенную в Москве, с 1877 на 1878 год. Еще в рукописи я читал его Станкевичу, который в итоге остался им очень доволен, главным образом философскою частью. От Победоносцева по издании книги я получил восторженное письмо. Соловьев, не соглашаясь с моими взглядами на счет исторического развития религиозных верований, сказал мне перед смертью: «Дай бог побольше таких книг». Глава о развитии мифологии была, бесспорно, самая неудовлетворительная во всем сочинении. Этот предмет в своей совокупности был еще вовсе не разработан в науке, а многие его части оставались даже вовсе не исследованными. Приходилось в небольшой главе излагать его сжато, а вместе достаточно подробно для оправдания выводов, что представляло почти неодолимые трудности. Я в рукописи читал эту главу молодым московским ученым, Герье и Федору Коршу, думая от них получить какие-нибудь указания, но не слышал ни одного путного замечания и должен был напечатать главу в том виде, в каком она была написана. Думаю, однако, и теперь, что в ней есть мысли и взгляды, заслуживающие внимания.

Книга произвела некоторое впечатление и в петербургском обществе. Баронесса Раден писала мне, что она в первый раз слышит, что о моем сочинении говорят в светских гостиных. Я сам, несколько лет спустя, осматривая дворец в Алупке, к удивлению нашел свою книгу с заметкою на столе в будуаре княгини Воронцовой. Но печать, за исключением некоторых духовных журналов, встретила ее враждебно. В «Вестнике Европы» появилась маленькая статейка, касавшаяся только третьей части и обличавшая в авторе полное незнакомство с историею философии, о которой он брался толковать. Казалось, наши журналисты хотели оправдать сказанное в преди-

словии, что никогда еще легкомыслие и невежество так беззастенчиво не выставлялись напоказ. Что касается до Каткова, то он избрал самый верный путь: не сказал ни слова о сочинении, которое во всяком случае составляло оригинальное явление в нашей скудной философской литературе. Я слышал на этот счет любопытный рассказ от Ипполита Павлова, который зарабатывал себе деньгу в «Русском вестнике». Павлов сказал Каткову, что это книга замечательная, и что надобно об ней написать. «Я согласен с вами, что эта книга замечательная,—отвечал Катков,—но так как со многим нельзя согласиться, то лучше о ней промолчать». Так этот руководитель русского общественного мнения понимал задачи и обязанности критики. Сочинение, несмотря на то, почти совсем разошлось. Но какого-либо следа, хотя бы даже серьезного обсуждения поднятых ею важных философских и исторических вопросов, я не видал. О том, чтобы оценить достоинства и недостатки книги и оказать хотя бы малую долю уважения положенным в нее добросовестной мысли и многолетнему труду, об этом в нашей журналистике не было и помину. Ярлычок был привешен не тот, какой требовался тем или другим направлением.

По окончании этого сочинения, я принялся вновь за историю политических учений; но посреди работы я был неожиданно отвлечен совершенно посторонним делом. Однажды Щербатов приехал ко мне за советом. Ему предложили председательство в одном из отделений Комиссии, учрежденной под председательством графа Баранова для исследования железнодорожного дела в России. * Он спрашивал: что я об этом думаю? следует ли принимать? Я отвечал, что, когда правительство обращается к обществу за содействием, то нет повода ему отказывать. Как человек свободный и практический, он легко справится с делом, и я не вижу причины от него уклоняться. «Хорошо,—сказал он,—я пойду, если ты пойдешь со мною в качестве товарища». В подкомиссиях товарищей не полагалось, что Щербатов принимал на том условии, что назначаемое председателю жалованье в 3000 рублей, от которого он отказывался, будет обращено на товарища. Я согласился.

Комиссия графа Баранова была, в сущности, некоторого рода подкопом под министерство путей сообщения, которое находилось в то время под управлением адмирала Посьета, хорошего человека, но совершенно неспособного министра. Решаясь приняться за эту работу, я питал надежду, что конкуренция авгуров, * как я выражался, даст возможность сторонним людям провести что-нибудь путное. Однако и наш председ

датель, граф Эдуард Трофимович, добрый, мягкий, обходительный, не отличался ни деловитостью, ни энергиею. Главный его делопроизводитель, генерал Анненков, впоследствии строитель Закаспийской железной дороги, был, напротив, человек энергический, очень деятельный, но ненадежный. Основательности в нем было мало: к делу он относился довольно легко, всегда руководствовался личными целями, и на слово его нельзя было положиться. Но подкомиссиям в их работах предоставлен был полный простор. Все русские железные дороги были распределены между ними. Во главе одной стоял сам граф Баранов; в других председателями были Щербатов, князь Волконский, бывший председатель Рязанской губернской управы, барон Менгден, председатель поземельного банка в Варшаве, Тернер, впоследствии товарищ министра финансов, и наконец бывший профессор Харьковского университета Е. С Гордеенко. На нашу долю досталось все протяжение пути от Вологды до Севастополя, то есть дороги Московско-Ярославская с ветвью до Вологды, Московско-Курская, Курско-Харьково-Азовская, Донецкая Каменноугольная и Лозово-Севастопольская. Приходилось проехать почти всю Россию, от дальнего севера до самой южной оконечности.

Кроме Щербатова и меня, наша подкомиссия состояла из двух инженеров по технической части, Титова и Михайлова, из профессора политической экономии в Московском университете Чупрова для статистики и двух членов Московского биржевого комитета, Бакланова и Санина, по коммерческой части. Состав был, вообще, хороший. Титов был весьма умный и сведущий инженер, сам строитель нескольких дорог, хотя к нашему делу он относился довольно легко и вообще был себе на уме. Михайлов, напротив, был человек вполне искренний, работящий, добросовестно относившийся к обязанностям, которые он на себя принял. К сожалению, ему мешало болезненное состояние, вследствие которого он вскоре и умер. Чупров в личных отношениях был тоже очень приятен; социал-демократ в душе, он не высказывал своих убеждений и держал себя крайне осторожно; в статистике он был сведущ и основателен, умел хорошо говорить, хотя в других отношениях образование было весьма скудное. Купцы тоже были отличные и дельные люди; в особенности сочувствие привлекал к себе Бакланов, милый и сердечный человек, впоследствии обанкротившийся, к общему сожалению. Только наш делопроизводитель Волков был человек веселый, но легонький. Щербатов часто журил его за небрежное отношение к делу, с которым он, однако, был знаком.

Наша задача состояла в том, чтобы объехать все дороги, останавливаясь на каждой станции, осматривать все сооружения, пути, здания, мастерские и собирать все сведения об отправке и движении грузов. О нашем прибытии заранее давалось знать местным отправителям и торговцам; составлялись совещания, на которых высказывались как потребности, так и неудовольствия на дорогу. Этим путем можно было получить самые верные и точные сведения о ходе русской торговли по всем железным дорогам. Способ был выбран весьма удачный. Мы были не правительственные чиновники, привыкшие к бюрократическим приемам, а люди из общества, которые на все смотрели свежими глазами и перед которыми можно было высказываться откровенно. Между нами были и купцы, сведущие в коммерческом деле. Эта сторона была, в сущности, самая живая и интересная часть нашей задачи. Но и вообще весь этот объезд представлял много привлекательного. Мы ехали в удобных вагонах, в которых и жили, исключая больших городов, где мы переезжали в гостиницы или переходили в царские комнаты на вокзале. Мы видели множество новых лиц, с которыми тотчас вступали в деловые сношения, видели отдаленные и интересные русские города, в которых без того никогда не пришлось бы побывать, знакомились с богатствами и потребностями русской земли. После осмотров и совещаний между нами происходили оживленные разговоры обо всем виденном и слышанном. И все это происходило в летнее время, когда путешествие, особенно при небольших переездах, и легко и приятно. Я сохранил об этом времени хорошее воспоминание.

Первая дорога, которую мы осматривали, была Московско-Курская. Она была в отличном состоянии. Построенная казною на дорогие деньги, но капитально, она вследствие убыточности казенного управления, была продана компании московских купцов, которые на ней обогатились. В сущности, она досталась им почти даром. В несколько лет долг правительству был выплачен без труда, и дорога осталась в их руках, свободная от всяких обязательств и с крупным доходом. Главным заправилой в этой продаже был умерший уже тогда Федор Васильевич Чижов, известный литератор, но вместе весьма практический человек, который знал все ходы и умел обделать всякое дело. Оно объяснилось нам, когда мы узнали, что в числе крупных акционеров был Александр Аггеевич Абаза, который, однако, владел паями не под собственным именем, а прикрываясь именем своего шурина Бенардаки. Вскоре потом Бенардаки разорился, и правительство опять купило эти акции,

за два или за три миллиона. Выяснять эти обстоятельста, принадлежавшие уже прошлому, не входило в наши обязанности. Мы могли только удостоверить хорошее состояние дороги и указать на некоторые необходимые исправления.

Совершенно иной характер имела Курско-Харьково-Азовская дорога, которой начальные буквы К. Х. А. Ж. Д. самими служащими в ней толковались так: Канибальская, Хамская, Адская, Жидовская Дорога. Она принадлежала известному Самуилу Соломоновичу Полякову, еврею, вышедшему из ничтожества и в несколько лет составившему себе огромное состояние на построении железных дорог. Тут весь расчет предпринимателя состоял в том, чтобы строить как можно дешевле, сохранить за собою как можно более денег. Та же цель преследовалась и при эксплоатации. Это была одна из тех дорог, в отношении к которым акционерам выгодно, чтобы они находились в дурном состоянии. Правительство во всяком случае платило пять процентов с капитала; больше этого трудно было получить даже при хорошем управлении, а потому вся выгода заключалась в том, чтобы держать дорогу в дурном виде и на улучшение получать от правительства новые ссуды, из которых часть, разумеется, оставалась в кармане акционеров. В то время как мы осматривали дорогу, правление просило у правительства двадцать два миллиона для приведения ее в хорошее состояние. Мы сбавили их, помнится, на семь. При всем том мы нашли дорогу в лучшем положении, нежели ожидали, судя по ее репутации и по тем возгласам, которые раздавались против нее отовсюду. Надобно отдать справедливость Полякову, что он для управления набирал людей, соблюдавших и его и свои выгоды, но дельных, деятельных и энергичных.

Это особенно нас поразило, когда мы вслед за тем переехали на Лозово-Севастопольскую дорогу, где господствовало уже полное неряшество. На всех станциях стояли громадные грузы хлеба, остававшиеся без движения, и казалось, что никому до этого нет дела. В Екатеринославе мы нашли собрание тамошних дельцов, которые хлопотали о проведении железной дороги от Донецкой-Каменноугольной, через Екатеринослав, к Кривому Рогу, где открыты были богатые залежи железа. Но собравши подробные сведения, мы пришли к заключению, что нет никакой выгоды строить с огромными издержками дорогу, параллельную с Лозово-Севастопольской, и без того убыточной, единственно в виду соединения каменного угля с отдаленною железною рудою, между тем как в ближайшем расстоянии от донецкого угля, у Корсак-могилы, найдены были залежи железа, могущие

удовлетворить промышленным требованиям на многие годы. Это и было высказано на совещании с екатеринославскими дельцами, которые против этого ничего не могли возразить. Впоследствии, как я скажу ниже, дорога была все-таки построена.

Мы осмотрели только что выстроенную Донецкую сеть, которая была как с иголочки. Строителем был сам сопровождавший нас инженер Титов. От него мы узнали и причину малой доходности дороги. Сеть была намечена не в видах промышленных выгод страны, а ввиду выгод частных владельцев, имевших кредит в правительственных сферах. Во всем этом деле личные искательства и задабривания играли главную роль. Тем не менее, для нас в высшей степени интересно было знакомство с этим богатым краем, представляющим неистощимые запасы для будущего. Мы видели и знаменитые Юзовские заводы, * при осмотре которых я, как единственный член комиссии, говорящий по-английски, должен был служить толмачом; видели торговый Ростов и упадающий Таганрог, также Мариуполь, где надобно было собрать сведения на счет предполагавшегося устройства новаго порта. Из Мариуполя мы с Щербатовым вдвоем, в маленькой колясочке, проехали по южным степям до ветви Донецкой дороги. День был чудесный и поездка была очаровательная. Южная степь, которой я дотоле не видал, представилась мне во всей своей пустынной красе, с мягкими переливами тонов, с перспективами виднеющихся друг за другом балок и с бесконечными горизонтами. В первый раз я видел и Севастополь, эту русскую твердыню, полную великих воспоминаний, возвышающих дух и заставляющих сердце сильнее биться за отечество. Он был еще весь в развалинах, и каждый камень, казалось, говорил о подвигах павших в нем героев. Мы посетили и Малахов Курган, и Братскую могилу и воздымающийся на холме собор четырех адмиралов. Статуя Лазарева, создателя Черноморского флота, одиноко возвышалась над портом, впереди разрушенного арсенала, как бы возвещая миру, что может сделать русский человек с твердым умом и неуклонною волею.

Мы воспользовались пребыванием в Крыму, чтобы туристами объехать южный берег. Обозревши Георгиевский монастырь, с дивными скалами, отвесно вздымающимися над морем, мы ночевали в Байдарах и к восхождению солнца поднялись к Байдарским воротам, откуда внезапно открывается волшебный вид на морскую даль и на лежащую у подножья долину. После Италии я не видал ничего более восхитительного. Здесь

нет той яркой и глубокой лазури, которая так привлекает в Средиземном море, зато, рядом с живописными скалами и с безбрежною водною равниною, тянется роскошная растительность, неизвестная в Италии. На протяжении сорока верст мы ехали непрерывным садом, с постоянно меняющимися видами. Осмотрев великолепную Алупку с ее чудным парком и английско-мавританским дворцом, мы к вечеру прибыли в Ялту, где впоследствии мне привелось проводить много зим. Через прелестный Гурзуф, в то время, еще приютное жилище богатого барина, * мы вернулись в Симферополь. Перед тем мы осматривали и Бахчисарай, живописный восточный город, раскинутый в ущелье, с старинным дворцом ханов, полным воспоминаниями о Пушкине. Съездили и в Чуфут-Кале, где среди развалин опустевшего города нас встретил единственный оставшийся там жилец, старый караим, который доканчивал свой век хранителем священных преданий своего племени.

На север Щербатов не поехал. Он предоставил мне осмотр Ярославской дороги. И тут довелось видеть местности, дотоле мне совершенно незнакомые: древний Ростов с его старинными церквами, красивый Ярославль, живописно расположенный на берегу Волги. В Ростове, на воротах одного из соборов, меня поразила надпись: старинные массивные ворота были разбиты на квадраты толстыми брусьями, и в каждом квадрате была картинка с подписью. В одном из квадратов был изображен повешенный лев, и подпись гласила: «Да знает правительствовать». Можно было подумать, что это какой-нибудь революционный символ. Не знаю, сохранилось ли доселе это изображение. * Путь из Ярославля в далекую Вологду произвел на меня грустное впечатление. Он лежит по лесистым местам, а между тем, на всем протяжении не видать ни одного порядочного дерева: все вырублено; осталось одно мелколесье. Недоумеваешь, куда все это пошло? Естественные богатства исчезли, но не видать, чтобы они заменились богатствами человека. Мне казалось, что во многих отношениях это прилагается ко всей нашей унылой и бедной русской земле. Я вспоминал Англию, где вся страна носит на себе печать обилия и просвещения, а между тем деревья, бережно хранимые человеком, стоят в вековой красе. Но самая железная дорога от Москвы до Вологды произвела на меня очень выгодное впечатление: построена дешево, без малейшей роскоши, управляется отлично, эксплоатация бережливая и разумная; это был тип дороги, какие нужно было строить в России.

Плодом всех наших объездов была целая масса докладов.

Я взял на себя два: о жалобах и заявлениях и о выборных учреждениях при железных дорогах. На последние граф Баранов особенно напирал и выделял этот вопрос из всех других, с целью представить его на законодательное решение ранее прочих, как первый результат работы комиссии. Мы проектировали целый ряд учреждений местных и центральных, с элементами, частью правительственными, частью выборными от отправителей, в видах контроля и урегулирования товарного движения. Этим работам посвящена была вся зима с 79-го на 80-й год. Весною мы повезли свои доклады в Петербург. Другие подкомиссии сделали тоже. Но увы! все эти объезды и работы были истрачены даром. Конкуренция авгуров, на которую я надеялся, не привела ни к чему. Комиссия графа Баранова, со всеми исписанными ею кипами бумаг, канула в воду, не оставив по себе и следа. С таким треском возвещенное исследование обратилось в мыльный пузырь, и министерство путей сообщения, с своею бюрократическою рутиною, осталось торжествующим на развалинах. Тщета правительственных комиссий и бесплодность посвященной им работы выяснились для меня вполне.

Щербатов вышел ранее меня. Поводом послужила постройка Екатерининской дороги. Я сказал, что, собравши сведения на месте, мы все пришли к убеждению, что эта дорога не может приносить выгоды, и что строить ее не следует. Но екатеринославские дельцы подъехали к княгине Юрьевской, * которая в этом деле пользовалась большим влиянием, а Лорис-Меликов, который тогда был в силе, хотел угодить фаворитке. Решено было построить дорогу, под предлогом, что на юге в то время был неурожай, и жителям местности надобно было дать заработки; между тем, зимою, когда именно нужна была помощь, земляные работы не производятся, а на лето для них выписываются землекопы из северных губерний, так как местные крестьяне заняты полевыми работами, а земляными вовсе не занимаются. Постройка была поручена сопровождавшему нас инженеру Титову, который с своей стороны подавал записку о бесполезности этого пути. При обсуждении вопроса о нашем докладе не было и помину; граф Баранов, в виду высших влияний, не заикнулся о нем ни словом. Тогда Щербатов к нему отправился и объяснил, что хотя он не думает требовать, чтобы выраженному им мнению непременно следовали, но когда людей независимых призывают к работе, они вправе ожидать, что она будет принята в соображение, а не положена просто под сукно. Он заявил, что выходит из Комиссии. Впо-

следствии я слышал, что дорога все-таки окупается не сближением каменного угля с железом, а тем, что она доставляет самый прямой сбыт донецкого угля в юго-западный край, и тем дает ему возможность конкурировать с польским.

Я не хотел усугублять демонстрацию и еще раз поехал в Петербург на съезд. Мне все-таки любопытно было следить за ходом дела. Я увидал, что оно вовсе не двигается. На следующий год и я вышел из Комиссии, когда был выбран московским городским головой. Несколько лет спустя, Щербатов где-то на железной дороге встретил представителя крупной иностранной компании в Донецком бассейне, инженера Авдакова. Тот подошел к нему, возобновил знакомство и сказал: «А знаете ли, что мы о вас вспоминаем с благодарностью». Но в эту самую минуту прозвонил звонок, они разошлись, и так мы никогда не узнали, какую мы по себе оставили благодарность и чем мы могли кому-либо принести хотя малую пользу.

Неспособность правительства, проявившаяся в этом частном деле, обнаруживалась еще ярче в общем управлении. В то время, как мы были заняты своею работою, в России росло движение, которое должно было иметь роковое влияние на ее судьбу. Нигилизм от пропаганды перешел в действие.

Ревнители произвола приписывают его развитие преобразованиям Александра II и связанному с ними ослаблению правительственной власти. Предыдущее изложение показывает, что еще до преобразований в 1861 году нигилизм был в полном разгаре. Гнет николаевского царствования накопил горючие материалы; брожение, вызванное Крымскою войною, дало им новую силу. Внезапное облегчение тяжести, последовавшее в новое царствование, обнаружило только то, что таилось внутри. Долго сдавленное общество, выпущенное на свежий воздух, шаталось, как человек, вышедший из многолетней тюрьмы и впервые увидевший свет божий. Бродячие элементы всплывали наверх и увлекали умы, в особенности молодежи. В то время уже издавались прокламации, взывавшие к истреблению всех высших слоев общества. Чернышевский держал в своих руках все нити этого движения, организуя и поджигая своих единомышленников. Последовавшие затем великие реформы могли удовлетворить и привязать к правительству разумных людей; но социал-демократам, мечтавшим о разрушении всего общественного строя, они казались ничтожеством. Ссылка Чернышевского и Михайлова произвела только временную остановку; затеянное ими дело продолжалось. В Швейцарии образовался притон русских революционеров, которые, при

удобстве сообщений, могли посылать своих эмиссаров, куда хотели. В самой России сложилась подпольная организация, которая везде имела свои разветвления. Выстрел Каракозова обличил их замыслы.

Наступила реакция, но реакция не руководимая государственным смыслом, не опирающаяся на разумные элементы общества, а чисто полицейская, и притом бестолковая. Начались произвольные аресты массами, одиночное тюремное заключение без суда, административные ссылки, которые еще более озлобляли свои жертвы и разносили пропаганду по самым отдаленным краям России. Нигилисты представлялись мучениками своих убеждений. Судебное следствие, распространенное на все государство, вверено было лицу, пользовавшемуся самою незавидною репутацией, человеку, не стеснявшемуся ничем и без всяких правил, прокурору Жихареву, который впоследствии, когда был сделан сенатором, не смел даже заседать среди своих товарищей. Оно было ведено возмутительным образом, с нарушением самых элементарных понятий о законности и человеколюбии. Ни в чем неповинные свидетели, оторванные от семейств, по целым годам сидели в тюрьмах, многие из обвиняемых в отчаянии налагали на себя руки. Самый суд оказался несостоятельным. Из недоверия к независимой магистратуре суждение политических преступлений было отнято у судебных палат и перенесено в Сенат. Но Сенат, в который помещалось все отжившее свой век и негодное к действительной службе, обнаружил всю свою неспособность. Громадный процесс, которым завершилось следствие, так называемый процесс 193-х, был настоящим скандалом.

В 1875 году главный руководитель всей этой полицейской реакции, граф Петр Андреевич Шувалов, внезапно пал вследствие одного из тех поворотов, которые довольно обычны в самодержавном правлении. Княжна Долгорукая, впоследствии княгиня Юрьевская, бывшая уже тогда в фаворе, сообщила государю все толки, ходившие тогда в обществе, о всемогуществе Шувалова, о том, что его зовут Петром IV. Государь, как истинный самодержец, был очень щекотлив на счет своей власти и своего авторитета. Он не терпел, чтобы кто-нибудь его затмевал. Однажды вечером, мирно играя в карты, он вдруг сказал Шувалову: «а ты давно желал быть послом в Лондоне; я тебя назначил». Для Шувалова это был громовой удар. Он действительно когда-то говорил о приятности положения посла в Лондоне, но никогда не думал об этом серьезно. Он принужден был удалиться, но клевреты его остались: Тимашев, граф

Пален, Толстой. Остался и петербургский градоначальник, генерал Трепов, человек умный, деятельный и энергический, но в своем произволе не стеснявшийся ничем. Однажды узнали, что он в тюрьме высек политического преступника за то, что тот не снял перед ним шапки. Даже друзья Трепова рассказывали об этом с негодованием. В отмщение за это гнусное дело последовал выстрел Веры Засулич.

Мне случилось быть в Петербурге во время этого процесса и я присутствовал на суде. Трудно было сочинить больше несообразностей, нежели те, которые наделало тут министерство юстиции. Главным руководителем следствия был прокурор судебной палаты Лопухин, который приобрел себе репутацию в должности председателя Окружного суда отличным ведением дела Овсянникова, * но как прокурор, был совершенно негоден. Они придумали с графом Паленом, что так как Сенат оказался несостоятельным в ведении судебного дела, то лучше вовсе не придавать процессу политического характера, а судить его как обыкновенное покушение на убийство судом присяжных. Ничего более нелепого нельзя было изобрести. Присяжные, по самому своему характеру, гораздо более податливы к увлечениям, нежели коронные судьи. Петербургские присяжные в особенности не раз уже выказывали свою наклонность к оправданию даже явных преступников. А тут был акт возмутительного полицейского произвола, отомстить за который, при молчании власти и закона, самоотверженно взялась молодая девушка. Какая тема для воззвании к чувствам. Мало того: прокурора намеренно назначили из слабых, и когда это было замечено Лопухину, он отвечал, что они сделали это именно для того, чтобы не придавать процессу слишком большого значения. Глупость была сугубая. Впоследствии представители министерства юстиции хотели свалить вину с больной головы на здоровую. Обвиняли председателя окружного суда, Кони, в том, что он допустил на суде показание свидетелей о том, что происходило в тюрьме. Выходило, что судилась не Вера Засулич, а Трепов, который притом отсутствовал и не мог защищаться. Но устранить выяснение мотивов преступления не было возможности без вопиющего нарушения правосудия. Уважающий себя председатель не мог на это итти. Самый закон дозволял подсудимым на свой счет вызывать каких угодно свидетелей; нельзя было лишить их этого права, составляющего одну из важнейших гарантий правильного суда. Если Трепов отсутствовал, то это было добровольно. Он не был вызван свидетелем, благодаря своему высокому положению, и благо ему было, ибо его исполнители,

которые явились на суд, разыграли плачевную роль. И когда выясняя побуждения, которые заставили обвиняемую совершить свое дело, защитник в своей речи выставил всю возмутительность совершенного истязания, когда он показал, как после всех произведенных реформ, после отмены телесного наказания, человек вышел из-под розги, поруганный и опозоренный, когда после этого прокурор отказался отвечать, Вера Засулич была оправдана в глазах многих. К сожалению, я не дождался приговора. Мы с Дмитриевым, который был тут же, должны были обедать в гостях; совещание присяжных затянулось, и мы уже после узнали, что происходило в суде. Прокуратура покрыла себя вящшим позором, когда после оправдательного вердикта, в силу которого подсудимая тотчас была выпущена на свободу, она вздумала арестовать ее снова, руководясь тайным предписанием, но распорядилась так плохо, что выпустила ее из рук. Она тут же скрылась, делая тщетными все поиски полиции, и была выпровожена за границу, где благополучно проживает доселе.

Я был поражен не столько самым ходом процесса и его содержанием, сколько вопиющим противоречием между торжественною обстановкою гласного и публичного суда, установленного новейшими преобразованиями, и теми действиями, которые на нем раскрывались. С этой точки зрения я написал небольшую статью, которую прочел Абазе. Он пришел от нее в восторг и рассказывал даже своим приятелям, что это было для него радостное событие. Я в рукописи распространил ее между знакомыми. Здесь ограничусь выдержками.

«Настоящий процесс, — писал я, — раскрыл существенное зло, заключающееся в нашем общественном строе, именно то коренное, несовместимое противоречие, которое лежит между преобразованиями нынешнего царствования и системою произвола, внесенною в полицейскую деятельность после прискорбного события 4 апреля 1866 года».

Отметив главные черты этого противоречия, указав в особенности на яркое проявление его в суде, я старался возвести вопрос к высшим началам государственного управления.

«Полицейская система, водворившаяся в 1866 году, — продолжал я, — была вызвана революционным своеволием, распространившимся в русском обществе. Желание противодействовать этим стремлениям было вполне законно; но способ исполнения, вместо того, чтобы уменьшить зло, еще более его усилил. Если своеволие вызывает произвол, то произвол, в свою очередь вызывает своеволие. Это — две крайности, которые всегда

следуют друг за другом. Победить их может только законное начало высшего порядка. Эта мысль и была положена в основание преобразований нынешнего царствования. Но русское общество не успело еще свыкнуться с новым жизненным строем, как оно было совершенно сбито с толку возрождением полицейской деятельности в прежней его форме. Преобразования остались, но рядом с ними установилась система, не имеющая с ними ничего общего, система полицейских преследований, произвольных арестов, административных ссылок. Мудрено ли, что общество пришло в недоумение, что все мысли перепутались, что в самой политике правительства обнаружилась неисцелимая двойственность? Результаты этого противоречия у нас на глазах: они проявились в усилении пропаганды, в скандальных политических процессах, наконец, в деле Засулич. Общество, к которому в лице присяжных взывало правительство, не дало ему поддержки, ибо оно в своей совести осуждало систему, вызвавшую преступление, и боялось закрепить его своим приговором».

Я говорил далее о необходимости выйти из этого положения, чего единственным верным путем представляется честное откровенное вступление на почву законного порядка. «Но, аясь на такой шаг,—замечал я—необходимо дать себе ясный г, что значит вступить на почву законного порядка. Если все дело ограничивалось исполнением предписанных законом форм, то для этого не требовалось бы ни особой мудрости, ни особенного умения. Но правительство, стоящее во главе общества и званное им руководить, не может ограничиться мертвым формализмом. Оно должно поддержать силу власти, иметь нравственный авторитет. Оно должно итти твердым шагом среди бесчисленных задержек, созданных им самим установленным порядком вещей. Нет ничего легче, как действовать путем произвола. Тут все просто и препятствий нет никаких. Но когда приходится иметь дело с самостоятельными силами, считаться с разнообразными интересами, улаживать постоянно возникающие столкновения, и при этом сохранить всю свою твердость и все свое обаяние, то задача становится гораздо сложнее. Первобытная простота произвола может довольствоваться и первобытными средствами; совершеннейший способ действий требует и усовершенствованных орудий».

Я настаивал на том, что в виду глубоко укоренившегося зла нужны не новые меры, а именно новые орудия. «Мера — не что иное, как клочок бумаги, который и остается бумагой. Дело не в мерах, а в людях, не в предписании, а в исполнении...

Благие намерения государя не подлежат ни малейшему сомнению; они яркими чертами написаны на каждой странице настоящего царствования. Но исполнение так далеко отстоит от намерений, что сердце каждого русского человека не может не быть поражено глубокою скорбью при том зрелище, которое ныне представляет наше отечество. Все расшаталось; нигде нет ни ясной мысли, ни твердой точки опоры. Умы опошлились, характеры исчезли, уровень образования понизился... Не новых преобразований мы просим, — восклицал я в заключении, — а людей, людей, ради бога, людей!» *.

Разумеется, подобные воззвания были гласом вопиющего в пустыне. Правительство продолжало ведение неуклюжей полицейской реакции до тех пор, пока сами события не убедили в необходимости вступить на новый путь. Нигилисты, подстрекаемые успехом, принялись за свое разрушительное дело с большею энергиею и еще большею беззастенчивостью, нежели когда-либо. Выстрел Веры Засулич послужил сигналом к целому ряду политических преступлений. Сначала пошли убийства в провинции, затем сам шеф жандармов Мезенцев был убит среди белого дня на улицах Петербурга, и убийца успел ускользнуть от всех преследований и поисков неумелой полиции. Наконец последовал ряд покушений на жизнь государя: взрыв железнодорожного пути, учиненный Гартманом, взрыв Зимнего дворца, обнаруживший невероятное неряшество дворцового управления. Благодушного монарха, совершившего величайшие дела, заслужившего беспредельную благодарность всех русских людей, любящих свое отечество, травили как дикого зверя. В таком положении нельзя было оставаться. Очевидно требовалась некоторого рода диктатура, но не чисто полицейская, а опирающаяся на общественное мнение. С этою целью призван был Лорис-Меликов.

Мысль была совершенно верная, но, к сожалению, исполнителю недоставало государственного смысла. Лорис-Меликов был хороший генерал, умный, распорядительный, хотя не без значительной доли азиатской хитрости. После войны, где он выказал свои способности, он послан был исследовать ветлянскую чуму * и обнаружил там большую деятельность. Назначенный затем харьковским генерал-губернатором, он своими энергическими мерами и своею обстоятельностью умел снискать общее расположение. Но России он вовсе не знал, о гражданских порядках имел самые смутные понятия, готов был на всякие кривые пути и при этом заражен был непомерным тщеславием, которое побуждало его во что бы то ни стало

искать популярности. Один мой деревенский сосед рассказывал мне, что его повели знакомить с Лорис-Меликовым, когда тот жил уже в Ницце на покое. С первых слов бывший государственный муж спросил его: кто популярнее в провинции, он или Скобелев? Сосед мой, не желая кривить душой, сказал, что лубочные изображения Скобелева на белом коне значительно содействовали распространению его славы в народе. Тогда Лорис-Меликов с яростью начал доказывать ему, что репутация Скобелева совершенно незаслуженная. Сам он про себя воображал, что его имя известно во всякой хижине и наивно это высказывал. При таком необузданном стремлении к популярности, главная задача заключалась в том, чтобы бить на эффектные меры. К совету призывались легенькие петербургские публицисты и журналисты; хватались за все и ничего не умели сделать путным образом.

Не много мог помочь ему в этом деле его главный сподвижник, Абаза, который был назначен министром финансов. Абазу я знал давно и был с ним в хороших отношениях. Он был гофмейстером великой княгини Елены Павловны; сестра его была замужем за Николаем Алексеевичем Милютиным. * Вращаясь постоянно в этом кругу, он набрался кое-каких либеральных идей; но они не могли заменить полного отсутствия образования и серьезной подготовки. Смолоду светский лев и страстный игрок, он женитьбою на дочери откупщика Бенардаки приобрел большое состояние, которое он умножил денежными оборотами и умением пользоваться своим положением и влиянием для коммерческих дел. Он был сведущ в финансовых вопросах, отлично говорил в Государственном совете и умел осторожной уклончивостью пробивать себе дорогу к высшим почестям. Но, проводя всю жизнь в высших петербургских сферах, он мало прикасался к настоящей жизненной почве и легко смотрел на людей и на вещи, имея в виду более личное свое положение, нежели пользу общественную. Самолюбивый, важный и тщеславный, он был вместе с тем ленив и нечестен. Его участие в сдаче Московско-Курской дороги, те вопиющие льготы, которые он успевал выхлопатывать для сахарозаводчиков, показывали, что он личной выгоде мог жертвовать и государственными и народными интересами. Но среди политических деятелей того времени он все-таки выгодно отличался и умом и более просвещенным взглядом на вещи, приобретенным в соприкосновении с выдающимися людьми. Он мог иногда, в минуту досады или даже в благородном порыве, пожертвовать иногда и личным положением для убеждений

известного рода, никогда, однако, не отрезая себе пути к новому осторожному восхождению на высшую ступень. При других условиях, в союзе с людьми, одаренными государственным смыслом, Абаза мог быть полезным деятелем в финансовой сфере: как правая рука Лорис-Меликова, он не в состоянии был сделать ничего дельного.

Первая мера, которою ознаменовалось его вступление в министерство, была отмена соляного налога. В это время мне случилось быть в Петербурге. За несколько дней до появления указа я обедал у Абазы. Идя с ним под-руку в столовую, я спросил: «Правда ли, Александр Аггеевич, что вы отменяете соляной налог?» Он несколько замешался. «Может быть», отвечал он. «Меня это очень порадует,—сказал я,—это будет значить, что у вас много денег». Несколько дней спустя появился указ, а через месяц обнародован был бюджет с пятьюдесятью миллионами дефицита. Такое легкомыслие превосходило все мои ожидания. В то же время я виделся с Тернером, который говорил мне, что он предлагал сбавку и упорядочение налога, при котором казна все-таки сохраняла 17 миллионов дохода; но об этом не хотели и слышать. Нужно было эффектною мерою приобрести популярность. Результат был тот, что казна потеряла значительный доход, народ не почувствовал никакого облегчения, а обогатились крупные солепромышленники, которые, вследствие безобразия принятых финансовым управлением мер, получили громадные барыши.

Если я не мог сочувствовать отмене солевого налога, то был другой акт нового министерства, которому я искренне порадовался. Это было падение Толстого. Как после выстрела Каракозова, первым делом Муравьева было низвержение Головнина, который по петербургским понятиям считался представителем либералов, * так теперь первым делом Лорис-Меликова было предание Толстого на жертву общественному негодованию. Трудно представить себе, сколько ненависти накопил против себя этот человек. Причина заключалась в бездушном управлении министерством народного просвещения, которое, в связи с реформою гимназий, тяжелым гнетом легло на все молодое поколение. Толстой, также как Лорис-Меликов, хотел ознаменовать свое министерство эффектным делом только не в видах популярности, а совершенно наоборот. Его союзники, редакторы «Московских ведомостей», настаивали на коренной классической реформе. В этом у них были свои личные цели. Они устроили классический лицей, для которого они выхлопотали неслыханные льготы и пособия, и который должен был служить центром

и рассадником всего русского просвещения. К удивлению, они успели убедить невинных петербургских государственных людей, не видавших в глаза ни одного классика, что классицизм составляет неисчерпаемый источник консервативного духа, и что в нем заключается все спасение России. О том, что греки и римляне были республиканцы, что почерпнутыми из классиков вольнолюбивыми идеями вдохновлялись деятели французской революции, наши сановники, повидимому, не имели понятия. Катков твердил, что помощью зубрения латинской и греческой грамматики он истребит в русском юношестве всякие вольные мысли, и Каткову верили на слово. Была, правда, оппозиция в самом Государственном совете, но она обреталась в меньшинстве. В то время, как там происходили горячие споры об этом вопросе, я, будучи в Петербурге, как-то зашел с визитом к князю Горчакову. «Вы классик»? спросил он меня с первых слов. «Да, я приверженец классического образования», отвечал я. «Ну, так мы с вами не сойдемся».— «А, может быть, и сойдемся. Именно потому, что я приверженец классического образования, я не могу не быть врагом такой реформы, которая не может иметь иного последствия, как возбудить в русском обществе ненависть к классицизму».

Так и вышло; плоды у нас на-лицо. Дело в том, что для классической реформы, как для всякого дела, касающегося народного образования, требуется подготовка. Просвещение не дается скачками: оно движется медленным путем, тут нужно осторожное и бдительное руководство. Для классического преподавания необходимы, прежде всего, учителя, а их-то и не было. Но написать устав и назначить в нем какое угодно число часов на известный предмет ничего не стоит, а приготовить хороших учителей дело трудное, требующее многолетнего, заботливого внимания. Недостаточно выписать из-за границы целую ватагу чехов, не знающих русского языка и незнакомых со свойствами, уровнем и направлением русского юношества, как сделал граф Толстой. Подобные меры ведут только к бесчисленным столкновениям и разладу между учащими и учащимися. В сущности в то время коренная классическая реформа вовсе даже не была нужна. Устав гимназий, изданный при Головнине, в этом отношении давал совершенно достаточное удовлетворение всем разумным требованиям. Обнаружившиеся на практике недостатки этого устава можно было исправить частными мерами; для этого не нужно было коренной ломки. Сам граф Толстой, в частных разговорах, которые впоследствии сделались известными в печати, сознавался, что его союзники, или па-

троны, идут слишком далеко. Но они упорно добивались своей цели, и он уступил. Русское юношество еще раз было отдано им на жертву. Реформа была проведена в самых широких размерах и введена в действие чисто бюрократическим путем. С зубрением латинской и греческой грамматик в гимназиях водворился самый бездушный формализм. Тупоумный Георгиевский, правая рука графа Толстого в этом деле, с услаждением говорил, что в данную минуту во всех русских гимназиях ученики пишут сочинения на одну и ту же тему. Бабст, который сам некогда был учителем гимназии, с изумлением и горестно говорил мне о тех чисто формальных отношениях, которые установились между учащими и учащимися, и это подтверждалось со всех сторон. В результате получилось, можно сказать, отупение русского юношества. Все внимание сосредоточивалось на бесплодном зубрении грамматических форм, которое не только не сообщало молодым умам живого духа классических писателей, но не давало даже порядочного знания языка. Профессор классической литературы в Московском университете, Ф. Е. Корш, который в этом деле мог быть лучшим судьею, удивлялся, как, с удвоенным числом часов, вступающие в университет студенты хуже знают по-латыни, нежели прежде с вдвое меньшим. Он с негодованием говорил о введенной графом Толстым классической реформе, считая ее гибельной для юношества, и подавал даже об этом записку. А рядом с этим одуревающим налеганием на грамматику, самые важные предметы гимназического преподавания: история, русский язык и русская литература, оставались в полном пренебрежении. Молодое поколение разучилось даже писать. Не мудрено, что отцы и матери, и без того слишком склонные хныкать над детьми, подняли вопль. Имя графа Толстого сделалось ненавистным во всей России, и весть о его падении была приветствована общим ликованием. Рассказывали, что люди, встречаясь на улице, поздравляли друг друга.

Занимаемые им должности были вновь разделены. Обер-прокурором святейшего синода назначен был Победоносцев, министром народного просвещения Сабуров.

Обоих я знал хорошо. С Победоносцевым я сблизился по возвращении из-за границы, когда я вступил на кафедру. Он был тогда обер-секретарем Сената и читал лекции гражданского права в Московском университете. В это время это был прелестный человек. Тихий, скромный, глубоко благочестивый, всею душою преданный церкви, но еще без фанатизма, с разносторонне образованным и тонким умом, с горячим и любящим

сердцем, он на всем существе своем носил печать удивительной задушевности, которая невольно к нему привлекала. Сын довольно плохого профессора русской словесности в Московском университете, происходящего из духовного звания, он сам воспитывался в училище правоведения. Получаемое там скудное образование он восполнил собственною работою и сделался не только дельным, но и ученым юристом по гражданскому праву. Другие отрасли правоведения были ему мало знакомы. Государственного права он никогда не изучал, политического смысла не имел никакого, не ведал ни общественных собраний, ни общественной жизни и не годился не только в государственные люди, но и в администраторы. Это был чисто кабинетный человек, который весь день сидел за своими книгами и бумагами, работая усердно и ведя самую скромную жизнь в своем небольшом деревянном домике в Хлебном переулке. Благо было бы и ему и России, если бы он оттуда никогда не выезжал! Но судьба распорядилась иначе: из средневекового монаха она сделала петербургского чиновника и тем его погубила. Сначала он назначен был сенатором, потом членом Государственного совета, наконец обер-прокурором св. синода. Перед переселением в Петербург он женился. Я был у него шафером. Жену свою, * которая была гораздо его моложе, он знал с детства. Она была племянница его товарища по правоведению; еще будучи в школе, он езжал на лето в деревню к ее родителям, заинтересовался девочкой, давал ей уроки, можно сказать, воспитал ее для себя. Скромная, хорошенькая с прекрасными сердечными свойствами, она дала ему семейное счастье; но желание доставить удовольствие молодой женщине вовлекло его в светские сферы, которые были ему чужды и совсем ему не приходились, а служба, с своей стороны, втянула его в бюрократическую среду, в которой он совершенно погряз.

Сначала петербургская жизнь его тяготила. В 1868 году он писал мне: «Здешняя жизнь мне не по душе — все так измельчало на здешнем большом рынке и мельчает все больше и больше, не по дням, а по часам. Когда бы у меня был такой угол, как есть у вас, любезнейший Борис Николаевич, охотно мы с женою оставили бы здесь все и уехали бы жить в деревню. Оттого, когда думаю о вас, как о деревенском жителе, невольно вам завидую. Вы на высоте, о которой мы здесь из болота, и мечтать не смеем». Позднее, в 1874 году, он опять писал: «Поистине благую часть избрали вы, ту самую, которую судьба возле вас поставила, т. е. поселились в деревне,

где у вас не только покой, свобода и природа, но и общество людей близких и сочувственных. Вы там живете с мудростью, хотя и не змеиною, меняя кожу с каждой весной, а мы здесь разрушаемся в ветхой коже, и без всякой мудрости подвергаемся опасности превратиться в пресмыкающихся».

Но эти вопли сердца, просящегося на свободу, мало-по-малу заглохли. При полном недостатке характера, он поддался тлетворному влиянию окружающей среды. Болото его затянуло и затопило выше ушей; грязь залепила ему глаза, так что он потерял даже способность различать добро и зло. Положение пресмыкающегося начало ему казаться естественным состоянием человека, а хождение на своих ногах непозволительным своеволием. Видя вокруг себя постоянные низости, он сделался к ним снисходительным и стал даже осуждать разделение людей на черных и белых. Все казались ему одинаково окрашенными в тот темно-серенький цвет, который господствует в петербургской нравственной атмосфере. Этому отчасти способствовали и семейные обстоятельства. Его тесть Энгельгардт, которому он доставил выгодное место в Таганрогской таможне, крупно проворовался. Нужны были неимоверные ухищрения и хлопоты, чтобы выгородить его из дела, за которое другие пошли в Сибирь. * Рассказывают, как достоверный факт, что нынешний государь, узнав из доставленного ему дневника умершего морского министра Шестакова, как Победоносцев его в этом деле обманывал, потерял к нему доверие. Строго винить за это нельзя: нужно слишком много твердости, чтобы не покривить душой, когда отцу жены приходится итти на каторжную работу. Мягкий Победоносцев всего менее был рожден спартанцем. Но это приучило его скрытничать, лукавить, интриговать. В сущности, это был единственный способ действия, который мог упрочить ему успех в петербургской среде, и он, при отсутствии характера, стал все более на него падок. Чем выше он восходил, тем глубже эти растлевающие начала всасывались в его плоть и кровь. Искреннее благочестие превратилось в узкий фанатизм; он стал гонителем всего иноверного. Новое царствование, в котором он на первых порах получил преобладающее влияние, сделавшись главным советником царя, в этом отношении развязало ему руки. Всюду обнаружилось его тлетворное действие, то в притеснительных мерах, то в лживых советах. Он провел в министры народного просвещения Делянова и свел государя с графом Толстым, хотя хорошо знал свойства этих людей. В вопросе о новом университетском уставе он явился предателем. Вполне

понимая все безумие этой меры, он сначала сам против нее ратовал, но затем поддался хныканью Делянова и настояниям Каткова: рассчитавши, что в конце концов ему все-таки выгоднее оставаться в союзе с теми, которые проводили эту меру, он посоветовал государю, после того как предложенный министерством устав был отвергнут большинством Государственного совета, вновь обсудить это дело в маленьком совещании лиц, подобранных из меньшинства, где единственным будто бы защитником противоположного мнения являлся сам потерявший совесть обер-прокурор. Таким извилистым путем, опять и опять русское юношество и судьба высшего просвещения в России были отданы на жертву чисто личным интересам. В характеристическом для современных наших государственных людей деле молодого Дервиза, которого рекомендованный Победоносцевым министр юстиции Манассеин, предлагал взять в опеку, деле, которое, по приказанию государя, разбиралось в Комитете министров, Победоносцев вместе с остальными подписал согласие, не считая даже нужным потребовать объяснения от обвиняемого и дать ему возможность сказать слово в свое оправдание. И когда вся гнусность этого приговора всплыла наружу, и оказалось, что не было ни малейшего повода лишать ни в чем неповинного человека гражданских прав, он, говорят, со слезами извинился перед государем, говоря, что был введен в заблуждение; как будто порядочный человек и вдобавок юрист мог заблуждаться насчет самых элементарных требований правосудия. * Наконец, даже в частных делах он стал проявлять такое полное отсутствие не только всякого чувства деликатности, но и простой честности, что прежние его друзья не могли не придти в изумление в происшедшей в нем перемене. Я мог это видеть на любопытном случае. Летом 1891 года появилось в газетах объявление о выходе учебника по истории церкви, изданного под редакциею Победоносцева. Я удивился, как это обер-прокурор св. синода среди всех своих дел находит еще досуг для издания учебников для народных школ. Приехав в Москву, я стал расспрашивать о нем Александру Николаевну Бахметьеву, которая тоже написала книгу по этой части. «Представьте», отвечала она, — я тотчас послала купить его учебник, как только прочла о нем в газетах, и что же я вижу? Это не что иное, как извлечение из моей собственной книги. Едва есть страниц двадцать чужих, а то все взято целиком, иногда с перестановкою некоторых фраз, даже совершенно бессмысленною». Приятели Александры Николаевны приезжали к ней

даже с сетованием, что ее обокрали. Все думали сначала, что Победоносцев дал себя обмануть какому-нибудь чиновнику, которому он поручил работу. Но оказалось, что учебник составляла его собственная жена, под личным его руководством. И когда об этом пошли толки, которые дошли и до Победоносцева, он написал обобранному им автору такое иезуитское письмо, которое обличало всю сознательность его поступка и то странное состояние души, в которое поверг его одуряющий чад петербургской чиновничьей атмосферы. Спекуляция была выгодная, и обер-прокурор хорошо знал, что его не захотят и не посмеют притянуть к ответу. В письме к А. Н. Бахметевой он даже прямо говорил, что едва ли издатель ее книги может за это извлечение призвать его к суду.

Так низко пал этот человек, некогда столь чистый и полный самых возвышенных стремлений. Я не могу думать о нем без глубокой грусти. Что такое после этого человеческая душа и как мало она способна противостоять растлевающему действию почестей и власти! Глядя на него я еще большим почтением проникаюсь к тем немногим, которые, как Дмитрий Алексеевич Милютин, сумели устоять против всех соблазнов высокого положения, и в развращающей среде сохранили неприкосновенною всю свою нравственную чистоту. Долго я все еще верил в искренность Победоносцева и обращался к нему, как к старому приятелю, которого сердце, так же как и мое, билось на благо отечества. Но наконец я убедился, что кажущаяся его искренность не более, как нажитой внешний прием, который удержался при совершенно изменившейся подкладке. Когда он после 1-го марта стал проводить Делянова в министры народного просвещения, я пришел в ужас и негодование: «Помилуйте, Константин Петрович, — воскликнул я, да ведь это отребье человеческого рода, а вы хотите, при нынешних обстоятельствах, сделать его руководителем взволнованного юношества и поставить его во главе русского просвещения!» На это он стал объяснять мне, что Делянов удобен для проведения разных мер, тогда как с бароном Николаи не всегда сладишь, прибавляя, что, отзываясь таким образом о Делянове, я ничего не возьму. Но я ровно ничего не хотел взять, а только возмущен был до глубины души от такого отношения к важнейшим интересам отечества. Ниже я приведу отрывки из нашей переписки и расскажу, как я наконец высказал ему все на-чисто. Наши внешние отношения остались приличными, но я потерял к нему всякое уважение.

Я искренно любил Победоносцева, скромного труженика;

Победоносцев — обер-прокурор св. синода, в моих глазах, достоин только презрения. Это тоже одна из тех дружб, с которою пришлось с грустью расстаться.*)

Совершенно иной человек был Сабуров. Я знал его с детства. Наши семьи были дружны. Отличных душевных свойств, честный, прямой, но недалекий, он вовсе не был подготовлен к тому положению, на которое он был призван. Воспитанный в Царскосельском лицее, где образование получалось более, чем посредственное, он служил сначала по министерству юстиции, где в качестве председателя петербургского окружного суда приобрел весьма хорошую репутацию. К сожалению жена его, * дочь известного писателя графа Соллогуба, женщина довольно суетная, но в которой он души не чаял, тянула его вверх. Сперва он поступил директором департамента министерства юстиции, а затем перешел в министерство народного просвещения и сделался попечителем Дерптского учебного округа. Там она любезничала со всеми профессорами, а он, с своей стороны, старался всеми мерами приобрести популярность между немцами, которые были от него в восторге и превозносили его до небес. Когда Толстой был уволен, государь спросил его: кого из попечителей он может рекомендовать на свое место? Тот указал на Сабурова, который и был назначен. Это показывает, как мало у него было способных людей. В сущности эти два лица представляли между собою полный контраст: один был темный негодяй, другой вполне честный человек; один был ярый крепостник, другой был легенький либерал. Непонятно даже, с точки зрения нормальных человеческих отношений, каким образом Сабуров мог служить при Толстом, и как Толстой мог рекомендовать Сабурова. Но в чиновничьей сфере все как-то сглаживается и слаживается.

Сабуров искал, однако, пособников. Он понимал, что с персоналом графа Толстого оставаться нельзя. Весною 80-го года брат Владимир поехал в Петербург по земским делам. Он встретил Сабурова, который сказал ему, что он очень желал бы меня видеть и хочет предложить мне место попечителя. Мы вошли в сношения; свидание было назначено в Москве, во время открытия памятника Пушкину. Я поехал ко дню торжества, но по случаю смерти императрицы оно было отложено. Дожидаться я не захотел. Мне нужно было ехать в Малороссию, и я написал Сабурову, что если ему необходимо видеть меня именно теперь, то я, по возвращении, проеду в Петербург; но лично я предпочел бы иметь перед собой

свободных шесть месяцев, так как у меня в ходу ученая работа, которую я желал бы привести к концу. Я в это время писал сочинение: «Собственность и государство». Нигилистическое движение убедило меня в необходимости выяснить эти вопросы в форме, более или менее доступной для читающей публики. К концу осени у меня готов был первый том. *

Между тем, Сабуров принялся за свое путешествие по России, которое произвело на меня самое странное впечатление. Легкомысленные речи при отсутствии всякой серьезной мысли, какое-то развязное заигрывание и либеральничание были вовсе не к лицу человеку, поставленному во главе русского просвещения. Такое же впечатление он производил и на других благоразумных людей. Баронесса Раден писала мне из Костромы, где она проводила лето у своей сестры: «Трудно было бы представить себе фиаско более полное, чем то, которое постигло Сабурова: он осуществляет собой в полной мере где-то вычитанные мною у Цицерона слова: воображение без таланта и власть без здравого смысла — это злейшие из бичей. Быть может этот бледный призрак министра был менее несчастлив в другом месте. — Здесь он оставил отвратительное впечатление. Его глупое шествие по России в сопровождении господина Висковатова в роли «Пятницы» показалось верхом неприличия. Он шокировал благоразумных людей, привел в уныние немногие серьезные умы этого уединенного уголка и вызвал шуточки со стороны вредных посредственностей, которым он льстил. Куда же девал он свою простоту и что сталось с умеренностью нашего доброго Сабурова, который порой был так глуп, но так преисполнен прекрасных и серьезных чувств? Вообще вокруг нас происходят странные события». *

В ноябре, когда я уже собирался в Москву, я получил от него телеграмму с просьбою приехать в Петербург. Я тотчас отправился. С первых же слов он предложил мне должность попечителя, по моему выбору, в Москве или в Петербурге, ибо и здесь и там были вакансии. Я отвечал, что во всех отношениях предпочитаю Москву. «Очень — рад, сказал он, — ну, теперь нам надо условиться на счет программы». Он вынул бумагу и начал читать мне целый ряд пунктов о предполагаемом им корпоративном устройстве студентов. Им разрешались сходки, кассы, читальни, столовые, все под управлением собственных выборных. «Бога ради, Андрей Александрович, — воскликнул я, — что вы затеваете? Да вы хотите разом зажечь избу на всех четырех углах!» Он совсем опешил. Я начал ему доказывать, что по дерптским студентам нельзя судить о рус-

ских; что я все это видел вблизи и знаю, что такое сборища и увлечения молодых людей; что настоящее смутное время менее всего благоприятно для узаконения студенческих сходок и для водворения всяких студенческих прав. Он отделывался пошлыми либеральными фразами. Мы протолковали несколько часов; он оставил меня обедать, и после обеда мы опять толковали. Наконец, я ему сказал: «Знаете, Андрей Александрович, я думаю, что мы с вами не сойдемся и что лучше от этого отказаться. Принять попечительство при таких условиях, помогать вам в таком деле, которое я считаю в высшей степени вредным, я по совести не могу. Но как человек близкий вашему семейству и всю жизнь свою посвятивший русскому просвещению, я умоляю вас быть осторожным. Вы в несколько месяцев наделаете таких дел, что их после не расхлебаешь и в десять лет». — «Нет, погодите, — отвечал он, — приезжайте завтра утром. Я подумаю, а вы подумайте с своей стороны». На следующее утро, когда я приехал, он сухо сказал мне, что не может отказаться от своей программы, а я изъявил сожаление, что не могу быть ему пособником. Потом я узнал, что в это самое утро, еще до моего приезда, в Москву была послана телеграмма моему шурину Капнисту, который в это время был прокурором Судебной палаты, с предложением принять место попечителя Московского учебного округа. Повидимому, программа Сабурова была уже пущена в ход, так что ему трудно было от нее отступиться. Едва ли даже, в бытность его в Ливадии, во время путешествия по России, она не была показана государю. Мне рассказывали, будто, возвращаясь оттуда в одном поезде с наследником и цесаревной, он так их растрогал своими планами на пользу русского юношества, что те плакали.

Мне оставалось уехать обратно в Москву; но Победоносцев сообщил мне, что он встретил цесаревну, которая сказала ему, что наследник очень желает меня видеть, и чтобы я непременно приехал. После смерти покойного его брата я сперва считал долгом представляться ему всякий раз, как бывал в Петербурге; но потом, видя, что свидания ограничиваются несколькими пустыми фразами, которые были в тягость обоим собеседникам, я перестал являться, полагая, что если я на что-нибудь могу быть нужен, то за мною пришлют. На этот раз он сам хотел меня видеть по вопросу, которым он интересовался, и я надеялся услышать наконец хоть какое-нибудь путное слово. После получасовой аудиенции я вернулся в полном отчаянии: ни одной живой мысли, ни одного дельного вопроса я не слыхал. Все ограничилось возгласами: «Ах, это

очень жалко!» С тем меня и отпустили. Боже мой, что же готовит нам будущее? думал я с ужасом.

Вопрос был, однако же, так важен, стремление взволновать всю русскую университетскую молодежь и внушить ей всякие несбыточные мечты о своих правах было так опасно, что я счел обязанностью изложить свое мнение письменно. Я составил небольшую записку, один экземпляр которой я переслал через Победоносцева наследнику, а другой передал Абазе. Графа Строганова в это время не было в Петербурге. Абаза уговаривал меня остаться еще один день, другой. Ждали возвращения государя из Крыма; с ним ехал и Лорис-Меликов. Но я не хотел дожидаться, не желая подавать повод думать, что я интригую против Сабурова. Вернувшись в Москву, я послал ему также экземпляр своей записки для сведения. Вот ее содержание:

«Студенческий вопрос в настоящее время снова выдвинулся на первый план. Обнадеженные переменою министерства, студенты всюду собираются подавать прошения о своих нуждах и требуют себе прав. Эти заявления поддерживаются университетскими советами; правительство готово им уступить.

Требования состоят в том, чтобы студенты получили корпоративные права; они желают иметь своих выборных, свои собрания для обсуждения общих дел, свои кассы, столовые и читальни, которыми бы они заведывали сами.

Защитники этой программы утверждают, что все это уже существует на деле, и что гораздо лучше, чтобы все это делалось явно и законно, нежели тайно и беззаконно. Они надеются, что правильною организациею парализуются вредные элементы, которые ныне, при неустроенном состоянии, получают верх над другими. Они видят спасение в том, чтобы соединять студентов, а не в том, чтобы разъединять их.

Напрасные надежды. Такого рода меры не уменьшат, а лишь усилят зло. Это — игра с огнем, которая может способствовать не тушению пламени, а тому, чтобы оно разгорелось в пожар.

Самое возбуждение этого вопроса чисто искусственное. Оно коренится, с одной стороны, в смутном состоянии молодежи, с другой стороны — в шаткости ее руководителей. В действительности, у студентов нет таких общих нужд, которые требовали бы совокупных совещаний и общих учреждений. Настоящая задача студентов состоит в том, чтобы учиться. Все, что отвлекает их от этой цели, есть зло; все, что производит агитацию и ставит учащихся в ненормальное положение, есть еще большее зло. А к этому именно клонятся выборные

учреждения. Таких учреждений нет ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии; тем менее они уместны в России, при слабости нашего образования, при отсутствии всяких преданий и при полной неустойчивости руководителей. В Германии студенческие корпорации существуют веками; но это не более как частные товарищества для общего кутежа, для дуэлей и прогулок с собаками. Работающие студенты в них не участвуют или уходят из них, как скоро принимаются за дело. Студенты в общем составе принадлежат к университетской корпорации; но они состоят в ней подчиненными, а не самостоятельными членами. Они смолоду приучаются к разумной дисциплине, и это составляет лучшую школу для будущей самодеятельности.

У нас студенческая жизнь имеет свои особенности. В наши университеты стекается масса молодых людей, лишенных всяких жизненных средств, не имеющих никакой опоры в семье и получивших самое скудное и поверхностное образование. Но именно подобная масса нуждается не в правах, а в разумном руководстве. К сожалению, именно этого она не находит, вследствие чего в ней бродят всякие смутные мысли и стремления.

Напрасно мечтают о том, что с правильною организациею выборов выдвинутся вперед лучшие элементы, а беспокойные и вредные будут затерты. Лучшие студенты те, которые работают у себя дома и не занимаются общественными делами. На студенческих же, так же как и на мирских сходках, владычествуют горланы, которые, специально занимаясь агитацией, всегда будут стоять во главе других. И теперь они играют роль запевал; но будучи признаны правительством, они явятся уже представителями корпорации, облеченные правами, как законом упроченная сила. И теперь существуют сходки, неизбежные, как скоро есть вопрос, волнующий толпу молодых людей; но теперь это — явление случайное и редкое. Университетское начальство смотрит на них сквозь пальцы, когда они имеют невинный характер и всегда может их воспретить, как скоро они принимают более бурное направление. Когда же сходки обратятся в право, они сделаются явлением постоянным и нормальным; запрещение их будет казаться действием произвола. Подобная мера не что иное, как узаконение агитации, парламент несовершеннолетних, учрежденный в стране, где не существует парламентской жизни и в среде взрослых.

Напрасно мечтают и о том, чтобы сходки ограничивались тем или другим курсом. Нет возможности помешать студентам

других курсов и даже факультетов войти в общую аудиторию. Всякое живое прение привлекает массы, а живыми прениями будут именно те, в которых будут высказываться самые крайние мнения. Кто знает молодые умы и их увлечения, тот не может в этом сомневаться.

Товарищество между студентами, о восстановлении которого хлопочут, бесспорно хорошая вещь, но товарищество во имя общих умственных интересов, а не во имя искусственно организованной агитации. Истинное товарищество есть дело свободы; оно устанавливается нравами и всего более процветает там, где умы находятся в спокойном состоянии. Оно существовало в университетах в то время, когда ни об каких выборных правах и учреждениях не было речи, и восстановится только тогда, когда умы придут в нормальный порядок.

Для того, чтобы привести их в это положение, необходимо прежде всего разумное руководство. Всякий, кто имел дело с молодежью, не может сомневаться в том, что единственное средство получить над нею нравственный авторитет, состоит в твердости, соединенной с любовью. Не потачка страстям молодых людей, не пошлое искание популярности, не робкие уступки искусственному возбуждению, прикрывающему себя именем современного духа, а ясное сознание целей и значения студенчества, может ввести в надлежащую колею наши высшие учебные заведения. Молодые силы, привлекающиеся к университетам, надобно направлять не к бесплодной агитации, не к легкомысленной игре в студенческий парламентаризм, а к серьезной умственной работе, в которой всего более нуждается Россия, и которая ныне почти совершенно исчезла. Отсюда то страшное умственное оскудение, которое замечается всюду, и которое составляет главную язву нашего отечества.

Скажут, что уже все другие меры испробованы и что остается испробовать ту систему, о которой идет речь. Но разве позволительно производить опыты над душою молодых поколений, которые мы должны беречь, как зеницу ока, ибо они составляют всю надежду России? А если опыт не удастся? Если вместо того, чтобы направить юношество на разумный путь, оно будет направлено к погибели? Если, возбудивши несбыточные надежды и даровавши ни с чем несообразные права, придется потом принимать самые крутые меры, пожалуй даже закрывать университеты, чтобы организовать их на новую ногу? Какая неисцелимая рана нанесется и зреющим силам и всему русскому просвещению, и какую страшную ответственность берут на себя те, которые наталкивают правительство на подобный путь!

После того тяжелого гнета, который много лет господствовал в министерстве народного просвещения, несомненно нужна свобода; но есть свобода, которая ведет к мирному развитию, и есть свобода, которая приводит лишь к новой и более суровой реакции. Именно эту последнюю хотят водворить защитники разбираемых мер, с добрыми намерениями, без сомнения, но не ведая, что творят. Чтобы направить корабль в неведомое море, где на каждом шагу встречаются подводные камни, нужна искусная и опытная рука; но где тот искушенный мореплаватель, который стоит у кормила? А если кормчий, незнакомый с своим делом, возьмется вести корабль среди мелей и камней, без карт и компаса, то не будет ли это верхом легкомыслия? И если направленный неопытною рукою корабль разобьется и драгоценный груз погибнет, то на ком будет лежать вина?

И точно ли испробованы уже все другие меры? Что мы видели до сих пор в народном просвещении, в этой важнейшей и наиболее чувствительной отрасли общественной жизни? Постоянные переходы из одной крайности в другую, от слепой суровости к робкому слабодушию и обратно. Как будто нарочно обходится именно та разумная середина, которая составляет единственный истинный путь. И когда среди общего хаоса случайно образуется ядро, около которого могли бы собраться разумные силы, то со всех сторон на него сыплются удары, от которых оно разлетается в прах. Быть выданным сверху и оплеванным снизу — вот судьба, которая слишком часто постигает у нас всякую твердую мысль и всякое разумное слово.

Но разумная середина — не значит система сделок или колебание между противоположными взглядами. Для действия на молодые умы нет ничего хуже колебаний, сделок и полумер. Нравственный авторитет над ними может получить только тот, кто ясно сознает, чего он хочет, и твердо идет своею дорогою, не уклоняясь ни на шаг. Надобно прежде всего приобрести уважение молодых сердец, всегда чутких к нравственным качествам, а робостью и полумерами уважения никогда не приобретешь. Твердость в началах и мягкость в исполнении — такова должна быть программа руководителей молодежи. Полумеры же в некотором отношении даже хуже крайностей, ибо они ставят людей в ложное положение и вселяют смуту и недоверие в умах.

Истинная задача народного просвещения в России состоит не в том, чтобы производить новые опыты или входить в сделки с современным легкомыслием и с возбужденными страстями, а в том, чтобы после всех бесконечных колебаний, которым оно подверглось в течение многих лет, после перемежающихся

периодов гнета и распущенности, притти наконец к твердому пути и направить молодые силы на серьезную умственную работу, необходимую для отечества. На это нужно время, терпение и труд, нужна тщательная подготовка персонала, на котором лежит все здание народного просвещения. А для того, чтобы совершить такое дело, необходима прежде всего сознательная и постоянная поддержка сверху, без которой руководитель на этом поприще не может сделать ни единого полезного шага».

Написавши эту записку, * я немедленно вернулся в Москву. Там, на моей квартире, ожидали уже Щербатов и Капнист. Я рассказал им все свои разговоры с Сабуровым. Щербатов был очень огорчен этим исходом дела. Ему казалось, что можно было найти какой-нибудь компромисс. Капнист, с своей стороны, только и ждал моего возвращения, чтобы принять место, от которого я отказался. Для него это была находка. Пользовавшись полным доверием графа Палена, он с новым министром юстиции, Набоковым, был в таких натянутых отношениях, что оставаться долее в министерстве становилось для него невозможным. Между тем, служба была ему необходима. Легкомысленно растратив свое состояние и имея семью, он жил одним жалованьем. Предложение Сабурова падало ему, как дар с неба. Убеждения не служили препятствием, ибо их в этом отношении вовсе не было. Капнист служил и при либеральном Сабурове, и при умеренном бароне Николаи, и при лакее Каткова Делянове. Со всеми он умел ладить, являясь ловким и дельным исполнителем; а с другой стороны, он, особенно на первых порах, располагал к себе подчиненных своею обходительностью. Руководителем в деле народного просвещения он, конечно, быть не мог, но при данных условиях и при полном отсутствии у нас образованных людей, едва ли можно было найти лучшего попечителя.

Вскоре подъехал Дмитриев, которого Сабуров тоже вызывал для переговоров. Ему министр хотел предложить Петербургский округ. При проезде его через Москву Щербатов уговорил нас собраться втроем, чтобы обсудить этот вопрос. Признаюсь, на этот раз мой старый друг несколько меня раздосадовал, упорно настаивая на компромиссе. В практических делах компромиссы часто бывают необходимы, но не тогда, когда дело идет о самом направлении и духе, в котором надобно действовать. Менее всего они уместны в отношениях к молодым людям, которые требуют прежде всего ясной мысли и твердой воли. Каково было бы положение попечителя, который, стоя посредине

между требованиями молодежи и ищущим популярности министерством, должен был бы служить тормозом для обоих? Мне даже непонятно было, как Щербатов, с своим практическим смыслом, мог остановиться на подобной мысли. Между тем Дмитриев жадно за нее хватался. Ему надоела мелочная деятельность в провинциальной среде, да и здоровье не позволяло ему во все время года разъезжать по уезду. Он стремился занять видное положение в Петербурге, а потому предложение Сабурова приходилось ему как нельзя более кстати. На этот раз, однако, дело не сладилось. После разговора со мною Сабуров понял, что он в Дмитриеве найдет скорее тайного врага, нежели ревностного пособника. Он сделал ему предложение нехотя и при таких условиях, что Дмитриев не мог принять. Попечителем он сделался уже при бароне Николаи. К счастью для университетов, программа Сабурова никогда не была приведена в исполнение, но последствия легкомысленной болтовни министра не замедлили обнаружиться. Едва я вернулся в Москву, как уже начались студенческие волнения. Целую массу студентов окружили войском и отвели в острог. Но этим дело не кончилось. Молодежь, возбужденная либеральными речами министра и данными им обещаниями, предъявляла требования, подавала адресы. После 1 марта волнение усилилось; сходка следовала за сходкою. Наконец, произошло новое побоище на Страстном бульваре, перед квартирою Каткова, где студенты хотели устроить враждебную ему демонстрацию. В Петербурге дела шли еще хуже. Студенты, не видя исполнения данных им обещаний, озлобились на министра, который как будто их обманывал. На университетском акте, 6 февраля, он получил даже от студента тумака. Он перенес это с невозмутимым хладнокровием; но положение его становилось все более и более шатким. Самые его патроны, Лорис-Меликов и Абаза, от него отступились, видя, что он их компрометирует. По поводу студенческого вопроса устроено было министерское совещание, на котором Сабуров оказался крайне слабым. Его программа была отвергнута, а его самого решено было спустить при первом удобном случае. Этому значительно способствовал Дмитриев, который старался разъяснить Абазе истинную сущность дела. Однако окончательное падение последовало уже в новое царствование. Победоносцев, который на первых порах пользовался полным доверием нового государя, постоянно и настойчиво твердил ему, что Сабурова нельзя оставить министром народного просвещения. Наконец он был уволен; на место его был назначен барон Николаи, чистый чиновник, узкий

и формалист, но умеренный, не глупый и честный. Дмитриев сделался попечителем Петербургского учебного округа.

Между тем как Сабуров волновал студентов своими либеральными речами и перспективою новых прав, Лорис-Меликов и Абаза, с своей стороны, принялись за реформы всякого рода. Прежде всего необходимо было ввести в границы тот необузданный произвол, который господствовал при административных ссылках. Для разбора этих дел была учреждена комиссия, в которую вошел и Победоносцев. Он рассказывал мне, что они приходили в ужас от тех вопиющих беззаконий, которые тут раскрылись. Относительно многих молодых людей, сосланных в отдаленные губернии или в Сибирь, не могли даже добиться сведений, за что они были подвергнуты такому жестокому наказанию. В большинстве других случаев поводы были самые ничтожные и подозрение вовсе не доказанное. Жандармское управление, которое было тут главным деятелем, повидимому, поступало совершенно наобум. Многие невинные были возвращены, что, без сомнения, должно быть отмечено, как большая заслуга Лорис-Меликова. Но этим новые правители не ограничились; они хотели перестроить и самые учреждения. Для собирания сведений о состоянии дел на местах в губернии были посланы ревизующие сенаторы. Земствам был разослан целый ряд вопросов, которыми не только предполагалось преобразование недавно созданных уездных присутствий, но косвенно открывалась возможность расширения прав самых земских учреждений. Приготовлялся проект коренного изменения Положения 19 февраля в смысле соразмерения выкупных платежей с доходностью земли. Наконец, государю представлен был на утверждение проект созвания выборных для обсуждения целого ряда мероприятий. Этот проект, рассмотренный Комитетом под председательством наследника, получил уже его одобрение; недоставало только подписи, как вдруг катастрофа 1 марта положила всему конец.

Я был в это время в Москве. Вечер 1 марта мы провели вдвоем с женою, не зная ужасной вести, которая уже разнеслась по городу. Утром я встал и пошел одеваться в свою уборную. Вдруг слышу в корридоре громкое рыдание моего камердинера, который влетел ко мне в комнату и с воплем воскликнул: «Государя убили злодеи!» Я был совершенно ошеломлен. Не верилось в такое страшное дело. Утренние газеты принесли ужасающие подробности зверского злодеяния: как этот благодушный монарх, истерзанный, истекающий кровью, на маленьких санках привезен был в Зимний дворец и там кончил

свою многотрудную и плодотворную для отечества жизнь. Одно из величайших царствований в русской истории завершилось неслыханною в наших летописях кровавою драмою.

История произнесет над Александром II правдивый приговор, не утаивая его слабостей, но справедливо ценя его высокие качества. Не одаренный от природы ни сильным умом, ни крепкою волею, не получив даже воспитания, способного дать ему руководящие нити среди тех шатких условий, в которые он был поставлен, он призван был исполнить одну из труднейших задач, какие могут представиться самодержавному правителю: обновить до самых оснований вверенное его управлению громадное государство, упразднить веками сложившийся порядок, утвержденный на рабстве, и заменить его гражданственностью и свободою, учредить суд в стране, которая от века не знала, что такое правосудие, переустроить всю администрацию, водворить свободу печати при безграничной власти, везде вызвать к жизни новые силы и скрепить их законным порядком, поставить на свои ноги сдавленное и приниженное общество и дать ему возможность двигаться на просторе. История едва ли представляет другой пример подобного переворота. И он совершил свыше возложенное на него добросовестно и разумно, по мере своих способностей и средств. Недостаток ума заменялся у него устойчивым здравым смыслом, который дозволял ему, при долгом и внимательном изучении дела, остановиться, наконец, на среднем, благоразумном решении; слабость воли заменялась постоянством, с каким он держался раз принятого пути, не давая увлекать себя далеко в сторону. Александр II никогда не отдал на жертву реакции созданных им учреждений; он хранил их, как любимое детище, хотя при возникших в России смутах, он допускал частные искажения. Главный его недостаток состоял в плохом знании людей и в неумении ими пользоваться. Добрый по природе, он был мягок в личных отношениях; но не доверяя себе, он не доверял и другим; он скрытничал лукавил, старался уравновешивать различные направления, держа между ними весы, но делал это так, что каждое парализовалось в своих действиях и не чувствовало под собою твердой почвы. Самодержавие приучило его смотреть на людей, как на простые орудия, призванные исполнять данные им приказания. Отсюда, например, чудовищное назначение заклятого врага освобождения крестьян, графа Панина, председателем Редакционных комиссий. О том, что у порядочного человека есть собственные убеждения и собственная воля, и что только следуя им, он может действовать с успехом, он вовсе и не помышлял. Безграничная власть

и предания отца заставляли его смотреть на независимость мысли и характера, как на беспокойное и вредное начало, которого следует остерегаться. Он охотнее видел вокруг себя людей податливых и удобных, то-есть пошлых. Можно сказать, что из всех окружавших его лиц один только человек с высшим умственным и нравственным значением, Дмитрий Алексеевич Милютин, может быть, вследствие своей специальности, а может быть, вследствие своей осторожности, до конца сохранил его расположение. Других он устранял весьма легко, как скоро они не были ему необходимо нужны. Он устранял даже и таких людей, которые не претендовали ни на какую независимость суждений и воли, но которые слишком выдвигались вперед. Удаление Шувалова служит тому примером. Самодержавная власть и в этом отношении делала его весьма щекотливым.

Не поддаваясь влиянию мужчин, Александр II имел необыкновенную слабость к женщинам. Близкие ему люди, искренно его любившие, говорили, что в присутствии женщины он делался совершенно другим человеком. Его страсть была разъезжать по институтам, где воспитанницы его обступали, и он всем расточал любезности. В Смольном он обрел и свою последнюю фаворитку, княжну Долгорукую, с которою он обвенчался тотчас после смерти императрицы. Он даже собирался ее короновать. Епитроп Иерусалимской церкви, ныне государственный контролер, Тертий Филиппов, * по этому случаю ездил даже в Москву, чтоб из архивов извлечь подробности о коронации Екатерины I. Я знал этого господина еще домашним учителем в нашем соседстве. Из этой скромной доли он без ума и без таланта, одним елейным благочестием и льстивым низкопоклонством, дополз до высших почестей. Островский, который был ему товарищем по университету, втянул его в контроль. Но сведения его по этой части были таковы, что когда он брался объяснять это дело молодым людям, готовящимся к этому поприщу, он возбуждал всеобщий смех. Это я знаю от братьев, которые служили по этой части. Зимою 1881 года я видел его у Абазы, который тогда был в силе, а потому был предметом поклонения. Филиппов, как студент филологического факультета, помнящий своих классиков, декламировал ему стихи из Илиады, в которых сравнивал его с Агамемноном. Добыв в Москве архивные сведения для будущей коронации, он с торжеством возвращался в Петербург, как вдруг на полупути узнал о событии 1 марта. Сведения были спрятаны; вскоре улетучился и Агамемнон; но Островский пошел вверх, и за ним в государственные люди попал и Тертий.

Провидение избавило Александра II от позора коронации. Вместо того он принял мученический венец, который искупил все его слабости и оставил его образ светлым ликом между русскими царями. Многие превосходили его способностями, но никто не сделал больше него для России, хотя ни ему, ни его современникам не было дано видеть добрые плоды его трудов, а пришлось только испытывать терния, рассеянные по пути. Он погиб жертвою стремлений, не им вызванных, не им разнузданных, а составляющих глубочайшую язву современного человечества и сталкивающихся в мало образованном обществе в особенно безобразных формах. Нет в мире ужаснее явления, как взбунтовавшиеся холопы, а таковы именно нигилисты.

НАЧАЛО НОВОГО ЦАРСТВОВАНИЯ

Трагическая смерть царя-освободителя была поворотною точкою в нашем общественном развитии. Если первые попытки нигилистов произвели остановку в преобразовательном движении и вызвали реакционные меры, то теперь, когда сам зачинатель реформ пал жертвою их безумных стремлений, реакция должна была проявиться еще сильнее. Правительство, испуганное страшною катастрофой, естественно отшатнулось назад. Общество, с своей стороны, сильнее, нежели когда-либо, почувствовало потребность власти. Наконец, самые нигилисты увидели, что, добившись своей цели, они в сущности ничего не достигли: народ остался спокоен; никакой революции не произошло; даже многие из тех, которые прежде им сочувствовали, от них отвернулись.

Но все эти последствия проявились только мало-по-малу. На первых порах казалось даже, что все осталось по старому и не произошло ничего необыкновенного. Русское сознание, вообще, удивительно неповоротливо. Оно способно увлекаться, нередко через край; но чтобы двинуть его в ту или другую сторону, нужно время. Оно мало восприимчиво к внешним впечатлениям. Я мог убедиться в этом в самый день, когда в Москве распространилось известие о гибели царя. Я вышел на улицу и не заметил никакого народного волнения, даже никакой суеты. Патриархальная тишина царствовала по-прежнему. Знакомые сообщали друг другу ужасные подробности, но не выходя из обычного спокойствия и не ожидая никаких знаменательных событий.

В Петербурге было не то. Северная столица, действительно, была вся в суете, но не вследствие народного волнения или возбужденного общественного интереса, а благодаря совершенно необычной деятельности нового градоначальника, генерала Баранова. Поставленный на этот важный пост после 1 марта, он совсем растерялся и начал выкидывать такие штуки, которые всех приводили в изумление. Не только он по всем заста-

вам расставил караулы, которым велено было никого не пропускать, хотя ничего не стоило их обойти, но он организовал совещательный комитет, основанный на всеобщей подаче голосов. Полиция ходила по домам и всех, как мужчин, так и женщин, кого только могла поймать, заставляла писать на листах имя лица, которое они избирают представителем своего участка. Даже несчастные жертвы в домах терпимости облеклись политическим правом голоса по распоряжению градоначальника. Сам он кидался всюду, как угорелый, принимал самые удивительные меры, болтал без умолку, рассказывал всем о своих подвигах и о доверии к нему государя, одним словом, вел себя как сумасшедший. Граф Строганов с ужасом говорил мне: «Каково наше положение! В такую страшную минуту призывают человека, которого все считают умным и дельным, и вдруг оказывается арлекин!»

Но если Баранов суетился, то главные заправилы оставались, напротив, совершенно спокойны и продолжали свое дело так, как будто ничего не случилось. Характеристический анекдот в этом отношении ходил про Сабурова. На следующий день после катастрофы он отправился в университет, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело там это известие, и переговорить с ректором на счет нужных распоряжений. Когда он вернулся, его спрашивали о результате совещания: «Мы с ректором решили не придавать этому событию особенного значения», отвечал он. Такое же невозмутимое хладнокровие сохранял Лорис-Меликов, на котором лежала главная ответственность за ход дел. Он так был уверен в себе, что, повидимому, вовсе не подозревал, чтобы что-нибудь могло случиться. Рассказывали, что, когда раздался взрыв, он был в гостях у кого-то из сановников. Собеседник его вскочил в ужасе; но Лорис его успокоил: «Вы можете сидеть, — сказал он, — если бы это было что-нибудь важное, я бы не был здесь». Страшная действительность нисколько его не смутила. Он продолжал поддерживать представленный им покойному государю проект о созвании выборных, как будто в промежуток не произошло ничего необычайного, Проект по мысли был разумный и дельный, но самодержавному монарху не легко было решиться на такой шаг. Даже покойный государь, давая свое согласие, говорил, что он понимает, куда это ведет: он видел в этом первый шаг к конституции. Проводить подобную меру в эту минуту, когда новый царь не успел еще опомниться от потрясающих впечатлений, когда и обществу надобно было дать время одуматься, возбуждать вопрос, не подготовив заранее почвы, было крайне опрометчиво. Это зна-

чило излишнею торопливостью и неуместною настойчивостью компрометировать все дело. Лорис-Меликов всего менее мог за это браться. Ему, повидимому, не приходило даже в голову, что событием 1 марта его положение было расшатано и доверие к нему подорвано. Облеченный чрезвычайною властью с целью предупредить катастрофу, он не сумел ничего ни предвидеть, ни отвратить, а между тем он думал диктовать условия, на которых мог настоять только человек с полным авторитетом, увенчанный успехом. Удивительное его самообольщение, а вместе и легкомыслие, обнаружились с первых же шагов. Созвано было совещание из важнейших государственных сановников для обсуждения этого вопроса. Лорис-Меликов стал читать доклад, представленный еще Александру II. В нем, в изложении мотивов, стояла такая фраза: «ныне, когда все успокоилось». И это читалось вслед за убийством царя! Можно себе представить, какое это должно было произвести впечатление.

Граф Строганов первый восстал против этой меры, доказывая всю неуместность ее в настоящую минуту. Его поддержал Победоносцев. За проект стояли Лорис-Меликов, Абаза и Милютин. Государь ничего не решил; он хотел дать себе время на размышление.

Несколько времени спустя, мне случилось говорить об этом с графом Строгановым. «Я был бы согласен, — сказал он, — но не теперь. К коронации, да». Но когда наступила коронация, все защитники этого проекта давно сошли со сцены и об нем не было уже и помину. Мера, которая могла внести зачатки политической жизни в русское общество, была надолго погребена, в значительной степени по вине главного руководителя. Таков был ближайший результат события 1 марта.*

Между тем, живя в Москве и ничего не ведая о предположениях Лорис-Меликова, я, с своей стороны, пришел к убеждению в необходимости подобной меры для скрепления союза между правительством и обществом. Это убеждение родилось во мне уж в прошлом царствовании; происшедшая катастрофа могла только его усилить. Она очевидно указывала на глубокое общественное расстройство. Надобно было искать исхода из невозможного положения. Мне казалось, что одно правительство не в состоянии справиться с этой задачею. Неспособность государственной полиции при всех следовавших друг за другом покушениях и убийствах обнаружилась в полной мере. Приходилось взывать к общественным силам, чтобы в союзе с ними дать отпор торжествующему нигилизму. Но о введении конституционного порядка не могло быть речи в такое смутное время.

Надо было, во что бы то ни стало, укрепить власть, а не ослаблять ее, подвергая ее ограничениям. Теоретически, в нормальном порядке, я не одобрял подобной полумеры. Но при существующих условиях она представлялась мне единственным способом собрать воедино все силы русской земли и приготовить почву для лучшего будущего.

В этих видах я написал статью: Задачи нового царствования. Я роздал ее в рукописи некоторым московским знакомым и послал в Петербург. Здесь сделаю довольно пространные выписки, чтобы показать, как мне в это время представлялось положение дел и какой я видел возможный для нас исход.[1]

«Страшною катастрофою завершилось одно из величайших царствований в русской истории, — писал я. — Монарх, который осуществил заветные мечты лучших русских людей, который дал свободу двадцати миллионам крестьян, установил независимый и гласный суд, даровал земству самоуправление, снял цензуру с печатного слова, этот монарх, благодетель своего народа, пал от руки злодеев, преследовавших его в течение нескольких лет и наконец достигших своей цели. Такая трагическая судьба не может не произвести потрясающего впечатления на всякого, в ком не помутилась мысль и не иссякло человеческое чувство.

Но еще более политический мыслитель смущается при виде того наследия, которое этот благодушный государь, сеятель свободы на русской земле, оставляет своему преемнику. Казалось бы, что совершенные преобразования должны были поднять русскую жизнь на новую высоту, дать крылья слишком долго скованному народному духу. А между тем, в действительности произошло не то. Вместо подъема, мы видим упадок, и умственный, и нравственный, и отчасти материальный. Вместо нового, благотворного порядка, везде ощущается разлад. Повсюду неудовольствие, повсюду недоумение. Правительство не доверяет обществу, общество не доверяет правительству. Нигде нет ни ясной мысли, ни руководящей воли. Россия представляет какой-то хаос, среди которого решимость проявляют одни разрушительные элементы, которые с неслыханною дерзостью проводят свои замыслы, угрожая гибелью не только правительству, но и всему общественному строю. Последнее злодеяние переполнило

---

[1] В брошюре, изданной за границей под заглавием: «Конституция графа Лорис-Меликова», приводятся выдержки из приписанной мне рукописной статьи, причем меня обзывают «лже-либералом». Эти выдержки взяты не из моей записки, а из написанной в то же время записки Дмитриева. (Прим. автора).

меру; оно показало, что мы должны ежеминутно трепетать за самые священные основы народной жизни.

В чем же заключаются причины зла, и где найти против него лекарство?»

Я устранял ходячее объяснение поверхностных либералов, которые все наши невзгоды приписывали реакционным стремлениям правительства, взявшим верх во вторую половину царствования Александра II. Я показывал, что если правительство принуждено было принять чрезвычайные меры, временно устранить гарантии личной свободы, то это было вызвано террором, исходящим из недр самого общества.

«Взваливать на происшедшую в правительстве реакцию вину общественной смуты, приписывать существующий в обществе разлад тем или другим циркулярам министров, мнимому деспотизму губернаторов, предостережениям, которые даются журналам, или даже существованию подушной подати и паспортной системы, значит пробавляться пустяками. Кто довольствуется подобными объяснениями, с тем столь же мало можно говорить о политике, как с слепым о цветах.

Причины зла кроются гораздо глубже: они заключаются в самом состоянии русского общества и в быстроте, с которою совершились в нем преобразования.

Всякое общество, внезапно выброшенное из своей обычной колеи и поставленное в совершенно новые условия жизни, теряет равновесие и будет некоторое время бродить наобум... Народ, в течение веков находившийся в крепостном состоянии, привыкший преклоняться перед всемогуществом власти, внезапно очутился среди гражданского порядка, созданного для свободы. Крепостное право исчезло; сословия уравнялись. Везде возникли самостоятельные силы; явилась потребность совокупной деятельности. Руководящее сословие в особенности было поставлено совершенно на новую почву и должно было отказаться от всех своих прежних привычек. Ему разом приходилось и поддерживать свое потрясенное материальное благосостояние и приниматься за новую общественную работу, и все это без надлежащей подготовки, при том скудном образовании, которое доставляла русская жизнь. Даже весьма просвещенное общество с трудом могло бы вынести подобный переворот; что же сказать об обществе мало образованном? Все отношения изменились; все понятия перепутались. В довершение беды преобразования совершились в такую пору, когда наша учительница на пути гражданского развития, Западная Европа, вместе с великими началами, легшими в основание преобразований прошед-

шего царствования, принесла нам и смуту. И там происходит кризис, и в умственной и в политической области: идет борьба между капиталом и трудом; материалистические учения обуревают умы, а дикие страсти, волнующие народные массы, стремятся к ниспровержению всех основ, которыми держится человеческое общежитие. Мудрено ли, что эти смутные идеи, проникая в невежественную среду и находя восприимчивую почву в бродячих элементах, разнузданных общественным переворотом, окончательно сбивают с толку неприготовленные умы и производят те безобразные явления, которые приводят нас в ужас и негодование?

Вот, где кроются причины зла; где ж искать против него лекарства?»

Я разбирал ходячую либеральную программу, которую проповедывали передовые журналы и за ними повторяли многочисленные их поклонники:

«Лекарство не заключается в прославляемой ныне свободе печати,—писал я.—Собственный наш двадцатипятилетний опыт, которым подтверждается давнишний опыт других народов, мог бы излечить нас от этого предрассудка. Свобода печати, главным образом периодической, которая одна имеет политическое значение, необходима там, где есть политическая жизнь; без последней она превращается в пустую болтовню, которая умственно развращает общество. Особенно в среде мало образованной разнузданная печать обыкновенно становится мутным потоком, куда стекаются всякие нечистоты, вместилищем непереваренных мыслей, пошлых страстей, скандалов и клеветы. Это признается самыми либеральными западными публицистами, беспрестанно наблюдающими явления жизни. В России периодическая печать, в огромном большинстве своих представителей, явилась элементом разлагающим; она принесла русскому обществу не свет, а тьму. Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых и многочисленных их последователей, которым имя ныне легион... Если правительство, желая задобрить журналистику, откажется от единственного находящегося в руках его оружия, от предостережений, то социалистической пропаганде открыт будет полный простор. Напрасно мы будем надеяться, что она встретит противодействие со стороны здоровых элементов общества. Чтобы противодействовать рассеваемой под научным и филантропическим призраком лжи, нужны мысль, знание, труд; а огромное большинство читающей публики именно потому пробавляется журналами и газетами, что оно само не хочет ни думать, ни работать. При таких условиях громкая фраза и

беззастенчивая брань всегда будут иметь перевес. Уважающий себя писатель с омерзением отвернется от этого турнира. Свобода необходима для научных исследований; без этого нет умственного развития. Но периодическая печать требует у вас сдержки, а не простора. Она составляет самое больное место русского общества.»

Точно также устранял я и удовлетворение требований молодежи, доставлявшей главный контингент нигилизму.

«У нас, — говорил я, — отношения начальства к учащемуся юношеству беспрерывно переходят из одной крайности в другую, как будто нарочно для того, чтобы сбить с толку молодые умы и не оставить в них ни одного твердого понятия. Конечно, когда возжи слишком натянуты, нужно послабление. Но чтобы само правительство добровольно вносило в учебные заведения смуту и разлад, возбуждая юношество, возмущая всех разумных людей и вызывая громкие рукоплескания легкомысленных агитаторов, чтобы оно, в погоне за популярностью, вело к систематическому разрушению учреждений, в которых воспитываются молодые силы, этому едва ли представляет пример какая-либо другая европейская страна... Положить как можно скорее конец этой растлевающей деятельности, грозящей гибелью молодому поколению, такова насущная потребность дня. На юношестве, по самым его свойствам, всего более отражается общественная смута; тут легкомысленный либерализм вреднее, чем где-либо.»

Я восставал и против надежд, возлагаемых на возвращение политических ссыльных, отмену чрезвычайных мер и восстановление законного порядка. Характеристическим признаком тогдашнего состояния умов служит тот акт, что тотчас после 1 марта в нашей периодической печати раздались голоса, требующие прощения главного виновника всех этих событий, Чернышевского. Выражая признательность государственному человеку, который взялся за пересмотр политических процессов и вернул неправильно сосланных, соглашаясь с тем, что власть должна в этих случаях поступать с крайнею осторожностью, обставив себя всевозможными сведениями, я настаивал, однако, на том, что, пока существует социалистическая пропаганда, стремящаяся к ниспровержению всего общественного строя, до тех пор чрезвычайные меры будут необходимы. «Когда шайка крамольников доходит до самых неслыханных злодеяний, тогда спасение общества требует приостановки гарантий.»

Я утверждал, что лекарство не лежит и в реформе местного управления. «Хотя желательны частные улучшения, однако

никакого коренного преобразования в местном управлении не требуется. Реформами прошедшего царствования оно поставлено на настоящую ногу, и отношения между властями установлены правильные. Только никогда не участвовавшие в земских делах могут утверждать, что деятельность земских учреждений парализуется властью губернаторов. В действительности, власть губернаторов нельзя ни усилить, ибо этим нарушились бы дорогие земству права, ни ослабить, ибо через это правительство лишилось бы необходимого органа. А с другой стороны, невозможно расширить и круг ведомства выборных учреждений. При наличных силах они едва справляются с своей задачей; как же они справятся с большею?»

«Самое больное место провинциальной администрации,—продолжал я, — находится в крестьянском управлении, особенно волостном. Недостаточность суда, произвол старшин, владычество писарей, все это слишком известно. Но и тут помочь злу можно только частными мерами: усилением личного состава уездных присутствий, предоставлением некоторых дел мировым судьям, заменой кассации апелляциею и т. п. Всякое же коренное преобразование, при нынешних условиях провинциального быта, немыслимо. Уничтожить волость нельзя, не расстроивши всего уездного управления; можно только или взять ее в опеку или ввести в нее образованные элементы. Но ни то, ни другое не приведет к желанному результату именно вследствие крайней скудости образованных элементов в провинции. В этом заключается главное зло, которым страдает наше местное управление, зло, которое может быть устранено только временем. При нынешнем безлюдии всякая органическая перемена будет только бесполезною ломкой. Усиление чиновничьего элемента, не говоря уж об известной его неблагонадежности, нежелательно уже потому, что через это изменится земский характер учреждений. Водворение же маленьких пашей из местных помещиков повело бы только к эксплоатации крестьянского населения во имя частных интересов и к преобладающему значению этих лиц в земских собраниях, где половина голосов будет в их руках.»

Я коснулся и крестьянского хозяйства, о котором в то время трубили социалистические газеты, провозглашая, что теперь, как двадцать лет тому назад, перед нами стоит грозный крестьянский вопрос. Я утверждал, что этот грозный вопрос не что иное как миф, созданный воображением петербургских журналистов. Признавая обеднение части крестьянского населения, происходящее от плохой обработки земли, хищнического

хозяйства, непривычки к сбережениям и излишней привычки к пьянству, от семейных разделов, а главное от закрепощения крестьянина общине и круговой поруке, я говорил, что этому злу не поможет ни увеличение наделов, ибо через некоторое время, с приращением народонаселения, наделы опять окажутся малы, ни переселения, которые могут быть полезны в отдельных случаях, но которые, как широкая мера, не имеют смысла при скудном населении России. Единственною разумною мерою могло бы быть лишь освобождение крестьянина от общины и круговой поруки, но именно против этого возопят не только социалистическая печать, но и значительная часть консерваторов, увлекающихся славянофильскими идеями или пугающихся призрака пролетариата. Что касается до уравнения податей, то это — начало весьма почтенное, но надобно знать, на кого падут снятые с крестьян подати. Если на помещиков, то они не выдержат, и из провинции исчезнут последние образованные элементы. Кроме того, этот вопрос имеет и политическую сторону, которою нельзя пренебрегать, особенно в настоящее время, когда дворянство может оказаться весьма полезным, именно как наиболее охранительная часть общества, всех более способная служить связью расшатавшегося здания.

Наконец, я говорил и о возможности конституции.

«Не следует ли, однако, приступить к дарованию политических прав, к тому, что привыкли называть завершением здания? В настоящую минуту оно было бы менее всего уместно. После освобождения крестьян дворянство некоторое время мечтало о конституционных правах, которыми оно думало вознаградить себя за утраченные привилегии. Но эти стремления встречали противодействие в наиболее разумной части общества, которая понимала, что не в эпоху коренных преобразований, изменяющих весь общественный строй, можно думать об ограничении верховной власти. Впоследствии, когда умы успокоились и русское общество начало привыкать к новому порядку вещей, конституционных гарантий могли желать и те, которые не увлекались современными страстями. Но и эта пора спокойного усвоения преобразований прошла. Проявившиеся с страшною энергией разрушительные силы внесли новую смуту в только что начинавшее приходить в сознание общество... Теперь всякое ограничение власти было бы гибельно.»

«Таким образом, — заключал я, — вся ходячая либеральная программа, с которою носятся известного разряда русские журналисты и их поклонники, должна быть устранена. Она ведет лишь к усилению разлагающих элементов общества,

а нам нужно прежде всего дать перевес элементам скрепляющим.

Однако из этого не следует, что нельзя сделать шага в либеральном смысле. Свободою можно и должно пользоваться, но не распуская, а направляя. Новое правительство неизбежно должно будет обратиться к обществу и искать в нем опоры; но целью должно быть не ослабление, а усиление власти, ибо такова наша насущная потребность.»

Рассматривая современные явления нигилизма, я приходил к заключению, что это внутренняя болезнь, с которою правительство одними внешними средствами не в состоянии справиться. Тут нужна нравственная поддержка народа, не та, которая дается официальными адресами, а та, которую может дать только живое общение с представителями земли. Только этим путем может установиться и разумное руководство, необходимое во всяком обществе, а тем более в таком расшатанном состоянии, в каком находится ныне Россия.

«Было время—писал я—когда самодержавная власть, с помощью своих собственных орудий, беспрепятственно руководила народом... Но это время прошло безвозвратно. Уже при Александре I совершился перелом. В царствование Николая, при внешней покорности, он сделался еще глубже. Преобразования прошедшего царствования, принявши во внимание изменившееся течение жизни, имели в виду организовать русское общество, как самостоятельную и свободную силу. При таком порядке одной правительственной деятельности недостаточно. С самостоятельными силами надобно считаться; надобно призывать их к совету и совокупно с ними направлять общественное движение. Конечно, при незрелости русского общества от него получится немного; но только этим способом его самого можно воспитать к политической жизни. Надобно создать орган, в котором могли бы вырабатываться общественная мысль и общественная воля.

«Нет необходимости, чтобы таким органом был непременно парламент, облеченный политическими правами. Такого рода учреждение пригодно только для общества зрелого, установившегося на своих основах, а нам пока предстоит воспитаться. Политическая свобода может быть отдаленным идеалом русского человека; насущная потребность заключается единственно в установлении живой связи между правительством и обществом для совокупного отпора разлагающим элементам и для внесения порядка в русскую землю. Эта цель может быть достигнута приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному совету».

Я предлагал призвать по одному депутату от дворянства и по два от земства каждой губернии и дать им одинакое право голоса с правительственными членами. Так как мнения Государственного совета не связывают верховной власти, то вопрос о большинстве и меньшинстве не имеет тут значения. «Существенная задача состоит в том, чтобы собрать достаточное количество сил и создать действительный центр политической жизни». А для этого надобно поставить задачу широко, не высказывая мелкого и боязливого недоверия, которое к тому же не имеет и почвы. «Ныне русское общество, менее нежели когда-либо, расположено требовать себе прав. Оно напугано явлениями социализма и готово столпиться около всякой власти, которая даст ему защиту». Надобно только, чтобы сама эта власть обратилась к нему с доверием. «Правительство, разобщенное с землею, бессильно; земля, разобщенная с правительством, бесплодна», заключал я. «От прочной их связи зависит вся будущность русского государства».

Эту записку, которая показывает, как в то время могли смотреть на положение дел беспристрастные люди из общества, я роздал в рукописи нескольким московским знакомым и послал в Петербург, между прочим Победоносцеву. Он писал мне от 15 марта: «Получил сегодня вашу записку и благодарю искренно. Тотчас же прочел. Не стану скрывать свое мнение — оно совсем несходно с вашим. Первые две трети записки, содержащие критическую часть, я одобряю вполне, но предлагаемое вами лекарство, по мнению моему, может оказаться хуже болезни. Я не верю, чтобы из этого вышло то единение, которого вы желаете, но вижу ясно, что выйдет новое разъединение и новая фальшь. Все дело в том, что правительство перестало знать, чего оно хочет, и утратило инстинкты народного самосохранения. Вы сами пишете, что предполагаемое вами учреждение предполагает *твердое* правительство, и вы же хотите, чтобы посредством этого учреждения правительство стало твердым. Тут есть круг, в котором мысль безысходно вращается.

Впрочем всего не объяснишь в кратком письме, а я хотел только выразить вам мысль свою, основанную на крепком убеждении, которое сидит во мне с тех пор, как я начал мыслить, и все более укореняется.

Записку вашу постараюсь передать великому князю Владимиру, до которого это дело принадлежит специально...

Когда приедете сюда, вас здесь встретят, ради этой мысли, с объятиями, и вы будете лить воду на здешнюю мельницу, которая в ходу, скажу *к несчастью*. Это — самая последняя мода

в высшей официальной интеллигенции. Пусть бы в другое время, но теперь, в эту минуту, когда все расшатано и потрясено в первых элементах, я с глубоким прискорбием смотрю на это стремление, льстивое, по моему мнению, и обманчивое. Впрочем, думаю, сами вы несколько поколеблетесь в своей мысли, когда увидите в здешних кривых зеркалах ее отражение. — Обнимаю вас. До свиданья».

На это я отвечал:

«Получил я ваше письмо, любезнейший Константин Петрович. Думал сам быть в Петербурге на днях и лично переговорить с вами; но мне пишут, что бог знает еще, когда нас соберут, а ехать туда для препровождения времени не считаю нужным. Но не могу не отвечать на ваше письмо. Мы живем в такое время, когда людям, искренно желающим пользы отечеству, необходимо столковаться. Нам с вами это тем более возможно, что в сущности мы одинаково смотрим на положение и расходимся лишь в средствах. В ответ на ваше возражение я вам поставлю один вопрос: неужели вы думаете, что с существующими петербургскими элементами вы в состоянии сделать что-нибудь путное? Можно верить или не верить в то, что даст страна, но есть одно, во что нельзя не верить: это — то, что петербургские сферы износились совершенно и, кроме гнили, ничего в себе не содержат. А вы с этою гнилью хотите спасать Россию! Одно из двух: или нынешнее правительство способно выставить из себя человека вроде Михаила Николаевича Муравьева, которого имя теперь у всех на устах; но в таком случае он сам захочет опереться на земскую силу и поведет ее за собою. Или же, нынешнее правительство, кроме существующей размазни, ничего не в состоянии произвести; но тогда одно спасение в воззвании к земле. Соглашусь с вами, что, пожалуй, даже большинство будет состоять из пустых болтунов; но явится и здравомыслящее меньшинство, которое в состоянии будет смело высказать свое мнение и в котором правительство найдет опору. Продолжать же нынешний порядок, при котором каждый министр тянет на свою сторону и все сходятся только в одном — чтобы взапуски, друг перед другом, либеральничать и кувыркаться перед петербургскою швалью, это, по моему, немыслимо. Это именно тот путь, который ведет к погибели. Затем я вовсе не думаю, что нужно с этим спешить. Напротив, дайте правительству установиться и обществу одуматься. Не мутите умы мнимо либеральными мерами, которые теперь совершенно несвоевременны, и не бойтесь проявлений власти, которые одни могут успокоить взволнованное общество. Но у вас, когда проявляется

власть, так это бывает всегда наперекор здоровой политике, «Петербургские ведомости» запрещают, а «Страну», «Голос» и «Порядок» оставляют неприкосновенными. Что тут будешь делать? Крепко жму вам руку».

Сущность моей мысли заключалась в том, что надобно собрать центру все охранительные элементы страны и на них опереться, чтобы действовать на общество и дать отпор нигилизму. Но Победоносцев ничего не понимал, кроме канцелярии и консистории. Выборных учреждений он не видал в глаза и боялся их, как огня. Гражданский идеал его был чисто монашеский: «да тихое и безмолвное житие проживем». Этот идеал он вынес из своего происхождения, из своей жизни, и остался ему верен до конца.

Вскоре я поехал в Петербург на заседание железнодорожной комиссии. Я нашел там войну между двумя министерскими партиями в полном разгаре. Меня это смущало и огорчало. Мне казалось, что в эту минуту всем надобно соединиться и действовать дружно во имя общей цели, даже с пожертвованием личных взглядов и стремлений. В этом смысле я старался действовать на Победоносцева, убеждая его сблизиться с Абазой, который далеко не был рьяным либералом. «Как, вы хотите, чтобы я с ним сблизился,— отвечал он,— когда он почти перестал мне кланяться?» С Абазой я не пробовал говорить. Он действительно так возгордился своим положением и сделался так важен и величествен, что к нему не было приступа. Но перед возвращением в Москву я отправился к его приятельнице, Елене Николаевне Нелидовой, и старался ей растолковать, что, ведя дело таким образом, они оттолкнут от себя всех благоразумных людей и легко могут проиграть сражение, от которого зависит вся наша будущность. При этом я внушал, что гораздо лучше столковаться с Победоносцевым, который пользуется доверием государя, нежели быть с ним на ножах. Но это были напрасные слова: самомнение обуяло их совершенно.

Всего более меня тревожило то, что в видах популярничанья, они вздумали перевернуть все Положение 19 февраля. Опираясь на то, что в некоторых местностях выкупные платежи оказывались слишком тяжелыми и накоплялись недоимки, они хотели, в виде общей меры, приравнять платежи к ценности земли. Это значило разом опрокинуть всю систему, принятую при освобождении крестьян, ибо в северных губерниях платежи соразмерялись не с ценностью земли, а с средним оброком, который платили крестьяне в значительной мере с промыслов. Я старался доказать Абазе, что если они в отдельных случаях

будут облегчать те неизбежные неравенства, которые должны были оказаться при такой всеобщей и коренной реформе, то это встретит общее сочувствие, но что ниспровергать все Положение 19 февраля, на котором зиждется весь наш новый гражданский строй, и заменять действовавшую в течение двадцати лет выкупную систему совершенно иною было бы крайне неблагоразумно и даже опасно. Но в своем величии он принял мои возражения весьма неблагосклонно, а приятель его Константин Иванович Домонтович, сам бывший членом Редакционных комиссий, тут же отвечал мне: «В то время этого начала нельзя было провести, а теперь можно; этим следует воспользоваться». Так эти господа смотрели на величайший законодательный акт в русской истории: они видели в нем дельце, которое можно провести бюрократическим путем. Когда Александр II задумал освободить крестьян, он не ограничился узкою сферою петербургских чиновников, и вызвал всеобщее обсуждение вопроса и в печати, и в дворянских комитетах собранных по всем губерниям. В Редакционные комиссии призваны были самые видные люди из русского общества; в Петербург вызваны были депутаты от дворянства, и только после двухлетнего всестороннего обсуждения каждой подробности издан был великий акт, положивший основание новому гражданскому строю в русской земле. И вдруг несколько петербургских либеральных чиновников, пользуясь счастливым министерским созвездием, вздумали опрокинуть всю эту громадную работу и провести чисто бюрократическим путем свои личные виды. Далее этого чиновничье легкомыслие не могло итти. Меня поразило то, что, когда я, вернувшись в Тамбов, рассказал обо всем этом жене губернатора, баронессе Фредерикс, она тут же воскликнула: «Да как же это можно, это значит ломать все Положение 19 февраля.» — «Вот видите, — отвечал я, — вы, дама, понимаете это с первого раза, а петербургские сановники никак не могут этого понять».

Я сообщил свои опасения Победоносцеву, который советовал мне составить об этом краткую записку и представить ее государю. Это я и сделал, но уже по возвращении в Москву. Перед отъездом я получил от Лорис-Меликова косвенное предложение, которое я отклонил. Мой университетский товарищ и приятель Зубков, один из краеугольных столпов петербургского Яхтклуба, писал мне, что ему нужно видеть меня по весьма важному делу. При свидании он сообщил мне, что Черевин, по поручению Лорис-Меликова, просил его разузнать от меня, не приму ли я на себя руководство печатью. Оно в это время находилось

в ведении Николая Саввича Абазы, который очень этим тяготился. Я отвечал, что периодическая печать в эту минуту требует палача, а я к этой роли не чувствую никакого призвания. Думаю, что предложение, в сущности, было не серьезное. Если бы действительно хотели привлечь меня к делам, то не за чем было употреблять такие косвенные пути.

Записку о выкупном деле я из Москвы послал через Победоносцева в пакете на имя государя при следующем письме:

«Всемилостивейший государь! Беру смелость представить на усмотрение вашего величества приложенную при сем записку о предполагаемых правительством мерах по крестьянскому делу. Несколько месяцев тому назад вы соблаговолили принять от меня записку по университетскому вопросу. Ныне положение еще серьезнее и предполагаемые меры еще опаснее, а потому я решаюсь снова высказать свою мысль перед вашим величеством. Когда колеблются основания Положения 19 февраля, этой дарованной вашим родителем великой хартии русского народа, русский человек не может не трепетать за будущность своего отечества. Смею уверить вас, государь, что я не один так думаю, и что мои опасения разделяются многими людьми, основательно знающими Россию, и которых мнение может иметь вес. Иначе я не осмелился бы утруждать ваше величество своими соображениями.

Пользуюсь этим случаем, чтобы повергнуть к стопам вашего величества чувства безграничной преданности Вашего императорского величества верноподданного Б. Чичерина.

11 апреля 1881 г.»*.

К сожалению, по какому-то случаю самая записка не сохранилась у меня целиком. Из нее выпал средний листок и остались только начало и конец. Я рассматривал в ней два проекта, представленные Абазой: 1) о понижении выкупных платежей; 2) об обязательном выкупе в тех имениях, где крестьяне не перешли еще в разряд собственников. Относительно первого я говорил, что против этой меры ничего нельзя было бы сказать, если бы имелось в виду облегчение тяжестей в тех местностях, где они лежат непосильным бременем на крестьянах. «Положение 19 февраля,— писал я,— как общая государственная мера, не могло принять во внимание всего бесконечного разнообразия местных условий, а потому неизбежно должна была оказаться неуравнительность в платежах. Исправление этого недостатка, коренящегося не в *началах*, положенных законодателем, а в их *приложении*, было бы благодеянием для крестьянского населения. Единственное, чего можно было бы желать, это-то, чтобы эта

льгота давалась, по возможности, без шума и без огласки, так, чтобы не взволновать остальных крестьян, которые будут ее лишены. Польза должна быть действительная, а не на показ. Но не то имеется в виду в правительственном проекте. Хотят именно, чтобы мера была общею, а не частною, чтобы она совершилась с огласкою, а не втихомолку; хотят не облегчения правил в приложении, а изменения самого их основания». Против этого я восставал, указывая, с одной стороны, на несправедливость такого уравнения, которое облегчит богатых промышленных крестьян северных губерний, оставляя тяжести на беднейших черноземных, а с другой стороны, напирая на то, что Положение 19 февраля есть краеугольный камень новой русской гражданственности, которого нельзя касаться, не колебля самые юридические основания общественного порядка и не подавая поводов к новым смутам.

Что касается до второго проекта, то, признавая обязательный выкуп полезным, как довершение великого дела освобождения крестьян, я возражал против предполагаемой скидки двадцати процентов с цены имений, утверждая, что подобная мера, принудительно введенная, не что иное как частная конфискация, которая может найти извинение в революционном положении страны, но в приложении к настоящему состоянию России не находит никакого оправдания, а способна только поддержать смуту, действуя в смысле направления, отрицающего право собственности.

Я кончал взглядом на общее положение дел. «Напрасно думать,— писал я,— что все ограничивается небольшою шайкою злоумышленников. Масса сбитой с толку молодежи дает этим злоумышленникам постоянно новый контингент, и чем более в обществе будет волнения, чем более в нем будет на практике возбуждено вопросов, касающихся самых основ гражданского строя, тем более будет смуты в умах и тем благоприятнее будет среда для нигилистов. Не придавать постигшему Россию удару никакого политического значения, итти сегодня тем же путем, как мы шли вчера, предлагать в смутную пору такие меры, которые требуют спокойного состояния общества, значило бы закрывать глаза на действительность и поступать не так, как подобает государственным людям. В настоящее время требуется успокоение, а не возбуждение умов, требуется утверждение существующего, а не новая ломка. В этом деле правительство может, по зрелом обсуждении и не торопясь, собрать вокруг себя лучшие силы земли, но не с тем, чтобы предлагать им переустройство только что созданного порядка ве-

щей, а с тем, чтобы вкупе с ним охранять этот порядок от нарушений и упрочить его, как основание для всего будущего развития России. Черед, как для новых преобразований, так и для довершения уже содеянных, придет в свое время; ныне задача иная. Охранительная политика, опирающаяся на страну, таков лозунг настоящего дня. И только когда союз с землею будет упрочен, можно будет думать о дальнейших реформах».

Мне после сообщали, что государь остался доволен и письмом и запискою. Он говорил об этом Игнатьеву.

Этот изворотливый дипломат в это время выдвигался вперед. Он был назначен министром государственных имуществ; но это было только ступенью для дальнейшего движения. Из двух партий, на которые разделялось министерство, он принадлежал к Победоносцеву, прельщая его своими православно-руссофильскими тенденциями и тщательно скрывая другие свои виды. Победоносцев прочил его на место Лорис-Меликова и втайне действовал на его пользу. Не имея ни малейшего понятия о внутренних делах, Игнатьев искал света и в других сферах. Будучи послан в Нижний-Новгород для охранения порядка во время ярмарки, он там сошелся с бывшим сызранским предводителем, Дмитрием Ивановичем Воейковым, который впоследствии сделался у него правителем канцелярии, а через него он вошел в сношения с Дмитриевым, который был сызранским помещиком. Игнатьев приезжал совещаться с Дмитриевым насчет выкупного вопроса. Дмитриев рассказывал мне, что он советовал созвать людей, знающих дело, из общества, и при этом назвал Щербатова и Дмитрия Самарина.

«Зачем же ты это сделал? — сказал я ему тут же.— Самарин будет фантазировать, а Щербатов пойдет на компромиссы. Из этого ничего путного не выйдет». Оба они были мои близкие друзья; я их любил и высоко ставил во многих отношениях, но, зная их свойства, я не предвидел никакой пользы от их участия именно в этом вопросе. Так и вышло в действительности. Однако предложение Дмитриева имело полезные следствия. При обсуждении проекта в Государственном совете Игнатьев предложил созвать сведущих людей, и это затормозило дело. Когда они собрались, Лорис-Меликов и Абаза сошли уже со сцены и некому было поддерживать их проект.

Представляя свою записку государю, я копию с нее в то же время препроводил Абазе при следующем письме:

«Многоуважаемый Александр Аггеевич, посылаю вам составленную мною записку о предполагаемых вами мерах по кре-

стьянскому делу. Другую такую же записку посылаю от своего имени государю. Третьего экземпляра нет в чужих руках.

Вы вероятно будете меня бранить; но я отвечу вам, как Фемистокл: бей, но слушай.* Думаю, что с принятою диспозициею легко можно проиграть Саламинское сражение, от которого зависит вся будущность России. Если вы желаете созвания выборных, то на этой мере следует сосредоточить все свои силы, и на этом вы сойдетесь со многими. Если же вы будете вести разные атаки, то вы рискуете потерять все или произвести такую неурядицу, при которой останется одно спасение в чистой диктатуре. В предполагаемой мере в особенности вы будете иметь поддержку одной петербургской журналистики, а против нее будут, смею вас уверить, множество разумных и либеральных людей, которые с крайним опасением смотрят на этот шаг. Грустно видеть, Александр Аггеевич, что вы, которого все мы, близко вас знающие и вас ценящие, желали бы иметь своим вожаком, в настоящее смутное время вступаете на такой путь, по которому мы не можем за вами следовать.

С горестью жму вам руку, не теряя впрочем надежды, что вы сами, обдумавши дело, убедитесь в необходимости более зрелого его обсуждения.

11 апреля 1881 г.»

Любезности по адресу Абазы были вставлены по совету Дмитриева, который говорил, что ему непременно надобно сказать несколько приятных слов, чтобы чего-нибудь от него добиться. Но это было совершенно напрасно. Я получил от него следующий ответ:

«Многоуважаемый Борис Николаевич.

Извините, что за множеством дел и забот я не отвечал ранее на письмо ваше от 11 апреля.

Напрасно вы думаете, что я буду вас бранить; долго занимаясь государственными вопросами, привыкаешь относиться с уважением и к противному мнению. Поэтому не обращаю к вам заключительных слов вашего письма «что вы сами, обдумавши дело, убедитесь в необходимости более зрелого к нему отношения».

Вы пишете также о поддержке одной петербургской журналистики, между тем, я прочел в «Московских ведомостях» статью весьма дельную в смысле моего представления.

Но, конечно, это не важно, а нужно правильное обсуждение и решение крупного вопроса в установленном у нас законодательном порядке. В этом отношении могу вам сообщить, что сегодня в общем собрании Государственного совета дело про-

шло, хотя и не без разногласия. А. А. Тимашев, соглашаясь со всем представлением, настаивал только на вопросе о 20%. При собирании голосов он остался один. Его ли признавать вожаком множества разумных и либеральных людей, о которых вы упоминаете?

Душевно преданный А. Абаза.

27 апреля 1881 г.».

Это письмо я получил в Кирсанове на экстренном земском собрании, и в то же время был получен знаменитый манифест о самодержавии, который всех нас привел в недоумение. Кто в эту минуту думал посягать на самодержавие? и что означал этот манифест? Для России это оставалось тайною. Даже я, несколько посвященный в петербургские закулисные интриги, не мог объяснить себе этого шага. Я догадывался только, что это какой-то камуфлет, направленный против Лорис-Меликова. Не зная в чем дело, я отвечал Абазе:

«Получил я ваше письмо, многоуважаемый Александр Аггеевич. Не могу скрыть от вас, что оно произвело на меня грустное впечатление. Я искал возможности сойтись, и когда писал вам: «бей, но слушай», то хотел этим сказать: «оставимте в стороне все, что может перенести вопрос на личную почву и будемте говорить о пользе отечества». Когда же я выразил надежду, что вы сами, может быть, убедитесь в необходимости более зрелого обсуждения вопроса, то в этом высказывалось только желание притти к соглашению на основании всестороннего суждения не в среде одной петербургской бюрократии, а совокупно с людьми, заинтересованными в деле и могущими иметь в нем голос. Я полагал, что вы сочувствуете этому направлению, и некоторые из нас охотно бы видели вас в его главе. Вместо того вы нам указываете, как на вожака, на единственного человека, который в Государственном совете поддерживал необходимость вознаградить помещиков полностью, а не со скидкою 20%. Что я вам на это скажу? Вы знаете, Александр Аггеевич, что для того, чтобы быть вожаком, недостаточно быть министром, генерал-адъютантом или действительным тайным советником; в настоящее время для массы публики, это скорее служит препятствием. Нужны качества совершенно иного рода; поэтому я и обращался к вам, а не к другому. И если во всем составе Государственного совета, только один человек, который никогда не может быть вожаком земских людей, остановился на мысли, что принудительное отнятие частной собственности государством, без должного вознаграждения, есть конфискация, и что конфискация, всегда неуместная в правильном государственном порядке, менее

всего может быть допущена в такое время, когда идет борьба с социализмом, то это доказывает только то, в чем мы с вами, к счастью, сходимся, именно необходимость радикального обновления Государственного совета приобщением к нему свежих элементов, без содействия которых правильное и всестороннее обсуждение государственных вопросов представляется едва ли возможным. Но это доказывает, вместе с тем, и другое, в чем мы, к сожалению, с вами расходимся, именно, что без содействия этих элементов нельзя проводить подобные меры. Мы, земские люди, близко знающие земскую практику, и некоторым из которых вы, может быть, не откажете и в более обширном знании государственных вопросов, мы вправе желать, чтобы в делах, касающихся существенных наших интересов, наш голос был услышан. Без этого, вместо желанного единения правительства с обществом, произойдет только больший разлад. В настоящее время голос имеют только петербургская бюрократия и журналистика. Ни той, ни другой мы не доверяем, а потому все более отчуждаемся от правительства. Вашего содействия в устранении этого зла, вот чего мы вправе были от вас ожидать. И зная вас, я все-таки не теряю надежды когда-нибудь стоять с вами в одних рядах, хотя мы и можем расходиться в отдельных вопросах.

Душевно преданный Б. Чичерин. 8 мая 1881 г.»

Это письмо не застало уже Абазы министром. Вследствие манифеста и он и Лорис-Меликов подали в отставку. Вслед за ними вышел и Милютин. Я после узнал, как все это совершилось. Государь опять созвал министров на совещание, с тем чтобы решить, что следует делать при настоящих обстоятельствах. Но полномочный диктатор не выработал никакой программы; никто из министров не был приготовлен к вопросу, и когда принялись высказывать мнения, все пошли, кто в лес, кто по дрова. Решения опять не было принято никакого. Тогда государь сказал им, чтобы они совещались между собою и пришли к какому-нибудь решению. Несколько времени спустя сановники собрались, как вдруг перед открытием заседания министр юстиции вынул из кармана присланный ему для напечатания манифест. Все присутствующие были поражены, как громом, ибо никто ничего о нем не ведал, исключая Победоносцева, который его писал. Дмитрий Алексеевич Милютин с юмором рассказывал мне эту сцену: как все накинулись на Победоносцева, требуя объяснения, и как он, растерянный и прижатый к стене, извинялся тем, что государь за ним прислал и велел написать манифест, а он только исполнил приказание и больше ничего

не знает. Игнатьев тоже притворился удивленным, хотя он, кажется, был внушителем всего дела. Государь, не имея духа прямо объясниться с своими министрами, прибегнул к этой уловке, которая всех поразила неожиданностью, а Россию привела в полное недоумение. Рассказывали, что одною из главных причин гнева государя на Лорис-Меликова было неисполнение его приказаний. В это время произошло побиение жидов в Киеве. Государь велел тотчас телеграфировать Дрентельну, чтобы он употребил военную силу; но Лорис, который всего более боялся за свою популярность, задержал телеграмму и едва ли даже не послал инструкций в ином смысле. Как бы то ни было, он тотчас понял, что манифест направлен против него и подал в отставку. Абаза с шумом вышел вместе с ним, несмотря на выраженное государем желание, чтобы он остался. Удар самолюбию был так силен, что на этот раз его покинула даже обычная осторожность. Скоро, однако, он получил положение, которое, сохраняя за ним полное влияние в финансовой сфере, гораздо более соответствовало его наклонности к лени. Он сделался председателем департамента экономии в Государственном совете. Заменивший его министр финансов, бывший при нем товарищем, Бунге следовал всем его внушениям, сам не имея ни малейшей устойчивости или инициативы. Это была утлая ладья, созданная для маленького пруда и пущенная в безбрежное море петербургских дел и интриг. Отличных душевных свойств, с основательными сведениями, но лишенный всякого характера и непривыкший вращаться в высших политических сферах, он двигался туда, куда его толкали. Приверженец свободы торговли и честный человек, он под давлением Абазы вводил покровительственную систему и приносил казенные деньги и народные интересы в жертву сахароварам, которые обогащались безмерно.

Что касается до Лорис-Меликова, то он понял, что роль его кончена, и уехал за границу, услаждаясь мыслью, что он остался популярнейшим человеком в России. Милютин также удалился в Крым, чтобы там наслаждаться свободой и покоем, подальше от опротивевших ему петербургских сфер. Он мог, по чувству долга, оставаться в этой среде, пока на нем лежало бремя военного управления, но быть свидетелем всех творящихся там гадостей было ему вовсе не по вкусу.

Узнавши из газет об отставке Лорис-Меликова и Абазы, я писал Победоносцеву:

«Если бы все эти непереваренные преобразовательные планы (о переустройстве уездного управления), а вместе с ними и прошедшие уже через Государственный совет общие меры по

крестьянскому вопросу канули в воду, то нельзя было бы не признать пользы происшедшего в правительстве поворота; но не могу скрыть от вас, что способ действия, насколько он мне известен, неспособен внушить доверия. Переговорим об этом с вами при свидании. Теперь же скажу вам одно: в настоящее время, более чем когда-либо, правительству необходимо доверие общества, между тем, в виду совершающихся перемен, Россия остается в полном недоумении. Перед нею происходит какая-то игра, в которой она ровно ничего не понимает. В Кирсанове, во время земского собрания, был получен манифест, и все спрашивали: что это значит? кто посягал на самодержавие? Внутри России об этом нет и вопроса. Для кого же пишутся манифесты? для посвященных в петербургские таинства? Все это убеждает меня еще более в необходимости приобщения к правительству земских элементов. Мне пишут из Петербурга, что в Государственном совете, при обсуждении обязательного выкупа, один Тимашев стоял за вознаграждение помещиков полностью. Неужели во всем составе этого собрания один только человек догадался, что скидка 20% есть конфискация, всего менее уместная, когда идет борьба с социализмом? С одними бюрократическими силами, любезнейший К. П., вы с своею задачей не справитесь. На бумаге будет сосредоточение власти, а на деле будет, как уже ныне есть, полное отсутствие власти; на бумаге будут платонические воззвания к обществу, а на деле будет все большее и большее разъединение. Когда же я в грустные минуты размышляю о возможных последствиях недавнего переворота, то мне представляются война, банкротство и затем конституция, дарованная совершенно неприготовленному к ней обществу. Дай бог, чтобы мои предчувствия не сбылись.»

В то же время я писал баронессе Раден:

«Пишу Вам из деревни, куда новости приходят так медленно, что мы только два дня тому назад узнали о великих переменах, происшедших в Петербурге. Итак, оказывается, что сказанное мною известной Вам даме осуществилось *. Я впрочем лично предупреждал Абазу. Я писал ему из Москвы в стиле Фемистокла. «Бей, но слушай! С принятою Вами диспозицией Вы проиграете Саламинское сражение...» И сражение проиграно для них и через них, а я — признаюсь — не особенно об этом сожалею, ибо под влиянием господ Домонтовича и компании они увлекли бы нас на путь социального переустройства, которое оказалось бы роковым для страны. Надеюсь, что преемники их не пойдут по тому же ложному пути, но я совершенно убежден, что находящимися в их руках средствами и орудиями

и они не сделают ничего путного. Во-первых, печально то, что битва была выиграна не в правильном сражении, но нанесенным в тыл ударом. Я жалею, что наш общий друг* дал вовлечь себя в подобные махинации. Только следуя по совершенно прямому пути, правительство может заслужить доверие. Как они не видят того, что, эти тайные происки компрометируют самый принцип, который они хотят поддерживать? Нельзя требовать от нашего друга,* чтобы он заставил правительство держаться твердой политики, ибо это не в его характере; но можно требовать, чтобы он никогда не давал других советов, кроме абсолютно честных. К несчастию я начинаю думать, что его можно повести куда угодно, и чем меньше у людей добросовестности, тем легче это им будет сделать. В результате страна ничего не понимает. Читают манифест, обращенный ко всем, но никто, за исключением тех, кто посвящен в происходящее за кулисами, не знает, против кого и против чего он направлен. А еще хуже то, что замкнутая бюрократическая сфера, составляющая правительство, все более и более суживается, и что в конце концов немногие лица, всем руководящие, останутся совершенно изолированными. В этих условиях как не пойти ко дну?.. Ну, поживем, — увидим, но будьте уверены, что ничего хорошего мы не увидим, если не обратятся к живым силам страны»*.

Победоносцев мне отвечал:

«Жалею, любезнейший Борис Николаевич, что не могу устно передать вам подробности о здешних событиях — всего не напишешь, да и нет возможности мне писать, ибо я непомерно занят и озабочен. Скажу вам только одно: манифест был *необходим*; в противном случае люди, обезумевшие от прикосновения к власти, вскоре привели бы нас к гибели. *Радоваться надобно,* что нет уже ни Лорис-Меликова, ни Абазы. Последний совсем потерял голову и уже не мог бы возвратиться к рассудку. Что будет дальше, ведает господь, но во всяком случае, о том, что произошло, жалеть нечего. Вы сами, думаю, согласились бы со мной, когда бы знали подробности дела; теперь же до вас доходят лишь сплетни, разросшиеся до громадных размеров, именно здесь в Петербурге.

К заседанию о выкупных платежах я всю ночь готовился и намерен был настаивать на том, что дело должно быть отложено. Готовился вытерпеть бурю, но ночью же меня телеграммою вызвали в Гатчину, и я не мог быть в заседании.

Впрочем, насколько можно было еще спасти дело, оно спасено. Решение будет несогласно с желанием авторов, и важ-

нейшая часть дела, т. е. оценка, будет отложена и представлена новому обсуждению при участии местных хозяев, которые будут сюда вызваны.»

Высказанные мною опасения насчет войны вызывались назначением Игнатьева. Он сделался министром внутренних дел, а вместе первенствующим лицом в государстве. Но трудно было ожидать, что он ограничится своей областью, в которой он к тому же был совершенным новичком. Как старый дипломат, которому ближе всего были иностранные дела, и который при том имел страсть во все мешаться и везде играть роль, он мог запустить лапу и в наши внешние сношения. Сделать это было для него тем легче, что он ловко умел играть на патриотической струнке, которой поддавались не только Победоносцев, но и сам государь. И когда вспоминалось, что он был главным виновником последней войны, и что его специальность состояла в том, чтобы везде мутить, то невольно возникало опасение за будущее. К счастью, влияние его было кратковременно, и он пал, прежде нежели мог наделать кутерьмы.

Что касается до внутренней его политики, то она, в сущности, мало чем отличалась от направления его предшественников. Он был человек живой и хорошо понимал, что с одною бюрократиею ничего не поделаешь; но у него не было ни основательности, ни знания страны. Все это он думал заменить изворотливостью и полным презрением к истине. И он хотел быть популярным, хотя заискивал более в московской, нежели в петербургской журналистике; и он хватался за всякие проекты и ничего не умел путным образом совершить, своим легкомыслием компрометируя то дело, за которое он принимался. Вследствие этого он скоро сломал себе шею.

Для обсуждения выкупного вопроса созваны были так называемые сведущие люди, или эксперты. В числе их были мои близкие друзья: Дмитриев, Щербатов, Дмитрий Самарин. Я не был приглашен. Игнатьев объяснял это тем, что он не мог обойти князя А. И. Васильчикова, который считался авторитетом, а между тем после нашего литературного столкновения нас нельзя было посадить в одну комиссию. Думаю, что это была отговорка. Князь Васильчиков вовсе даже не являлся в комиссию, а прислал только свое мнение. Какая была истинная причина, не знаю; вероятнее всего, меня считали не довольно податливым. Но я на это не сетовал, ибо я в это время погружен был в ученую работу, и от правительственных комиссий вообще и этой в особенности ничего путного не ожидал. Действительно, результат вышел печальный, и я мог только радоваться, что я

не был участником этой комедии. Проект Абазы был устранен, но вместо него сочинен был другой, который точно также, лишь другим способом, ниспровергал все положение 19 февраля и устраивал выкупы на совершенно новых основаниях. Самарин, который, как истинный славянофил, любил сочинять всякие фантастические планы, исписал по этому поводу целые кипы бумаги, и другие мои друзья все это подписали. Мало того: они вкупе ходатайствовали об отмене 166-й статьи Положения о выкупе, установляющей право каждого отдельного крестьянина выкупать свой надел. Приверженцам общинного владения эта статья была всегда бельмом в глазу; но я никак не мог понять, зачем это ходатайство подписал Дмитриев, который вовсе не разделял этих взглядов. Когда я его об этом допросил, он оправдывался тем, что нельзя было отделяться от других. Я нашел весьма странною такую систему компромиссов по коренным вопросам нашего гражданского быта.

К счастью, вся эта работа и это ходатайство пропали даром. Правительство, обуреваемое самыми разнородными проектами и предположениями, не знало, на что решиться, и остановилось наконец на предложенной некоторыми экспертами мере, которая сама по себе не имела никакого смысла, но которая, по крайней мере, оставляла существующий порядок неприкосновенным. В виде царской милости все выкупные платежи были понижены на один рубль. Это был, конечно, довольно дикий способ обращаться с финансовыми вопросами и внушать крестьянам понятие о том, что такое выкуп и собственность. Но кто у нас заботился о понятиях? Зато обязательный выкуп был установлен со скидкою двадцати процентов. Там был подарок, здесь была конфискация, но никто этим не тревожился.

Я писал по этому поводу Победоносцеву из деревни:

«Пишу к вам, любезнейший К. П., чтобы снова обратить ваше внимание на крестьянский вопрос, который, по доходящим до меня сведениям, получил от вызванных правительством экспертов совершенно неправильный оборот. Они, повидимому, хотели исправить нелепый проект Абазы, но никак не отставая от него в желании оказать крестьянам всевозможные льготы, а напротив расширяя заботу о меньшей братье. Филантропия дело похвальное, но надобно, чтобы она согласовалась со здравым смыслом и с государственными потребностями, а здесь я именно этого не вижу. Спрашивается, на каком основании можно произвести всеобщее понижение повинностей. Утверждать, что эти повинности слишком тяжелы в сравнении с тем, что крестьяне получили, нет возможности. Это значит прямо итти наперекор

истине. В нашей местности, например, крестьяне за $3^1/_2$ десятины на душу платят 7 р. 20 к. процентов и выкупа, между тем как наемная плата за одну десятину равняется 12—15 руб., т. е., если считать все три поля, от 8 до 10 рублей. Как же тут говорить о тяжести платежей? Если же взять в расчет выкупаемые повинности, то надобно сказать, что помещик по закону имел три рабочих дня в неделю, или 150 дней в году, мужских и женских (а в действительности брал больше). Считая мужской день (пеший и конный) средним числом по меньшей мере в 30 коп., а женский в 15 коп., выйдет 67 р. 50 к. с тягла, состоящего из $2^1/_2$ душ; ныне же с души идет оброчных 9 рублей, а выкупа всего 7 р. 20., т. е. с тягла оброка 22 р. 50 к., а выкупа всего 18 рублей, следовательно менее трети против прежнего. И этот расчет приложим ко всей России. Как же тут опять говорить о тяжести платежей? Если же понижение платежей должно быть просто милостью, то спрашивается: на каком основании вдруг одному сословию оказывается такая милость и из каких сумм? Думаю, что подобная мера будет не только вредною, но и опасною, ибо после этого крестьяне всегда будут ожидать такого рода милостей. Нет нелепого слуха, которому бы они не поверили. Наконец, если понижение вызывается тем, что есть избыток платежей, то гораздо лучше сократить срок и скорее разделаться со всею этой операцией. Это будет выгоднее и для государства и для самих крестьян. Одним словом, как я ни ломаю себе голову, я никак не могу придумать, на основании каких соображений эксперты пришли к такому выводу. Опасаюсь, что если правительство и общество будут взапуски друг перед другом играть в популярность, то бедной нашей России не сдобровать. Вероятно дело пойдет через Государственный совет. Как член сего филантропического заведения, обратите внимание на это дело. Вы один из немногих, способных сказать разумное слово. Когда я подумаю, что проекты Абазы прошли там единогласно, то мороз подирает по коже. Куда мы заберемся, наконец, с филантропиею и либерализмом?»

Столь же мало результатов принесли совещания сведущих людей и по другому вопросу, для обсуждения которого они были созваны, по вопросу об уменьшении пьянства. Это было наболевшее место в крестьянском быту; необходимо было принять меры против развращающего влияния фискальной системы. Каково же было удивление русского общества, когда узнали из газет, что сведущие люди, созванные правительством для изложения местных потребностей, в виду сокращения пьянства, стоят за общественные кабаки! Мудрено ли, что общество от

них отвернулось, и что они окончили свой век среди общего равнодушия, скомпрометировав то начало, которого они являлись представителями? Мудрено, ли что само правительство, не видя никакой помощи от призванных им к содействию представителей общества, перестало их созывать и довольствовалось своим чиновничеством, которое во всяком случае было для него удобнее? Но и тут вопрос окончательно получил чисто бюрократическое решение. После сведущих людей он обсуждался в разных других комиссиях и учреждениях. Мне самому довелось участвовать в обсуждении его Московским городским присутствием. В конце концов правительство решило его по своему. Для вида сделаны были некоторые изменения устава, вместо кабаков учреждены были винные лавочки, которые были те же кабаки под другим названием; созданы местные по питейным делам присутствия с участием выборных лиц, но в которых казна, разумеется имела перевес. В результате все осталось по старому. Винная продажа не только не сократилась, а увеличилась. Министерству финансов нужны были деньги, и оно, делая видимые уступки общественному мнению и требованиям нравственности, косвенными путями достигало своих целей. Вся эта процедура была, в сущности, только лицемерною комедией, в которой бюрократия обманывала и государя и общество.

Я с горестью следил за всеми этими мытарствами, убеждаясь более и более в пустоте всяких случайных правительственных комиссий и необходимости прочного учреждения, в котором могли бы вырабатываться и люди и понятия. Но я не мог не видеть, что все, что происходило у нас на глазах, способствовало отдалению в неопределенное будущее подобного учреждения. В этом случае, как и в других, Москва сбивала с толку провинцию и оказывала плохую услугу развитию общественного сознания. Думаю, что главное зло заключалось в распространенных в ней славянофильских идеях, представителем которых являлся Дмитрий Самарин, и которым поддавались Щербатов и другие. Чего ни прикасалось славянофильство, науки или практики, оно все портило. Отправляясь от ложных взглядов на прошедшее и настоящее, оно, вместо выяснения понятий, вносило в них смуту.

К тому же привело, наконец, и обсуждение реформы местного управления. Я сказал, что при Лорис-Меликове разослан был по губерниям целый ряд вопросов. Кирсановское экстренное собрание, на котором был получен манифест о самодержавии, было созвано именно по этому поводу. Все мы были убеждены,

что местное управление, в особенности крестьянское, нуждается в частных исправлениях, но что никакого общего преобразования не требуется. Главное зло заключалось в произволе волостных старшин и судов и в плохой организации поставленного над ними уездного присутствия. Это учреждение, по мысли, было совершенно правильно. Оно было составлено из разных выборных лиц, под председательством уездного предводителя, с приобщением к ним правительственных властей уезда. Но когда оно организовалось, в высших правительственных сферах господствовало уже недоверие к выборному началу, без которого, однако, не считали еще возможным обойтись. К тому же в это время в Петербурге не оставалось уже ни одного человека, способного выработать путный закон. Вследствие этого уездное присутствие, составленное из всех властей, было в сущности лишено всякой власти. С одним непременным членом на уезд оно не в состоянии было контролировать волостных старшин, а предоставленная ему кассация приговоров волостных судов была чистою нелепостью, обличавшею тот хаос, который господствовал в умах законодателей. Но исправить все эти недостатки можно было, не прибегая ни к какой ломке. Достаточно было увеличить число непременных членов и расширить их права, а для волостных судов учредить апелляционную инстанцию в виде судилища, составленного из волостных заседателей под председательством мирового судьи. Этим, вместе с тем, связывались обе части местного суда, общий и крестьянский, дотоле разобщенные, и открывалась возможность связать общий гражданский закон с местными обычаями.

С этой точки зрения, Кирсановское земское собрание, ответив на все частные, присланные ему вопросы, по моему предложению сделало следующее единогласное постановление:

«Представляя ответы на предложенные ему вопросы, в видах исправления оказавшихся в жизни недостатков существующих учреждений, Кирсановское уездное земское собрание считает вместе с тем долгом заявить перед правительством: что в общих чертах оно признает преобразования, совершенные в местном управлении в прошедшее царствование вполне соответствующими настоящим потребностям земства и нуждающимися лишь в добросовестном исполнении; что оно дорожит дарованными ему правами и видит единственный залог будущего преуспеяния в охранении, упрочении и развитии существующих учреждений; всякое же коренное изменение в местном управлении считает нежелательным и вредным, а стремление к общей ломке столь недавно установленного порядка положительно опасным.»

Вместе с тем, брат Владимир, по соглашению со мною, представил отдельное мнение с указанием всех недостатков уездного присутствия.

Но пока мы думали только о сохранении существующего, Москва и Петербург пели совершенно на другой лад: Дмитрий Самарин печатал в газете Аксакова свои мысли насчет переустройства всего уезда; Московская земская комиссия, с своей стороны, фантазировала в полном тумане. Социалистическая газета «Земство», издаваемая Скалоном на деньги Кошелева*, тянула ту же ноту. В Петербурге легкий политико-эконом, В. П. Безобразов, писал либеральные статьи о необходимости расширить права земства; ему вторил столь же легкий профессор Градовский, никогда не видавший в глаза земского собрания*. Само правительство гнуло в ту же сторону. Мудрено ли было окончательно сбить с толку слабые русские головы, и без того склонные постоянно кидаться то в одну, то в другую крайность и всего менее способные держаться благоразумной середины? Вспоминаю по этому поводу разговор, который мне случилось иметь в Петербурге с известным английским путешественником Макензи-Уоллесом. «Знаете ли, что меня в России поражает,—сказал он;—это — то, что я не встречал еще человека, который был бы консерватором в том смысле, в каком понимают это англичане, то-есть стоял бы за постепенное улучшение существующего. У вас одни хотят все ломать в видах прогресса, другие хотят все ломать, чтобы итти назад». — «Позвольте представить вам в моем лице один из экземпляров этой редкой породы», — отвечал я.

Я разослал разным лицам постановление Кирсановского собрания, между прочим, Победоносцеву, которому я писал:

«Посылаю вам для сведения постановление нашего уездного собрания по поводу предполагаемых реформ в администрации. Мы имели в виду дать отпор тем стремлениям к ломке, которые проявляются и в правительственных сферах и даже среди земских людей. Москва служит примером последнего. Дмитрий Самарин говорил мне, что Игнатьев будто бы разделяет его взгляд на переустройство уездов. Это было бы очень грустно, ибо уезды ни в какой перестройке не нуждаются».

Победоносцев отвечал мне:

«Думается мне, что благоразумнее было бы Кирсановскому уезду воздержаться от заявления. В одном месте заявляют одно, в другом другое; что же тут хорошего?»

Мне такой взгляд показался весьма странным. Повидимому, такое постановление должно было итти совершенно на руку истинному охранителю, а выходило наоборот: не надобно было высказывать консервативных идей, потому что другие могут высказать противное. Эта черта рисует Победоносцева, кото-

рый все хотел делать втихомолку и считал всякое гласное выражение мнений со стороны управляемых делом опасным.

Из уездов вопрос был перенесен в Губернское собрание. Легкая простуда помешала мне прибыть к началу заседаний. Когда я приехал, была уже составлена комиссия, в которую я, в моем отсутствии, был избран членом. Комиссия собиралась в течение нескольких вечеров; происходили горячие споры, образовалось большинство и меньшинство. Коренной вопрос заключался в слиянии крестьянского управления с земским. За это стояло большинство комиссии, которое хотело вручить органам земства все управление уезда, за исключением полиции. Но держась этого начала, оно не могло согласиться насчет приложения, и в докладе своем Губернскому собранию созналось, что оно, вследствие разногласия, не касается подробностей. Меньшинство состояло из брата Владимира и князя Чолокаева, которые восставали против самого принципа. Я подписал их мнение, но при этом счел нужным подробно изложить свой взгляд, который и внес в собрание в виде особого мнения. Помещаю его здесь:

Мнение члена комиссии Б. Н. Чичерина

Учреждения, дарованные России императрицею Екатериной, в течение почти целого столетия служили основанием местного управления. Они были приспособлены к тогдашнему быту, дворянскому и крепостному. С освобождением крестьян они отжили свой век; надобно было заменить их новою системою. Преобразования прошедшего царствования исполнили эту задачу. Они устроили местное управление на совершенно новых началах, примененных к изменившемуся жизненному порядку.

Основания этой новой системы заключаются в разделении властей, правительственной, земской и судебной. Правительственная власть осталась во главе управления; заведывая делами, касающимися общих государственных интересов, она вместе с тем контролирует остальные власти. Земство получило свой особый круг действия; ему вверены все хозяйственные интересы местности. Судебная власть, в виде мировых учреждений, состоит от него в некоторой зависимости, ибо мировые судьи избираются земскими собраниями, но тем не менее она имеет свои особые органы, которые действуют на основании общих законов. Наконец, и контроль над общинным управлением, городским и сельским, получил особую организацию. Первый сосредоточился в Губернском по городским делам присутствии, второй в Губернском и Уездных по крестьянским делам присутствиях.

Можно сказать, что мысль, лежащая в основании этой системы, совершенно верна и вполне отвечает насущным потребностям обновленного русского общества. Существеннейший вопрос заключается здесь в отношении правительственной власти к земской. Это отношение может быть двоякое: слияние ведомств и их разделение. В странах, где правительственная власть имеет силу, где она не ограничивается страдательною ролью, слияние ведомств неизбежно ведет к тому, что она остается цент-

ром местного управления. Такова система французско-бельгийская, где префект или губернатор является исполнительным органом по всем делам, а рядом с ним учреждаются состоящие под его председательством выборные советы, которых решение или согласие требуется в указанных законом случаях. Вытекающее отсюда преобладание бюрократического начала умеряется в конституционном правлении тем, что министры, которым подчинены начальники областей, в свою очередь состоят в зависимости от народного представительства. Этой сдержки нет в самодержавном правлении, а потому здесь единственное средство дать земству относительную самостоятельность состоит в том, чтобы отмежевать ему особую сферу деятельности, где бы оно являлось вполне хозяином. Это и есть то, что было сделано у нас. Нет сомнения, что эта система, как и всякая другая, имеет свои невыгодные стороны; но при данных условиях, это единственный способ поставить земство на ноги, не подчиняя его, с одной стороны, бюрократической власти, а с другой стороны, не расширяя его деятельности в ущерб государственному управлению, и не возлагая на него таких задач, которые оно не в состоянии исполнить.

На практике, эта система дала выгодные результаты. Земство приобрело самостоятельность и ведает предоставленные ему хозяйственные дела настолько успешно, насколько позволяют ему его силы и средства. Многие жалуются на то, что оно слишком стеснено в своей деятельности, чему приписывают неустройство земского хозяйства. Беспристрастный взгляд на дело не позволяет разделять это мнение. В действительности, ни установленные законом границы, ни вмешательство правительственной власти не препятствуют правильной деятельности земства. Оно чинит дороги, строит мосты, ведает подводную повинность, заводит больницы, нанимает докторов, управляет своими богоугодными заведениями, сиротскими домами, фельдшерскими школами и т. п. без всякого препятствия со стороны кого бы то ни было. Относительно продовольствия и страхования, ничто не мешает ему, вместо того, чтобы действовать через волостные правления, и без того обремененные делами, иметь своих собственных агентов, им назначаемых и вполне ему подчиненных. Это отчасти и делается. Единственное затруднение, которое оно иногда встречает, состоит в недостатке денег. Подати, как государственные, так и земские, взыскиваются не земством; понуждение исходит от правительственных агентов, причем нередко взносы за счет земства обращаются на пополнение государственных податей, а земские сборы остаются в недоимке. Но лекарство против этого зла находится в значительной степени в руках самого земства. Председатель управы и уездный исправник, оба состоят членами уездного по крестьянским делам присутствия. При достаточной настойчивости со стороны первого недоимки будут взыскиваться, как доказывает практика. Земская управа может и воспрепятствовать злоупотреблениям, проверяя взносы по волостным книгам и предъявляя жалобы всякий раз как взнос, сделанный за счет земства, обращается на государственные подати. Наконец, есть весьма простое средство притти в этом отношении к совершенно удовлетворительным результатам, не ломая без нужды учреждений. Надобно ходатайствовать о том, чтобы подати государственные и земские вносились в казначейство безразлично, но так, чтобы первые всегда составляли известную долю общей суммы. Тогда недоимки будут распределяться соразмерно.

Ощущаемое в иных местах неустройство земского хозяйства зависит вовсе не от ограниченной сферы деятельности земского управления, а от недостатка наличных сил и средств. Всякому, принимающему близкое

участие в делах, известно, как трудно составить дельную управу, а тем более заместить удовлетворительным образом те должности, выбор в которые предоставлен земству. Наличных сил у нас положительно недостает. Недостаток и денежных средств. Чтобы привести дорожные сооружения и медицинскую часть в положение, соответствующее потребностям благоустроенного общества, нужно несравненно больше денег. нежели какими мы можем располагать при бедности нашего населения. А если так, то не в расширении деятельности земства надобно искать лекарства против ощущаемого зла. Там, где не имеется средств для приведения вверенной части в надлежащее положение, не надобно забирать еще больше дел.

В действительности, то неустройство, которое оказывается на практике, касается даже вовсе не земского хозяйства, а крестьянского управления. В этом все согласны, и все указания уездных собраний направлены именно в эту сторону. Неустройство же крестьянского управления проистекает от недостаточного контроля. Из учреждений, созданных в прошедшее царствование, менее всех удачными оказались позднейшие, именно, присутствия, установленные для контроля. Составленные из разнородных элементов, приспособленные более для коллегиальных приговоров, нежели для действия, они могли применяться к городскому управлению, содержащему в себе более сил, а потому способному стоять на своих ногах, но они гораздо менее применялись к крестьянскому управлению, которое по неразвитости населения требовало ближайшего надзора и даже некоторой опеки. В этом заключается то зло, на которое все жалуются, и сама практика указывает против него лекарство. Практическая потребность состоит в том, чтобы подтянуть крестьянское управление, для чего необходимо усилить деятельность контролирующего учреждения, то-есть, уездного присутствия. Такова именно была цель, которую предположило себе Губернское собрание в своих ответах на вопросы, поставленные министерством внутренних дел. Если прибавить к этому необходимость снять с волостного старшины все излишние, обременяющие его дела, то этим ограничиваются все те преобразования, которые требуются на практике в крестьянской администрации.

Но не одна только крестьянская администрация находится в расстроенном состоянии. Таково же положение и крестьянского суда. И он нуждается в высшем контроле. Крестьянам необходим особенный суд: они им дорожат и неохотно бы с ним расстались. У них есть свои, разнообразные, хотя довольно шаткие обычаи, которые служат им руководством при решении гражданских споров. У них есть свои наказания, за которые они стоят, ибо штрафы и тюремные заключения для них разорительнее розги. Волостным судом решается миролюбиво множество дел, которые даже и не вписываются в книги. Но с другой стороны, крестьянский суд, предоставленный себе, слишком часто подпадает под влияние волостного старшины, писаря или попойки. И его надобно подтянуть, связавши его с мировыми судебными учреждениями, и допустивши в той или в другой форме, апелляцию на его приговоры.

Таковы указанные практикою задачи, которых разрешение требуется в настоящее время. Для этого не нужно никакой ломки существующих учреждений; надобно только несколько усилить ныне действующие власти, давши им возможность ближайшим образом контролировать крестьянское управление. Итти далее, значит выходить из пределов указаний и пускаться в область теоретических идей и соображений, с тем, чтобы на основании их перестроить все существующее. Таково

именно направление тех, которые стремятся к слиянию крестьянского управления с земским.

Это слияние может быть произведено: 1) в мелких земских единицах, 2) в уезде.

Мелкою земскою единицею, соединяющею в себе все сословия, может быть приход, волость или округ. Но приход — единица слишком мелкая и притом случайная. Тут нередко окажется один более или менее крупный землевладелец среди целого крестьянского населения. Притом все, повидимому, согласны, что при существовании общинного владения, сельская община должна составлять отдельную хозяйственную единицу. Для влияния сословий требуется более широкое поприще. С другой стороны, округ слишком обширен. В административном отношении, трудно иметь дело с множеством мелких сельских обществ. В особенности для контроля над крестьянским управлением необходимо соединение крестьянских обществ в более крупные единицы. Таковыми именно являются волости. Сама жизнь указывает на волость, как на необходимую административную инстанцию, как для контроля над сельским управлением, так и для исполнения правительственных распоряжений в отношении к крестьянскому населению. Это явствует из того множества нужных и ненужных дел, которые взваливаются на волостного старшину, единственно потому, что он занимает место, куда силою вещей стекаются все дела. Можно сделать волости больше или меньше, дать ей то или другое название, на практике она всегда будет составлять необходимое административное звено, и если суждено совершиться слиянию сословий, то оно непременно совершится в ней. Мелкая земская единица есть всесословная волость. Ничего другого практически невозможно устроить.

Спрашивается, желательно ли в настоящее время учреждение у нас всесословной волости?

Для того, чтобы слияние совершилось законодательным путем, необходимо, чтобы оно было предварительно приготовлено жизнью, а именно этого мы в настоящее время не видим. Сословия могут сливаться в городах, где господствует среднее состояние, и между крайностями богатства и бедности существует множество посредствующих звеньев. Но в селах историею выработаны одни крайности; как же слить их воедино? Во всесословной волости несколько бывших помещиков, а иногда даже один, будут стоять рядом с массою крестьян; первые неизбежно потонут в толпе. Кроме антагонизма интересов, который может принять даже весьма острый характер, из этого ничего не может выйти.

Антагонизм окажется прежде всего в вопросе об обложении. Если всесословная волость будет единицею самоуправления то она необходимо будет и единицею самообложения. Между тем, волостные расходы, имеющие весьма существенное значение для крестьян, не имеют никакого значения для землевладельцев. Крестьянское управление находит в волости главный свой центр: взыскание податей, рекрутские списки, учет сельских старост, фактически составление приговоров, утверждение сделок, исполнение распоряжений правительства, надзор за исполнением сельских уставов, наконец суд—все это сосредоточивается в волости. С увеличением средств, вследствие привлечения помещичьих земель, предметы ведомства могут расшириться еще более. Крестьяне, образуя большинство, будут иметь возможность беспрепятственно черпать в кармане соседей на свои собственные нужды. И это будет тем заманчивее, что средства соседей нередко гораздо больше их собственных. Есть волости, где рядом с крестьянами, имеющими 3000 десятин, нахо-

дится один помещик, владеющий 20000; каковы же будут их взаимные отношения во всесословной волости? В настоящее время многие помещики приносят более или менее значительные жертвы для удовлетворения крестьянских нужд учреждением школ, медицинской помощью, ссудами денежными и хлебными; через это установляется и охраняется нравственная связь между бывшими крепостными и их прежними господами. Но как скоро крестьяне получат возможность облагать податьми своих бывших господ по своему усмотрению, так всякая нравственная связь исчезнет и заменится антагонизмом. При таких отношениях беспрерывные столкновения неизбежны.

Образованные элементы местности подчинятся необразованным не только в отношении к обложению, но и в отношении к управлению. Будет или не будет допущено самообложение земской единицы, установленное в ней управление во всяком случае распространится на всех, а это произведет существенное изменение отношений. В настоящее время помещик совершенно независим от волостного старшины; при всесословной волости он будет ему подчинен. Сделавшись выборным от земства, волостной старшина, или каким бы другим названием не украсился управляющий земским округом, будет общим начальником. Кем же будет замещаться эта должность? Многие мечтают о всесословных единицах в тех видах, чтобы во главе их стояли образованные люди, под руководством которых крестьянское управление воспрянет и процветет. Можно наверное сказать, что эти мечты не сбудутся: 1) потому что у нас в деревнях образованных элементов слишком мало; 2) потому что те образованные люди, которые живут в деревнях, не пойдут в должности волостного старшины. По существу своему эта должность хлопотливая и подчиненная; между тем, образованных людей, имеющих свои собственные дела, можно заманить только должностью, не требующею особенных хлопот и более или менее независимою. Конечно, найдутся несколько дилетантов, которые в порыве либеральных стремлений на первых порах пойдут в начальники волости. Но этот пыл скоро остынет, и в конце концов, кому бы ни был предоставлен выбор, самим ли жителям волости и уездному собранию, эта должность неизбежно попадет в руки малограмотных крестьян или мелких землевладельцев. Дай, бог, чтобы она не попала в руки радикала или нигилиста! Тогда придется бежать из деревень.

Таким образом, вместо ожидаемого слияния сословий пробудится между ними антагонизм; вместо возвышения образованных элементов, последует их порабощение. Одна возможность подобного исхода должна заставить задуматься всякого здравомыслящего человека.

Лучше ли будут результаты от слияния крестьянского управления с земским в уезде? В настоящее время контроль над крестьянским управлением принадлежит уездному по крестьянским делам присутствию. Оно большею частью состоит из лиц выборных от дворянства и земства. Во главе его стоит уездный предводитель, который есть вместе и председатель Земского собрания. В Присутствии заседает председатель управы, земством избираются непременные члены и мировые судьи. К выборным лицам присоединяется уездный исправник, что необходимо для согласного действия правительственных агентов с земскими в управлении уездом. Правительство имеет в уезде свои весьма существенные интересы, касающиеся общих нужд государства. Для наблюдения за ними оно имеет своего агента, исправника. Весьма важно, чтобы этот агент действовал не врозь, а в согласии с выборными людьми. Только этим путем может сохраниться гармония в уездном управлении, и

с этою именно целью исправник приобщается к уездному присутствию. Между тем, перенесение контроля над крестьянским управлением на уездную управу влечет за собой устранение исправника. В результате окажется одно из двух: или исправник останется самостоятельным агентом правительства по всем делам, касающимся общих государственных интересов, или он сделается чисто полицейским чиновником, все же остальные дела будут вверены управе. В первом случае правительственный агент не только вступит в антагонизм с управою, но в конце концов, как заведывающий высшими интересами государства, он может сделаться главным лицом в уезде. Во втором случае сама управа будет поставлена в положение исправника. К ней будут обращаться все требования и понуждения; она сделается агентом правительства на местах. Едва ли такое положение для нее желательно. Она потеряет свою независимость, и через это ее положение не возвысится, а умалится.

К тому же клонится и другая замена, которую влечет за собою подобное преобразование. С перенесением контроля над крестьянским управлением на уездную управу, председатель управы заступит место предводителя дворянства. Между тем, именно в этом случае предводитель дворянства совершенно на месте, а председатель управы был бы поставлен в ложное положение. Последний находится под контролем земского собрания, которым он избирается и которому он ответствует за все свои действия. Но в состоянии ли будет уездное собрание контролировать действия управы в отношении к крестьянскому управлению? Это более чем сомнительно. Мы знаем по опыту, до какой степени в настоящее время слаб даже контроль собраний над собственною деятельностью управы; контролировать же контроль управы над крестьянским управлением собрание положительно будет не в силах. Для этого было бы необходимо, чтобы члены ревизионных комиссий разъезжали по волостям и сами их ревизовали, чего, конечно, ожидать от них нельзя и что повело бы к бесконечным столкновениям. Высший контроль в этом отношении принадлежит не собранию, а правительственной власти, которая ни в каком случае не может от него отказаться, ибо с этим связаны существеннейшие интересы государства. Но через это управа будет поставлена под двойной контроль: с одной стороны земского собрания, с другой стороны начальника губернии. Она будет раздваиваться внутри себя, из чего неизбежно произойдут колебания, внутренний разлад, столкновения и антагонизм.

В совершенно ином положении находится предводитель дворянства. Он не состоит под контролем собрания; он отвечает за свои действия только перед высшею властью, а между тем независимое его положение, как представителя высшего сословия, безвозмездно отправляющего общественную службу, делает то, что власть должна с ним считаться. Предводитель дворянства есть лицо, занимающее должность историческую и почетную, а этого рода должности во всех странах мира имеют свой особенный характер, которого ничто заменить не может. Они, по своему аристократическому оттенку, служат самою сильною преградою напору бюрократии. Поэтому там, где эти должности выработались исторически, ими следует дорожить, а не заменять их без нужды демократическими выборами, которые, как доказывает всемирный опыт, гораздо менее способны противостоять действию власти. Земская управа, поставленная под ближайший контроль правительства, легко может превратиться в собрание чиновников, а подобный исход был бы гибелью всего земского дела.

Именно этого следует опасаться при сосредоточении всего уездного

управления в земской управе. Те, которые мечтают о таком порядке вещей, воображают себе, что правительство может все исполняющиеся на месте дела, как местные, так и государственные, вверить земству, оставаясь само на вершине, как высшая контролирующая власть. Подобная система возможна в федеративной республике, где всякое движение идет снизу, и где центральная власть, ограниченная самым тесным кругом деятельности, не нуждается в особых органах. Но в централизованном государстве, и особенно при самодержавном правлении, такое устройство администрации совершенно немыслимо. Тут правительство нуждается в собственных агентах, чрез посредство которых оно действует, исполняя все, что требуется в общих интересах государства. Власть, бессильная на местах, будет бессильна и в центре. Это все равно, что если бы мы в человеческом теле перерезали все нервные нити и оставили бы голову с правом проводить свою волю платоническими воззваниями к самостоятельной деятельности членов.

Власть, которой сила создана всею предшествующею историею и которая всегда была центром народной жизни, не может стать в такое положение. Если бы она приняла его сегодня, то завтра она будет принуждена взять назад то, что она дала, ибо от ее бездействия не может произойти ничего, кроме всеобщей анархии. А с своей стороны, русское земство в настоящем своем положении не может принять на себя подобного бремени. Если, как было указано выше, существенный недостаток нашего земского хозяйства заключается в скудости образованных сил, то можем ли мы, сверх наших земских дел, взять на себя ответственность и за ход крестьянского управления и за исполнение государственных требований? Это было бы через меру отважно и могло бы привести к совершенно обратному исходу. Кто слишком много захватывает, тот рискует потерять и то, что приобрел. При настоящем положении нашего земства, для него гораздо выгоднее и благоразумнее держаться в более тесной предоставленной ему сфере, не задаваясь слишком обширными задачами, и в особенности не притягивать к себе то, что по существу дела принадлежит государству и что неминуемо вызовет вмешательство государственной власти. В стремлении расширить свою деятельность земство очутится под опекою и слишком поздно узнает, что излишнее честолюбие может быть опасно.

Благоразумное соблюдение меры требуется и устойчивостью учреждений, которая составляет первое условие общественного преуспеяния. Крепкую опору общественным силам доставляют только те учреждения, которые не колеблются ежеминутно. В странах, где общественная свобода прочна, местные учреждения преобразуются не иначе как с величайшею осмотрительностью, медленно и постепенно. В Англии до сих пор в графствах, составляющих главный центр местного самоуправления, не только суд и администрация, но и самое обложение податьми находятся в руках мировых судей, назначаемых правительством. Но англичане, которые знают цену исторических учреждений, не касаются их, несмотря на то, что они коренным образом противоречат отвлеченным теоретическим требованиям. Даже в революционной стране, как Франция, которая каждые 15—20 лет меняет свой образ правления, административная система, созданная твердою рукою Наполеона I, остается непоколебимою, и только мало-по-малу к ней приобщались либеральные элементы, без изменений коренных оснований системы. Только вследствие этого французский народ мог выдерживать все политические бури и постоянно подвигаться вперед среди постигавших его разгромов. Пока на вершине все изменялось, внизу местная адми-

нистрация, с которой связываются и около которой группируются все местные интересы, охраняла частную жизнь от всяких колебаний. У нас же не прошло двадцати лет с тех пор, как нам дарованы учреждения, значительно расширившие наши права и положившие основание местному самоуправлению, а между тем мы уже готовы подвергнуть их коренной ломке и водворить новую систему. Такой способ действия не может привести к добру. Общество, которое каждые двадцать лет меняет свои местные учреждения, быстро идет к разложению. И без того у нас все отношения расшатались, а в умах господствует смута. Посягая на систему местного управления, мы только усилим смуту и внесем в общество еще больший разлад. Мы нарушим сложившиеся уже в жизни привычки и отношения и будем созидать новый порядок, черты которого нам самим представляются в тумане. Особенно в отношении к крестьянскому населению такой способ действия в высшей степени опасен. Не колебать существующее, не расшатывать и без того уже слишком расшатанные общественные отношения, а охранять и упрочить либеральные преобразования прошедшего царствования, такова истинная задача земских людей. Исполнить ее мы можем, только прочно становясь на почву существующего и изменяя дарованные нам учреждения только постепенно, по указаниям опыта, не нарушая жизненных привычек. Если же мы, покинув практическую почву, пустимся в неведомую даль, мы неминуемо придем к кровавой катастрофе, виною в которой будем мы сами. Всякий истинный русский гражданин должен употребить все усилия, чтобы предотвратить подобный исход.»

В собрании произошли горячие прения. Петр Борисович Бланк, бывший председатель губернской управы, известный составитель всяких проектов, в течение полутора часа распространялся о зловредности чиновничества и о необходимости передать все местные дела в ведение земства. Я возразил, что говорить против чиновничества легко, но устранить его невозможно, ибо оно составляет необходимый элемент всякого государственного управления. Весь вопрос заключается в том, как распределяются дела между ним и земством. Настоящие наши земские учреждения дают нам самостоятельный круг деятельности, которым мы при наличности наших сил и средств можем быть вполне удовлетворены. Требовать большего неблагоразумно, 1) потому что мы с этим не справимся; 2) потому что если мы возьмем в руки дела, по существу своему принадлежащие правительственной власти, мы неизбежно подпадем под опеку, и если один министр внутренних дел все нам отдает, то можно наверное сказать, что следующий все возьмет обратно, и мы, желая получить больше, потеряем ту независимость, которою мы ныне пользуемся. Стремиться к слиянию крестьянского управления с земским значит делать скачок в потемки, между тем, как существенная наша задача состоит в охранении дарованных нам учреждений и в постепенном их развитии по указаниям жизни. После меня городской голова Тимофеев, тамбовский адвокат,

ухватившись за выражение подтянуть, которое встречалось в моем особом мнении, с чисто адвокатскою уловкою стал развивать ту тему, что недостаточно все подтягивать: надобно удовлетворять потребностям населения, а насущная потребность состоит именно в слиянии крестьянского управления с земским, которые ныне разобщенные члены одного тела. Он уверял, что для исполнения этой задачи найдутся и люди, ибо учреждения пересоздают людей. На некоторых этот ораторский эффект подействовал. Я возразил, что подтягивание, о котором я говорил, относится вовсе не к населению, а к властям, злоупотребляющим своим правом и притесняющим население: существенная потребность последнего состоит именно в том, чтобы их подтянуть, и далее этого не идет. Мечтать же о пересоздании людей можно только совершенно покинув практическую почву. Но возможно ли было бороться против течения, когда и столичное земство, и печать, и само правительство взапуски друг перед другом били на общую ломку. Члены большинства комиссии усердно читали газету «Земство» и черпали свою мудрость из печатавшихся в ней прений московской комиссии. Трудно было стоять за охранительные начала, когда ревизующий сенатор Мордвинов с усмешкой спрашивал меня: «Неужели вы довольны валуевскими учреждениями?* А я совершенно согласен с статьями Безобразова и Градовского». Сам губернатор, недавно вернувшийся из Петербурга, объявил во всеуслышание, что в высших сферах вопрос считается решенным, и скоро все местное управление будет передано земству, а губернатор останется только наблюдающим органом. При таком общем безумии трезвый голос рассудка естественно должен был остаться в меньшинстве. Однако, из 42 членов собрания 18 подписали мое мнение, а 24 подали голос против. В сущности количество голосов было безразлично, ибо не постановлялось никакого решения, и оба мнения представлялись министру внутренних дел. Но столь значительное меньшинство, при господстве противоположных течений, убедило меня в том, что в России можно было составить разумно охранительную партию. Надобно было только собрать побольше людей, а не ограничиваться фантазирующими верхушками. Многие гласные, даже из большинства, просили меня напечатать мое особое мнение в виде отдельных оттисков для распространения между знакомыми, и управа обещала доставить мне 150 экземпляров; но губернатор наложил на это запрет, сказавши, что если я хочу напечатать отдельные оттиски, то могу обратиться в любую цензуру. Охранительные мнения постоянно считались у нас противоправительственными,

в то время в одном направлении, а недолго спустя в прямо противоположном.

Слишком скоро, увы, пришлось обернуть фронт и стоять за охранительные начала против торжествующей реакции, которая из всей этой смуты одна вышла победительницею. Вопросы, некстати поднятые Лорис-Меликовым, были решены, но совершенно в ином смысле, нежели предполагалось вначале. Работавшая над ними Кахановская комиссия, которая в первый период своего существования сочиняла для России всякие либеральные учреждения, с назначением графа Толстого министром внутренних дел внезапно повернула в противоположную сторону и по мановению сверху стала вырабатывать реакционные меры. Прошло немного лет, и вместо расширения прав земства последовало значительное их стеснение. Не только оно было лишено всякого влияния на крестьянское управление, но и мировые учреждения были уничтожены. Заведшийся было в России близкий к народу и правый суд, на который лучшие местные люди положили всю свою душу, внезапно был выброшен за окно и заменен системою чистейшего произвола. Управы были поставлены под непосредственный контроль губернаторов. Введены сословные выборы. Одним словом, вместо необдуманного шага вперед, который затевался в видах популярности, сделан был значительный шаг назад, в обоих случаях без малейшего практического повода. Так у нас самовластие, по минутной прихоти, гнет в ту или в другую сторону, не дорожа ничем, ломая все, что попадется ему под руку, не обращая никакого внимания на потребности жизни и на мнение общества. Бедное отечество!!

В том же губернском собрании мне довелось представить доклад по другому весьма важному делу, именно по вопросу об учреждении земского банка для содействия крестьянам в покупке земель. Этот вопрос был возбужден еще в 1880 году. В Тамбовское губернское собрание присланы были два проекта, один от Московского общества сельского хозяйства, другой от нескольких частных лиц, в числе которых были известные земские деятели, князь А. И. Васильчиков и Н. А. Ваганов. Для рассмотрения этих предложений была избрана комиссия, которой поручено было подготовить дело к будущему собранию. Я был выбран председателем и вместе докладчиком. Членами были князь Чолокаев, усманский уездный предводитель князь Вяземский, ныне управляющий Уделами, и елатомский помещик князь Кудашев. Мы решили между собою, что отдельные члены будут собирать сведения по своим уездам, а я взялся

пересмотреть земские статистические работы, которые в то время производились под руководством московского земского статистика Василия Ивановича Орлова, человека очень дельного, добросовестного и хорошего. На предварительное совещание мы условились собраться у меня в Москве, на масляниде. За несколько дней до назначенного срока я получил от Вяземского телеграмму с просьбой повременить день, другой, ибо он не может поспеть во время. Оказалось, однако, что приехал он один и привез с собой весьма дельную работу. Он лично объехал весь свой уезд и собрал нужные сведения. На основании этих данных и земской статистики по другим уездам, я и составил доклад, который был одобрен комиссиею и представлен в собрание. Приведу несколько подробные из него выписки, чтобы показать, как в то время благоразумные люди смотрели на этот вопрос, поныне возбуждающий столько толков.

Заключение было не в пользу учреждения банка. Прежде всего надобно было решить вопрос: действительно ли благосостояние крестья зависит от размера их надела? Рассматривая подробно статистические данные по Тамбовской губернии, особенно относительно количества скота, которое служит главным признаком благосостояния крестьян, мы пришли к заключению, что такого соответствия нет. Многие села государственных крестьян, пользующихся весьма значительным наделом, живут в бедности, между тем как иные села крестьян, даже состоящих на даровом наделе, оказываются зажиточными. Жалобы на обеднение слышатся со всех сторон, но причины этого явления весьма сложны.

Первою и главною причиною мы признали прирост народонаселения без соответствующего прироста капитала.

«Пока нераспаханной земли много,—сказано в докладе,—и прибывающее народонаселение может беспрепятственно расширяться на счет непочатых еще богатств природы, быстрое возрастание народонаселения, как умножение сил, составляет благо для страны. Это — период экстенсивного хозяйства. Но когда земли уже все распаханы, и естественные богатства не только не остаются в запасе, но постоянно истощаются обработкою, тогда прирост народонаселения должен сопровождаться соответствующим приростом капитала, который один может заменить скудеющие силы природы. В странах, где пустопорожних земель становится мало, и где поэтому экстенсивное хозяйство должно замениться интенсивным, прирост народонаселения, превышающий прирост капитала, есть зло, которое неизбежно должно вести к обеднению. А в таком именно положении находится центральная Россия. Крестьяне, как и встарь, продолжают основывать семейства с самых ранних лет; народонаселение растет, а привычка к сбережениям соответственно этому не возрастает. Но из этого самого ясно, что лекарство против подобного зла заключается не в расширении крестьянского землевладения, а в изменении нравов, которое может быть только плодом жизненного опыта. Если бы

сегодня наделы крестьян были увеличены, а народонаселение продолжало бы возрастать по прежнему, то завтра вопрос возник бы с новою силою. Как скоро оказывается необходимость от экстенсивного хозяйства перейти к интенсивному, так все внимание правительства и общества должно быть устремлено не на расширение землевладения, а на увеличение капитала.

У нас, к сожалению, не только народонаселение растет несоразмерно с капиталом, но есть причины, которые ведут прямо к уменьшению последнего. Сюда принадлежат прежде всего семейные разделы. Сдержанные в прежнее время властью помещика, они со времени освобождения приняли громадные размеры, а это не могло не отразиться самым вредным образом на благосостоянии крестьян. Устройство всякого нового двора, с одной стороны, поглощает капитал, а с другой стороны, раздробляя рабочие силы, уменьшает их производительность. Одинокий работник не только хуже обрабатывает свой собственный участок, но он не в состоянии иметь и тех посторонних заработков, какие получает многорабочая семья. Отсюда общее явление, что зажиточностью пользуются только те дворы, в которых есть несколько работников, одинокие же почти неизбежно беднеют.

К этому присоединяется и другая причина, столь же сильно поглощающая крестьянские сбережения, а именно, увеличившееся потребление вина со времени освобождения крестьян и введения акцизной системы. Из приведенных выше примеров видно, что отсутствие кабака составляет одно из важных условий благосостояния крестьян. У непьющих оказываются даже значительные сбережения, там, где кругом все принуждены прибегать к чужой помощи. До каких размеров простирается уничтожение этим способом народного капитала, видно из того, что по весьма тщательно собранным сведениям в Усманском и Липецком уездах в течение неурожайного 1880 года продано вина по 9 рублей на душу, что составляет почти $^3/_4$ повинностей, лежащих на бывших помещичьих крестьянах, и около $^9/_{10}$ повинностей, лежащих на государственных крестьянах. Если мы сообразим, что именно для уплаты повинностей крестьянин нередко сдает свою землю или подряжается под работу за низкие цены, то станет очевидным, что даже годовое сбережение на вине могло бы поставить крестьянина на несравненно лучшую ногу и таким образом значительно возвысить его благосостояние. Надобно надеяться, что правительство, которого внимание обращено на этот предмет, примет нужные меры; но если бы осуществилось предложение о возведении кабаков на степень общественных учреждений, что неизбежно сделало бы их центром общественного управления, то без сомнения, зло только бы усилилось.

И в настоящее время неустройство крестьянского управления составляет одну из причин, ведущих к обеднению крестьян. На это в нынешнем году указывали некоторые уездные собрания при обсуждении вопросов, присланных от министерства внутренних дел. С одной стороны, частые растраты, с другой стороны, повальное пьянство, которым нередко сопровождается мирское хозяйство, несомненно поглощают более или менее значительную часть крестьянского капитала. Помочь этому злу может только более строгий контроль со стороны высшей власти.

К причинам, уничтожающим капитал, присоединяются причины, задерживающие развитие промышленных сил. Сюда принадлежит главным образом общинное владение. Как скоро является потребность прилагать к земле капитал и заменять экстенсивную обработку интенсивною, так необходимо, чтобы земледелец был обеспечен в постоянном пользовании участком, в который он полагает свои деньги и свой труд. Пере-

делы же, существующие при системе общинного владения, ведут лишь к тому, что земля более и более истощается, вследствие чего крестьяне получают с нее менее и менее прибыли. Приведенный выше пример возрастающего благосостояния выселков, выделяющихся из общего владения, служит тому подтверждением. Только сидя на своей земле, крестьянин привыкает к той тщательной обработке, которая требуется изменившимися условиями жизни, и которая одна дает мелкому землевладению возможность конкурировать с крупным...

Наконец, важнейшею причиною частного обеднения крестьян является самая дарованная им свобода. Если свобода развязывает руки сильным, то она губит слабых. Крепостного человека помещик мог поддерживать, принуждать к работе, наказывать за пьянство, наконец, отдавать в рекруты, если он окончательно оказывался неисправимым. Свободный же человек должен стоять на своих ногах; кто не в состоянии держаться сам, тот неизбежно валится. Вследствие этого свобода роковым образом ведет к обогащению одних и к обеднению других, и это служит первым признаком движения вперед. Неподвижная масса остается в безразличном состоянии; но как скоро в ней проявляется движение, так различные ее элементы отделяются друг от друга, одни движутся скорее, другие медленнее, одни забегают вперед, другие остаются позади. В обществе является разнообразие положений, которое составляет необходимое следствие разнообразия сил и первое условие общественного преуспеяния. Нынешний наш сельский быт на каждом шагу представляет тому пример. В приведенном выше описании Мураевенской волости, сделанном г. Семеновым, можно видеть, каким образом общее возвышение благосостояния, происшедшее со времени освобождения, произвело движение в обе стороны: одни разбогатели, другие обеднели. Этим же объясняется, почему среди государственных крестьян, долее пользовавшихся свободою, встречается большее неравенство, нежели между помещичьими. Такое обеднение части народонаселения, бесспорно, составляет прискорбное явление; но предупредить это зло, вытекающее из самой природы вещей, нет возможности. Свобода, благодетельная в общем итоге, имеет свои темные строны, с которыми необходимо мириться. Уничтожить их нельзя иначе, как посягнувши на то коренное начало, которое делает человека ответственным за свои действия. Для того, чтобы поддержать равномерный уровень, надобно задержать развитие высших и употребить принуждение против низших, то-есть уничтожить свободу. Сохранение же равенства при свободе не что иное как химера.»

«При таких условиях, – спрашивали мы, – можно ли признать расширение крестьянского землевладения общественной потребностью? Это было бы слишком опрометчиво. В этом деле надобно руководствоваться не туманною филантропиею, а трезвым взглядом на вещи и ясным пониманием того, что общество может и должно делать для своих членов.

«Составители проектов земских банков имели в виду обеспечение земельною собственностью именно беднейшей части населения, которая страдает, по их мнению, от недостаточности наделов. Между тем, с точки зрения народного хозяйства, вовсе не желателен переход земель в руки тех, которые всего менее способны извлечь из нее настоящую выгоду. Как скоро земля начинает истощаться и вследствие того оказывается необходимость перейти к интенсивной обработке и прилагать к земледелию капитал, так является естественное стремление к переходу земель в руки капиталистов, и это стремление вполне соответствует требованиям общественной пользы Взгляд на купеческое хозяйство, как на хищничество, и старания, минуя капиталистов, перевести землю в руки

крестьян, как настоящих земледельцев, равно противоречит и здравым экономическим понятиям и указаниям практики. Нет сомнения, что в местностях, где есть еще непочатые естественные богатства, земля может сделаться предметом спекуляции: аферист покупает ее затем, чтобы, взяв с нее хорошую прибыль, сбыть ее потом с рук; но такой способ действия совершенно неприложим к местностям, где приходится не извлекать капитал из земли, а вкладывать в нее капитал, чтобы получить доход. В действительности, самое хищническое хозяйство есть хозяйство крестьян, которые обыкновенно берут из земли все, что можно, и не возвращают ей ничего. С точки зрения общественной пользы, гораздо выгоднее, чтобы неимущий крестьянин обрабатывал землю, нанимаясь у капиталиста, нежели чтобы он сам приобретал ее в долг. В первом случае земля дает много, во втором почти ничего.

Весьма часто это будет выгоднее и для самого крестьянина. Кредит не всегда есть благодеяние; он может быть и разорением. Кредитом, также как и свободою, надобно уметь пользоваться; иначе он может погубить заемщика. Летопись помещичьих займов в кредитных установлениях служит тому живым доказательством. В особенности кредит опасен, когда он дается в широких размерах человеку, не имеющему других средств. Притом общественный кредит еще опаснее частного: у него нет жалости, он не входит в соображение обстоятельств, он действует, как машина; иначе он не может существовать».

Мы рассматривали расчеты составителей проектов. Оказывалось, что заемщик, получая 0,62 покупной цены, должен был платить с них 11,4%, а в первые три года даже 12%. Мы доказывали, что подобная плата разорительна. Допуская, что могут быть случаи, когда крестьянам выгодно купить землю, даже платя высокие проценты, мы утверждали, что таким требованиям вполне могут удовлетворить частные банки.

«Замена частных банков земским, — говорилось в докладе, — может быть желательна единственно в том случае, если бы последний мог доставить заемщикам большие выгоды, нежели первый, либо увеличением размера ссуд, либо дешевизною кредита... Но возвышение размера ссуд колеблет самые основания банка. Неизбежные ошибки при оценке земель, возможное падение ценности земель от случайных обстоятельств, наконец, неизбежные потери при продаже с публичных торгов в случае несостоятельности, все это заставляет существующие банки не выдавать ссуд свыше $^3/_4$ оценочной суммы. При высшем размере пришлось бы оценку делать строже, но тогда покупатель не получил бы никакой выгоды от увеличенного размера. Можно даже опасаться, что возвышенный размер ссуд вместо благодеяния окажет обратное действие. Кроме совершенно исключительных случаев, где земля продается за бесценок, нельзя признать ни правильным, ни полезным в хозяйственном отношении покупку земель на чужие деньги. Назначение кредита — давать помощь, а не служить заменою собственного капитала. Кто покупает имение, не имея гроша в кармане, тот почти наверное разоряется. Можно еще платить высокие проценты на половину ценности имения, ибо остальная свободная половина служит обеспечением уплаты, но нельзя платить проценты на всю ценность имения. Тут истинным собственником является уже не покупщик, а заимодавец, которому заложена земля, покупщик же в отношении к нему становится в положение закабален-

ного на многие годы должника, работающего над чужим капиталом и обязанного доставлять с него хозяину хорошую прибыль. Землю, обремененную долгами, следует не покупать, а продавать. А потому невозможно признать возвышенный размер ссуд выгодною для кого бы то ни было хозяйственною операциею.

Что касается дешевого кредита, то он всегда дается на счет когонибудь. Размер процентов определяется ходячею ценностью капиталов. Где капиталов мало, а требование на них большое, там процент неизбежно будет высок; с накоплением же капиталов уменьшается и процент. Поэтому понижение процента против ходячего размера может рассматриваться только как подарок, который делается заемщику. Но при системе закладных листов такой подарок совершенно немыслим, ибо здесь земство становится посредником между имеющими капиталы и желающими их получить. Оно может установить какой угодно процент, истинный процент будет определяться курсом закладных листов; а так как никто не купит последних, если они приносят меньше процентов, нежели можно получить иным путем, то очевидно, что этим способом невозможно достигнуть дешевизны кредита.

Иное дело, если бы земство стало собирать деньги посредством податей и выдавать их взаймы за низкие проценты. К этой именно системе приходят защитники дешевого кредита. Но такой способ действия нельзя назвать иначе, как злоупотреблением земского права. Это значит насильственно брать собственность у одних, с тем, чтобы выдавать ее в ссуду другим по уменьшенной цене. Заемщикам делается подарок на счет плательщиков».

«По всем этим причинам,— заключали мы,— комиссия не может признать проект учреждения земского банка, или кассы для поземельного кредита, приложимым к нашей губернии. Нельзя не согласиться, что положение крестьян, находящихся на третном или четвертном наделе, во многих случаях весьма печально; но этому злу не поможет покупка дорогих земель на чужие деньги, занятые по высоким процентам людьми, едва имеющими насущное пропитание. Подспорьем в этих случаях служат сторонние заработки или наем земель. Пользуясь этими средствами, с помощью трудолюбия, крестьяне, находящиеся на даровом наделе, в некоторых местах достигли значительного благосостояния. Там же, где эти средства оказываются недостаточными, остается крайнее прибежище нужды—выселение. Крестьяне могут продать свои земли и свой скот и с помощью приобретенного этим путем капитала искать себе выгодных мест. В России необработанных пространств много, и недостатка в них не может быть. Однако и этим средством надобно пользоваться крайне осторожно. Без сомнения, свободному человеку нельзя помешать уйти туда, где ему выгоднее жить. Это его право, и в этом состоит, вместе с тем, и требование общественной пользы, которая достигается наиболее выгодным для народонаселения размещением рабочих сил. Но иное дело свобода, иное дело искусственное содействие переселенцам. В последнем случае нельзя не настаивать на необходимости величайшей осмотрительности. Правительство может и должно ограждать переселяющихся от разорения, доставляя им возможность получать точные сведения о свободных землях, которые они могут приобрести. Но идти далее того, поощрять переселение вызовами, пособиями и льготами, было бы опасно. Может быть, следовало что-нибудь сделать для безземельных, но точных данных на этот счет не имеется, и никакой общей меры советовать нельзя. В свободном обществе, не государство и не земство должны распределять промышленные силы; они распределяются сами собою, свободным пере-

движением. Искусственные же меры приносят более вреда, нежели пользы.

Вообще, надобно сказать, что наш земледельческий быт находится в настоящее время в переходном состоянии. Ни способы обработки земли, ни покупные и арендные цены, ни заработная плата не установились прочным образом, так что трудно сделать надлежащий хозяйственный расчет на более или менее продолжительное время. Причины кроются отчасти в переходе от крепостного труда к свободному, отчасти в необходимости перейти от экстенсивного хозяйства к интенсивному, наконец в колебаниях цен и в неустойчивости монетной единицы. С падением курса на металлический рубль, все должно подниматься в цене; но это поднятие происходит неравномерно. В особенности заработная плата нередко остается позади. Если бы случилось новое понижение, то произошло бы новое замешательство, неизбежно сопряженное с страданиями и потерями. При такой неопределенности, всякие общие меры представляются преждевременными. Иначе можно переходное явление принять за постоянное и нанести зло, которое потом трудно исправить.»

Земское собрание согласилось с заключениями комиссии и отклонило проект земского банка. Но вскоре, как известно, само правительство создало это филантропическое учреждение, которое, однако, имело весьма печальный исход. Много крестьян разорилось покупкою земель, иные даже после нескольких взносов прекратили платежи, считая их для себя невыгодными. На руках банка осталось громадное количество земель, с которыми он не знал, что делать. Наконец, он принужден был по возможности сокращать ссуды и превратился почти что в номинальное заемное учреждение. Теперь идет речь о радикальном его преобразовании.

Но этим благотворительный кредит не ограничился. Вслед за тем создано было другое подобное же учреждение, только в пользу другого сословия. В направлении правительства внезапно совершился перелом: за крестьянскою эрою последовала эра дворянская. И наверху и внизу начали хлопотать о поддержании дворянского землевладения, которое само никак не умело поддерживаться. С этою целью учрежден был Дворянский банк. Помещикам не только давались ссуды по весьма низким процентам, но им прямо делались неожиданные подарки, за исключением тех лиц, которые были закабалены в Обществе взаимного поземельного кредита: они почему-то остались париями. Скоро, однако, и этот благотворительный банк пришел к невозможности продолжать свои дела. Чтобы поддержать его, пришлось прибегнуть к безнравственному средству лотерейного займа. И благородное российское дворянство в восторженных и раболепных выражениях подавало благодарственные адреса за то, что ему путем развращения народа кидали грошевую подачку. Вот, до чего мы дожили, чего же нам ожидать впереди.

К счастью земство от всего этого осталось в стороне; на него только безвинно сыпались удар за ударом.

По окончании земского собрания я поехал в Москву с целью печатать вторую часть моего сочинения «Собственность и государство. * Я все лето и осень усердно над ним работал и перед самым отъездом из деревни привел его к концу. Теперь надлежало издать его в свет. Но тут я неожиданно был призван к деятельности на совершенно новом для меня поприще.

СЛУЖБА МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ

Я приехал в Москву 17 декабря. * В тот же день я виделся с Щербатовым. Мы толковали о земских делах, об общем положении, о замешательствах в Московской городской думе, где Щербатов состоял гласным. Перед тем, вследствие бурного заседания по вопросу о Сокольничьей роще, городской голова Третьяков подал в отставку и уехал за границу. Кого выберут на его место, нельзя было угадать, кандидатов не было в виду.

На следующее утро Щербатов приехал ко мне. «А я к тебе с неожиданным предложением,—сказал он.—Тебя прочат в московские городские головы; согласен ли ты идти?».

Оказалось, что накануне, один из старейших и влиятельнейших членов Думы, купец Аксенов, приехал совещаться о выборах с Дмитрием Самариным, который тоже был гласным и пользовался в Думе большим уважением. Они перебирали разные лица, и все оказывались непригодными. Из купцов не было ни одного, который имел бы достаточный авторитет, чтобы совладеть с довольно трудным в то время положением, а из дворян не на ком было остановиться. Наконец, Самарин назвал меня. «Да чего же лучше, — сказал Аксенов, — нечего больше искать». И с этим предложением он отправился к Щербатову. Последнему эта комбинация не приходила даже в голову, так далеко я стоял от Думы, но с радостью ухватился за эту мысль.

Аксенова я знал уже прежде. В 1868 году, перед моим выходом из университета, мне случилось быть с ним вместе присяжным. Мы две недели сидели в суде, часто беседовали, даже ночевали в одной комнате. Обоюдное впечатление было самое благоприятное. Аксенов был отличный человек, тихий, благочестивый, но с характером, нечто в роде патриарха между купцами, притом с образованными и умеренно либеральными стремлениями. Для себя он ничего не искал, но во всех думских делах ему поручались переговоры и улажение столкновений.

Я ни на минуту не колебался принять предложение. Я был свободный человек; предпринятый мною ученый труд был кончен, и я мог располагать своим временем. Знакомство с земскими делами давало мне основание предполагать, что я справлюсь и с городскими. К тому же испробовать свои силы на таком поприще было лестно. Можно сказать, что это была самая видная выборная должность в России, должность, облеченная доверием, независимая и почетная. Как общественная деятельность, я большего ничего не желал.

Выборы назначены были в конце декабря, а мне надобно было еще приобрести ценз, которого у меня не было. Все это было устроено в миг. В один день найдена была земля, с стоявшим на ней ветхим домиком; друзья снабдили меня деньгами. Затруднение состояло в совершении купчей, так как перед рождеством наступили уже каникулы, и Окружный суд более не заседал. Но судьи согласились собраться на экстренное заседание специально для этого дела, и все было улажено.

Перед выборами устроено было несколько частных совещаний, на которые сзывались все сколько-нибудь выдающиеся гласные. Первое собрание происходило на дому у Щербатова. Но он в это время был болен, нервен и собирался с семьей за границу. Его отъезд даже поторопили, потому что он слишком волновался этим выбором и горячо принимал к сердцу мельчайшие инциденты. Он передал ведение дела Дмитрию Самарину, у которого было второе совещание. Моя кандидатура обсуждалась со всех сторон. Сильно поддержали меня члены Биржевого комитета, Бакланов и Санин, которые участвовали со мною в Барановской комиссии и видели мою работу; поддерживал и председатель Мирового съезда Греков, близкий приятель Станкевичей, человек отличный во всех отношениях, а также гласные Герье и Черинов, профессора Московского университета и мои друзья. Но и незнакомые мне люди старались добывать сведения, которые оказывались благоприятными. Один из дельных членов Думы, купец Шилов, заявил на собрании, что он справлялся обо мне у знакомого ему председателя одной из тамбовских уездных управ, и тот сказал, что если я пойду, то это будет для Москвы приобретение. Он предложил дать адрес этого господина всякому, кто захочет проверить эту справку. Немедленно встал один гласный из мещан и записал адрес.

На предварительном заседании Думы, в котором предлагались кандидаты, я по запискам получил 93 голоса. Против меня были некоторые радикалы, как то, Скворцов, редактор «Русских ведомостей», Плевако, Ланин и другие, которые видели во мне край-

него консерватора. В печати против меня высказался Гиляров, редактор «Современных известий». Но все эти господа имели мало влияния. На выборах я получил 101 избирательных и 56 неизбирательных шаров. Единственным, впрочем, не сериозным конкурентом был разорившийся аферист Пороховщиков, * который получил 34 голоса. Вторым кандидатом, в сущности только для формы, выбран был Василий Дмитриевич Аксенов.

Утверждение последовало уже во второй половине января. В промежуток случился инцидент, который с самого начала поставил меня в хорошие отношения с столичною властью. Генерал-губернатор, в силу предоставленных ему чрезвычайных полномочий, издал обязательные постановления о дежурстве дворников и об освещении дворов. Эти правила, обременительные для домовладельцев, строго говоря, имели весьма отдаленное отношение к преследованию и предупреждению политических преступлений, в виду которых введено было Положение об охране. Об этом возбуждены были прения в заседании Думы, происходившем под председательством товарища головы Сумбула. Вопрос поднял член Судебной палаты Охлябинин, человек высокой души, независимый и благородный, но не отличавшийся осторожностью. Он оспаривал не только уместность и пользу, но и самую законность этих постановлений. Его поддержал Герье. Дума решила просить генерал-губернатора об отмене этих постановлений, как слишком обременительных для домовладельцев, и вместе обратиться к высшей власти за точным разъяснением прав, предоставленных генерал-губернатору Положением об охране. Не будучи гласным, я сидел в публике, но откровенно высказал свои впечатления. Мне казалось, что при обширности полномочий, данных генерал-губернатору, оспаривать законность его распоряжений было невозможно, а требование разъяснений ни к чему не вело: если хотели добиться отмены новых постановлений, то надобно было действовать иным путем, не восстановляя против себя лицо, их издавшее. Мое суждение, которое немедленно же было передано по принадлежности, расположило князя Долгорукого в мою пользу, а постановление Думы, напротив, поставило его на дыбы, так что на первых порах от него ничего нельзя было добиться. Уже впоследствии, как я расскажу ниже, мне удалось склонить его на уступку.

Уведомление о моем утверждении было препровождено мне официальным путем через генерал-губернатора; но при этом Игнатьев прислал мне лично телеграмму с поздравлением и пожеланием полного успеха в новой деятельности. Как только

я получил официальную бумагу, я собрал думу. Гласные были почти в полном составе; публики было множество. Это было событие в московской жизни. Я открыл заседание следующею речью:

«Милостивые государи. Прежде, нежели я открою заседание, позвольте мне сказать несколько слов. Прошу извинения в том, что мне придется отчасти говорить о себе; надеюсь, что это будет в первый и последний раз. Говорить о себе и неловко и неприятно. Но в настоящую минуту я чувствую в этом потребность, ибо вам угодно было призвать на эту почетную должность человека стороннего, никогда не принимавшего участия в делах Московского городского управления, человека, большинству из вас лично совершенно незнакомого.

Многие, пожалуй, могут даже не считать меня москвичом. И точно, я родился в провинции; я все свое детство провел в провинции; там мой семейный и имущественный центр; там я принимал более или менее деятельное участие в делах земства. Куда бы ни поставила меня судьба или доверие моих сограждан, я родной своей Тамбовской губернии всегда буду верен. Но это самое делает мое положение в некотором отношении выгодным. Я позволю себе по этому поводу припомнить черту из истории средневековых городов. Многие вольные города, из самых значительных, имели обычай призывать своих городских голов из чужих городов. Почему они это делали? Не потому, что у них не было достойнейших граждан, которым могли быть вверены общественные дела, а потому что они думали в этом найти большие гарантии беспристрастия. Если вы, м.м. г.г., обратив на меня свое внимание, искали человека, который, стоя поодаль от внутренних партий, поставил бы себе высшею целью соблюдение справедливости, то я постараюсь сделать так, чтобы вы не ошиблись в своем расчете. Я не боюсь это сказать, ибо есть нравственные начала, которые каждый человек обязан носить в своей душе, и когда он их сознает, он не должен бояться высказывать их, как основные правила своей деятельности.

Однако, м.м. г.г., когда я настоящий выбор сравнил с тем, что происходило в средневековых городах, то я не хотел этим сказать, что связь Москвы с русскою провинциею такая же, какая существовала некогда между вольными городами. Те были независимые друг от друга державные общины; Москва же для русской провинции составляет центр, куда стекаются все силы, и где они получают свою духовную пищу. Москве не чуждо ничто русское, ибо Москва, это не только город с несколькими сотнями тысяч жителей; она не ограничена в своих выборах

пределами столицы. Вы доказали, что вы шире понимаете свое призвание. Москва, это все, что думает и чувствует в России и за Россию; Москве принадлежит всякий, в ком бьется русское сердце.

Мы, уроженцы внутренних губерний, живо чувствуем эту связь. И я, м.м. г.г., хотя я родом не москвич, но я связан с Москвою всею своею жизнью, и умственно и сердечно. В Москве зародилась и протекла вся моя умственная жизнь. Я учился в Московском университете, и этого времени я никогда не забуду. Я семь лет служил Московскому университету. Москве я обязан всем своим умственным достоянием, и это я считаю для себя великим счастием, ибо только в умственной жизни Москвы можно обрести те крепкие основы, то верное понимание смысла русской истории, то чутье истинных потребностей народной жизни, которые предохраняют от легкомысленных увлечений и от слепого следования за мимолетными авторитетами.

Я связан с Москвою и сердечно. В течение моего многолетнего жительства в здешней столице я обрел в ней лучших своих друзей, и между ними не могу не упомянуть об одном, с которым меня связывает тесная 35-летняя дружба с самой студенческой скамьи, и чье доброе и благородное имя так высоко стоит в летописях Московского городского самоуправления. Я счастлив тем, что мне довелось быть одним из его преемников, и я не могу не выразить сожаление, что его в настоящее время нет среди нас.

Ныне связь моя с Москвою сделалась еще теснее. Сделав меня своим городским головою, Москва как бы меня усыновила, признала меня своим, и это налагает на меня двойную обязанность служить ей всеми своими силами и способностями. Но здесь, м.м. г.г., я чувствую всю свою недостаточность. До сих пор моя жизнь была посвящена главным образом умственной работе. Если я в течение тринадцати лет принимал участие в делах земства, если нашему земству угодно было возлагать на меня даже сложные и важные практические поручения, если я участвовал в железнодорожных комиссиях, то что же все это в сравнении с теми громадными практическими интересами, которыми приходится заведывать в настоящее время. Я вполне сознаю, что для этого нужно несравненно более опытности, нежели та, которою я обладаю. Поэтому я прошу снисхождения к невольным ошибкам. Я прошу более, нежели снисхождения: я прошу содействия и помощи.

Здесь, м.м. г.г., позвольте мне высказать, как я понимаю отношение Думы к Управе.

Дума — хозяин города; Управа — ее уполномоченный. Поэтому вам, м.м. г.г., принадлежит прежде всего указание целей, а затем контроль над городским управлением. Этот контроль должен быть полный, всесторонний, вникающий во все подробности. Если я просил снисхождения, то это не значит, что я прошу закрывать глаза на мои ошибки. Напротив, только указанием ошибок они исправляются, и я смею уверить, что всякое добросовестное указание будет принято с должною благодарностью. Но для того, чтобы указания принесли настоящую пользу, надобно чтобы они были не отрывочны и случайны, а сображены со всем положением дела. Это лучше всего достигается ежегодными подробными ревизиями всего общественного хозяйства. Моя земская опытность привела меня к убеждению, что весьма часто ревизионными комиссиями дается толчок общественному делу, тогда как без этого Управа, занятая ежедневными текущими делами, легко может погрузиться в рутину. Я буду просить ежегодных ревизий и утверждений отчетов.

Но мало контроля, нужно еще содействие. Самоуправление, м.м. г.г., как я его понимаю, не состоит только в том, чтобы выбрать несколько человек, поручить им дела, и смотреть за тем, чтобы они не уклонялись от своих обязанностей. Самоуправление есть самодеятельность. Оно требует живого участия всех общественных сил. Без этого опять-таки всякий исполнительный орган легко может впасть в бюрократический формализм. Нет сомнения, что каждый из вас имеет свои частные дела, от которых трудно оторваться. Но общество вправе ожидать от своих членов, чтобы они часть своего досуга, а когда нужно, и своего рабочего времени, посвящали общественному делу. Без этого оно не пойдет. Задача же лица, поставленного во главе управления, состоит в том, чтобы воспользоваться этими силами, приготовить для них материал, сделаться для них средоточием. Он должен стараться устранять те мелкие пререкания, те личные столкновения, которые неизбежны везде, где люди сходятся для совокупного дела, но которые, повторяясь, роняют достоинство учреждения и умаляют значение его в глазах народа. Он должен стараться вывести общественные вопросы из низменной области личных интересов и самолюбий и поставить их на ту высоту, где имеется в виду интерес общий, который один может быть связующим началом плодотворной общественной деятельности.

Я не стану излагать вам подробности того, что нам предстоит делать в этом направлении. Если бы я, чуждый доселе Московскому городскому управлению, не успевши еще позна-

комиться порядком с его делами, вздумал выступить перед вами с готовою программою, вы, без сомнения, сочли бы меня весьма опрометчивым, а это — такое нарекание, которого я не желаю заслужить. Скажу только, что я постараюсь обратить особенное внимание на те вопросы, которые, повидимому, составляют больные места нашего общественного управления, а именно: 1) на потребность организации Думы и Управы, которые доселе не имеют ни регламента, ни инструкций, и 2) на финансовое положение города: когда представляется смета с 1 200 000 дефицита, то об этом надобно подумать.

Но ограничиваясь этими замечаниями на счет наших внутренних дел, я не могу не сказать несколько слов о другой, весьма важной стороне городского управления, именно о том, что можно назвать внешними сношениями. Хотя закон говорит, что городское общество в предоставленных ему пределах действует самостоятельно, однако вы все знаете, что эти пределы весьма растяжимы, и что внутри этой черты есть поводы к бесчисленным столкновениям и пререканиям. Городское общество не самостоятельная держава, которая все свои внутренние дела может решать по своему усмотрению. Городское общество есть член государственного организма, высшим же выражением этого организма является правительственная власть, которой мы, по этому самому, силою вещей подчинены. В какое же мы станем к ней отношение?

И тут, м.м. г.г., позвольте мне высказаться с полною откровенностью. Я желаю, чтобы вы знали, чего от меня можно и чего нельзя ожидать.

По своему характеру, по своим убеждениям, я не человек оппозиции. Я держусь охранительных начал, не в том, конечно, смысле, в каком нередко принимается у нас это выражение, которое выставляется каким-то пугалом, означающим врагов всякого улучшения, а в том смысле, какой может придавать ему разумный человек, любящий свободу, но понимающий необходимость чего-нибудь прочного в жизни. Я приверженец охранительных начал в том смысле, что я глубоко и живо чувствую потребность власти и порядка. Я вижу в этом завет всей русской истории и существеннейшую нужду настоящего смутного времени. Поэтому я всегда готов буду идти рука об руку с властью.

Но идти рука об руку с властью не значит поступаться своими правами, а еще менее отрекаться от независимости своих суждений. Человек с самостоятельным образом мыслей дает свое содействие не иначе как сознательно и свободно. Я уверен,

что в интересах самой власти встречать перед собою не страдательные только орудия, а живые, независимые силы, которые одни могут дать ей надлежащую поддержку, ибо тот, кто способен стоять за себя, может быть опорою для других. Поэтому нет хуже политики, как та, которая стремится сломать всякое сопротивление. Действуя таким образом, власть воображает иногда, что она увеличивает свою силу, а между тем, она подрывает собственные основы, и в минуты невзгоды она слишком поздно видит перед собою лишь надломленные орудия или встречает глухую оппозицию, способную произвести брожение, но неспособную ничего создать.

К счастью, пора такой политики миновала для России. Великими преобразованиями прошедшего царствования по всей русской земле вызваны к жизни самостоятельные силы; на этой почве мы можем твердо стоять. Но к общей скорби всех русских людей, глубоко запавшая нравственная болезнь, которая проявляется в страшных злодеяниях, остановила Россию в правильном ее гражданском развитии. Мы живем в трудное время, где приходится бороться с внутренними врагами, и это налагает на нас обязанность быть вдвойне осторожными в своих действиях. Мы должны обдумывать каждый свой шаг, дабы не поколебать и без того обуреваемую враждебными стихиями власть. Не покидая созданной для нас почвы права, мы должны стараться соблюдать счастливую середину между старыми привычками безусловной покорности и новыми стремлениями к безотчетной оппозиции, в чем, впрочем, нам не предстоит быть начинателями: нам нужно только держаться тех преданий независимой стойкости, соединенной с должным уважением к власти, которые утвердились в Московском городском управлении с самого начала преобразования его на новых либеральных началах. Прежде же всего, будем постоянно помнить, что русское государство в настоящее время находится не в нормальных условиях, и что только согласным действием правительства и общества мы можем победить гнетущий нас недуг и приготовить для своего отечества более светлое будущее. Я убежден, м.м. г.г., что, действуя так, мы ничего не проиграем. Напротив, только этим мы подвинем вперед общественное дело. И придет время, когда само правительство, видя в нас не элементы брожения, а охрану порядка почувствует потребность расширить тесный круг местного самоуправления и ввести общественное начало в общий строй русской государственной жизни. Не торопить раздражительно это время, не выступать вперед с неумеренными или несвоевременными требованиями или с притязаниями,

выходящими из пределов предоставленного нам круга деятельности, а с доверием ожидать решений верховной власти и показать себя достойными своего высокого призвания дружною деятельностью на общественную пользу, — такова, по моему мнению, должна быть наша политика. На этом пути, м.м. г.г., вы найдете меня всегда готовым посвятить все, что у меня есть сил и умения, не только на служение Московскому городскому самоуправлению, но и на поддержание того значения, которое Москва, как сосредоточие народной жизни, имеет и всегда будет иметь в истории русского общественного развития.»

Речь была встречена благоприятно и в Думе и в публике. * Гласные же подошли ко мне с поздравлением; некоторые с тех пор сделались моими горячими приверженцами. Дмитрий Самарин говорил мне, что у него впечатление было такое, что все было в меру. Аксаков, который сидел в зале в качестве зрителя, все время одобрительно кивал головой. Он потом писал мне: «Речь ваша была очень хороша и произвела серьезное впечатление. Даже Гиляров ею очень доволен и собирается принести перед вами свое извинение печатно». Щербатов извещал меня также из-за границы, что ему пишут из Москвы о хорошем впечатлении, произведенным этим началом.

Но не так посмотрело на дело столичное начальство. Генерал-губернатору понравилось то, что я говорил о необходимости власти и порядка, но вовсе не понравилось то, что я говорил о независимости. Все это он в печати велел выкинуть, так что речь явилась в «Московских ведомостях» совершенно обезображенною. Всем остальным газетам послано было предписание печатать ее не иначе как по цензурованному тексту.

Я узнал об этом уже в Петербурге, куда я отправился на следующий день после думского заседания. Надобно было представиться государю. Игнатьев встретил меня самым любезным образом. Я знал его уже прежде, а с семейством его жены был хорошо знаком еще с 50-х годов. Он пригласил меня на вечер и немедленно устроил аудиенцию. Государь принял меня в своем кабинете, *стоя*, сказал по обыкновению несколько незначущих слов, заметил только, что до сих пор никто еще не слыхал, чтобы хозяйство Москвы было с дефицитом.

Между тем, из Москвы Аксаков, которому я сообщил текст своей речи, писал мне: «Возвращаю вам вашу речь. Право, не мешало бы в Петербурге показать ее Игнатьеву и с его разрешения напечатать целиком. Не глупо ли со стороны Долгорукова компрометировать нового городского голову рассылкою чиновника по редакциям, чтобы не печатали речь в том виде,

как она была сказана, и не дозволять печатать то, что было произнесено публично, торжественно, на всю Москву! Не говорю уже о том, что этот голова — вы, что правительство должно прежде всего радоваться тому, что нашелся человек, мужественно исповедующий уважение к принципу власти и т. п.»

Я действительно представил Игнатьеву, что я вовсе не желаю являться перед публикою не с теми мыслями, которые мне принадлежат, а с теми, которые допускаются князем Долгоруким, прибавив, что и правительству нет никакой выгоды отталкивать от себя порядочных людей, и всякого независимого человека, даже с самым консервативным образом мыслей, волею или неволею ставить в ряды оппозиции. Он совершенно с этим согласился, показал полный текст речи государю и с его разрешения написал мне следующее письмо:

«Милостивый государь, Борис Николаевич, в знак особенного внимания к вашим личным качествам и направлению, известным правительству, и к Московскому городскому обществу, я признал возможным уклониться от цензурных правил и разрешить напечатать полностью вашу речь согласно представленному вами экземпляру».

Опущен был только конец фразы, в которой говорилось, что «придет время, когда само правительство, видя в нас не элемент брожения, а охрану порядку, почувствует потребность расширить тесный круг местного самоуправления и *ввести общественное начало в общий строй русской государственной жизни*». Игнатьев нашел это неудобным для печати.

Этот оборот был дан с целью не оскорбить князя Долгорукого, которого распоряжение таким образом отменялось. Однако он очень рассердился за такое неуважение к его приказаниям. Но еще более разгневался Катков, который тогда уже лестью и раболепством успел снискать расположение в самых высших сферах и не допускал никакого выражения независимых мнений. Игнатьеву пришлось выдержать от него целую бурю.*

Вернувшись в Москву, я принялся за совершенно незнакомую мне дотоле административную деятельность.

Московское городское самоуправление находилось в то время во второй фазе своего всесословного развития. Городовое Положение 1862 года *, отменив прежние, чисто сословные порядки, образовало Думу из выборных от пяти сословий, входивших в состав городских обывателей: от дворян потомственных, дворян личных, купцов, мещан и цеховых. Каждое из них имело равное с другими число представителей, чем самым давался некоторый перевес дворянству, за которым охотно следовали

другие сословия, тогда как в отношении к купцам они составляли некоторого рода оппозицию. Я сказал уже, что первым всесословным городским головой был мой старый друг, князь Александр Алексеевич Щербатов, который не только практически умел поставить управление на надлежащую ногу, но своею симпатическою натурою способен был вдохновлять городское общество, сообщая гласным воодушевлявший его благородный жар к общественному делу. Это было, бесспорно, лучшее время Московского городского управления, время юности и надежд. После шестилетней неутомимой работы, Щербатов почувствовал потребность отдыха. Он вышел, нашедши себе достойного преемника в князе Черкасском, который, хотя и не умел возбудить к себе всеобщее сочувствие, как его предшественник, но был человек с высшим умом, с громадною энергией, с благородными стремлениями, способный администратор. Для Москвы это был клад; но он пробыл всего два года. В 1871 г. он вышел, частью потому, что сам несколько тяготился мелкими городскими интересами после тех крупных государственных дел, которыми он призван был орудовать, частью вследствие поданного им адреса, который встречен был неблагосклонно со стороны государя. Говоря выше о Черкасском *, я уже сказал, что после долгого сопротивления адресу, на котором настаивали все, он наконец уступил, но решился не ограничиваться пошлою фразеологиею официальных документов, а воспользоваться случаем, чтобы высказаться в пользу расширения внутренней свободы *. Он сумел даже убедить генерал-губернатора, что государь с восторгом примет этот адрес. Тот ожидал себе похвал, как вдруг последовала страшная нахлобучка. Князь Долгорукий сам рассказывал мне, что у него уже были уложены чемоданы, и что только благодаря заступничеству императрицы он остался на месте. С тех пор он сделался крайне осторожным в отношении к политическим заявлениям городских голов.

Выходя, Черкасский говорил, что теперь настало время выбрать купца. Место его заступил Лямин, один из московских миллионеров, человек неглупый, осторожный, хорошо заправлявший своими частными делами, но без всякого образования и как голова, совершенно незначущий. На общественном поприще он прославился лишь тем, что отлично говорил наизусть речи, которые писал ему Аксаков. Но и он оставался недолго. В 1873 году всесословное устройство заменилось бессословным. Избиратели были разделены на три разряда, по количеству платимых ими податей. Вся сумма городских сборов делилась на три части. Самые крупные плательщики, которые уплачивали

первую треть, составляли первый разряд, средние второй, а мелкие третий. Каждый разряд избирал равное с другими количество гласных; но так как крупных плательщиков было меньше, то они естественно получали перевес.

Эта система, заимствованная у Пруссии, отдала городское управление в руки купечества, которое своим богатством значительно возвышалось над остальными сословиями. Юридическая бессословность фактически повела к преобладанию одного сословия. Иного исхода трудно было ожидать, ибо подкладка все-таки оставалась сословнаю. Купцы, мещане, ремесленники образовали отдельные корпорации с своими старшинами и выборными. Дворяне, с своей стороны, составляли самостоятельную корпорацию, стоящую вне городского общества, хотя многие из его членов, владея домами в городе, входили в состав последнего. Но с развитием Москвы, как промышленного центра, особенно после освобождения крестьян, дворянство, в отношении к материальному благосостоянию, не могло соперничать с купечеством. Последнее имело значительное большинство в первых двух разрядах, и только в третьем оно находило оппозицию в низших сословиях, которые имели тут перевес. Может быть, шаг к бессословности сделан был слишком рано, прежде нежели была подготовлена для него почва. Он фактически был как бы возвращением к старому порядку, однако при расширенных условиях и со включением сторонних элементов.

Имущественный перевес естественно вызвал в купечестве стремление к преобладанию. Это сказалось уже в выборе первого головы. Помня заслуги Щербатова, многие из влиятельных лиц в городе предложили ему кандидатуру, и он принял ее, желая воспользоваться своею опытностью и авторитетом для утверждения нового порядка на правильных основаниях. По запискам он получил наибольшее число голосов, так что выбор его считался обеспеченным. За ним шел Лямин. Но при баллотировке оказалось не то: Лямин получил перевес и был утвержден головой. Только проявились впрочем не одни купеческие стремления. Это была маленькая гадость, главным виновником которой был сделавшийся городским секретарем Митрофан Павлович Щепкин, человек умный, с обширными экономическими сведениями, работящий, но не брезгавший косвенными путями для достижения своих целей*. Он понимал, что при Щербатове он будет играть совершенно второстепенную роль, тогда как Ляминым он вертел, как хотел. Нужно было только переместить несколько голосов, чтобы дать перевес

последнему, и все средства были пущены в ход для достижения этого результата.

Однако на этот раз торжество купечества имело весьма плачевный или, лучше сказать, комический исход. Новый голова надел присвоенный ему новым Городовым положением мундир и поехал представляться генерал-губернатору. Затем надобно было явиться к губернатору, Петру Павловичу Дурново. Лямин спросил у Долгорукого, следует ли ему также ехать в мундире. Долгорукий, который любил, чтобы ему почет оказывался гораздо больший, нежели другим, и который притом с Дурново был в дурных отношениях, сказал, что это будет лишнее. Лямин поехал представляться во фраке. Но Дурново, который не любил шутить и не стеснялся в выражениях своего неудовольствия, так его распек, что растерянный миллионер, не привыкший к такому обращению, тотчас подал в отставку и с тех пор уже в головы не совался.

На место его был выбран не купец, а чиновник Данило Данилович Шумахер, человек отличный, дельный, работящий, давно состоявший гласным и принимавший горячо к сердцу городские интересы. Однако и ему не посчастливилось. Последовало крушение Коммерческого банка вследствие биржевых спекуляций, в которые, под влиянием известного Струсберга, пустился председатель правления Полянский. Шумахер, который до Полянского занимал эту должность, держал в банке не только свои капиталы, но и капиталы опекаемых им племянников. В минуту малодушия он вынул все эти деньги, когда банк уже прекратил платежи. Это произвело очень неблагоприятное впечатление, и хотя он, одумавшись, внес их обратно, однако свирепый прокурор Манассеин, ныне министр юстиции, привлек его к следствию и суду. Шумахер подал в отставку, как от казенной, так и от общественной службы, и его отставка была принята. Он сел на скамью подсудимых, и хотя был оправдан, однако его карьера навсегда была кончена *.

Последовало довольно продолжительное междуцарствие, после которого опять был выбран купец, Сергей Михайлович Третьяков, человек мягкий, добрый, пользовавшийся общим расположением, но без характера. При нем главными заправилами были товарищ головы Сумбул и член Управы Петунников, оба люди в высшей степени честные, независимые, трудолюбивые, но упрямые и кривотолки. Петунников в особенности приводил меня в изумление: он имел разнообразные и основательные сведения, был работник неутомимый; изучал всякое дело в подробностях, притом весьма неглупый, но всякий раз он бил

вовсе не туда, куда следовало. После выхода из Управы он писал статьи по самым крупным вопросам городского хозяйства, и меня всегда поражало, что он без всякого лукавого умысла постоянно оставлял в стороне самое существенное и упорно выезжал на второстепенных пунктах, что естественно придавало делу совершенно ложное освещение. Вдобавок все это приправлялось язвительными выходками и самоуверенным тоном, которые делали его писания крайне непривлекательными. И он, и Сумбул питали к Думе полнейшее презрение и считали себя вправе все делать собственною властью. Не мудрено, что они гласных поставили на дыбы. Дело кончилось скандалом по поводу введения нового хозяйства в Сокольничьей роще, о котором Дума не была спрошена. После бурного заседания Третьяков подал в отставку и уехал за границу. Вместе с ними просили об увольнении Сумубл, Петунников и член Управы Холмский.

В таком положении застал я городское управление. После всех этих тревог, при таком возбуждении страстей первая задача состояла, разумеется, в том, чтобы поладить с Думою. Она была главным хозяином города, собранием его представителей. С нею прежде всего надобно было считаться.

Большинство в ней, как сказано, принадлежало купцам. Из старого дворянства влиятельными гласными оставались Щербатов и Дмитрий Самарин. С ними всегда совещались по всем важным делам; но непосредственно в прениях Думы они принимали мало участия. Щербатов всю первую половину 82-го года был за границею, а по возвращении редко посещал заседания. На Самарина частью перешел тот почет, которым некогда пользовался старший брат его Юрий Федорович, который был одним из самых деятельных и авторитетных членов Думы, но и сам он вполне мог поддержать свое значение. Это был человек в высшей степени благородный и добросовестный, притом работящий, способный изучить и написать целые фолианты, вникающий во все подробности дела, за которое он принимался, вдобавок обладающий даром слова. Он был председателем Совета попечителей и попечительниц городских училищ; но в Думе он говорил редко и неохотно, только по особенно важным вопросам. Еще молчаливее был Александр Иванович Кошелев, который к тому же был глух; но он был полезным членом финансовой комиссии. Я всегда находил в нем дельную поддержку в правильном ведении городского хозяйства.

Из других лиц, не принадлежавших к купеческому сословию, выделялись медики и профессора: добросовестный и основательный, хотя далеко не всегда практический Герье * и вовсе

неосновательный Муромцев, доктора Черинов, Маклаков, Гагман. Медики имели существенное значение по санитарной и больничной части, которые составляли важную отрасль городского управления. В юридической комиссии, рассматривавшей разные жалобы, председательствовал дельный, хотя довольно радикальный адвокат Пржевальский, брат знаменитого путешественника *. Другой, еще более известный, адвокат Плевако был председателем Комиссии о пользах и нуждах, место, которое с таким блеском занимал некогда Юрий Федорович Самарин. Но несмотря на свой талант, Плевако стоял неизмеримо ниже своего предшественника: к городским делам он вообще относился весьма легко, а когда представлял доклад, то выезжал больше на фразах. В Комиссии об обязательных постановлениях работал председатель Мирового съезда Петр Николаевич Греков, о котором я уже говорил выше. Но главным деятелем был тут Николай Сергеевич Четвериков, добросовестный канцелярский чиновник, для которого буква закона был важнее всего. В специальных комиссиях, избираемых временно по тем или другим вопросам, нередко председательствовал упомянутый выше член Судебной палаты Охлябинин, который пользовался в Думе общим уважением, хотя практическое дело было не совсем по нем. Нельзя не упомянуть наконец и о девяностолетнем старце Грудеве, который заседал и поныне заседает в Думе более в качестве мощей.

Купеческое большинство было вообще невысокого уровня. Образования было очень мало, а участия к общественному делу, пожалуй, еще меньше. Работать умели весьма немногие; большая часть сидела молча и только подавала голос за своими вожаками. Добродетельною вывескою сословия был почтенный Василий Дмитриевич Аксенов, а главным заправилой Николай Александрович Найденов, председатель Биржевого комитета, представитель фирмы, существующей в Москве более ста лет и имеющий свой дом с обширным поместьем на Яузе *, чем он очень гордился. Найденов был человек очень умный и деловой, но хитрый, преследующий свои личные цели и на которого никак нельзя было положиться. Для него интерес купеческого сословия был несравненно выше городского, а свое личное значение выше всего. Это выражалось иногда довольно бесцеремонно. Так, например, при обсуждении санитарных мер насчет скота мне потребовались некоторые сведения о скотопригонном рынке, который находился в ведении купеческого общества, хотя было сомнение, не должен ли он по праву принадлежать городу. Я обратился к недавно выбранному купеческому старшине

Кольчугину, который обещал их составить. Когда я упомянул об этом в разговоре с Найденовым, он с некоторым азартом воскликнул. «Это он еще тут без году неделя; посмотрим, какие он даст сведения!». Действительно, я их не получил. В заседания Думы Найденов являлся не часто и говорил только по крупным финансовым вопросам; но как истинный московский патриот, готов был поддерживать все, что могло вести к возвеличению столицы.

За Найденовым следовали представители богатых торговых и фабричных московских фирм: Гучков, Ганешин, Ширяев, Залогин, всеми любимый и уважаемый Иван Кузьмич Бакланов, бывший с нами членом Барановской комиссии, Горбов, имевший несколько высшее образование и интересовавшийся школьным делом, братья Бахрушины, из которых Василий Алексеевич, человек удивительной доброты и чистоты, был главным двигателем сделанного ими основания названной их именем больницы. Это не мешало ему в то же время настойчиво добиваться грошевой уступки, вопреки установленным правилам, за помещение, нанимаемое ими на городском общественном дворе. Это было как раз вслед за пожертвованием; Герье, который случайно был свидетелем этого странного торга, пришел в изумление от этой черты русских купеческих нравов. К той же партии принадлежал и средней руки купец Осипов, в то время один из самых деятельных членов Думы, человек умный и толковый, но совершенно лишенный образования, с грубыми приемами и без всякой нравственной подкладки. Он был председателем Комиссии о мостовых, которая сама стремилась заведывать этим делом и от которой Управе часто приходилось защищаться. По этому поводу у меня было с ним довольно характеристическое столкновение, окончившееся благополучно. В заседании Думы в ответ на мое возражение по вопросу о мостовых, он сказал: «Городской голова заявил то-то; это — неправда». Я не успел еще сказать слова, как в собрании поднялся неописанный шум; все встали с места и закричали на Осипова: «вон! вон!» Тот в сердцах объявил, что не хочет более заседать в собрании и слагает с себя звание гласного; с тем он и вышел. Я благодарил Думу за поддержку. Однако, одумавшись, он понял, что был кругом виноват. Через день явились ко мне от него депутаты, В. А. Бахрушин и, кажется, Кольчугин, с извинением, прося как-нибудь уладить дело. Я сказал, что всегда был уверен, что необдуманное слово вырвалось у него в запальчивости, без всякого умысла, и как скоро он извиняется, так я считаю свое личное дело поконченным; но он оскорбил Думу, перед которой

он должен извиниться письменно. Набросан был проект письма. Меня просили дать Осипову возможность оставаться гласным. Я отвечал, что Думе неприлично его о том просить, но полагал, что после принесенного им извинения, я могу обратиться к Думе с просьбою разрешить мне сделать это от своего имени. О своем намерении я сообщил гласным, которые приехали ко мне с изъявлением сожаления по поводу происшедшей неприятности. Дума сочла нужным сделать большую манифестацию. Целою вереницею явились ко мне гласные на дом, признак порядочности чувств, одушевлявших собрание. В следующем заседании прочтено было редактированное мною извинительное письмо Осипова. Я просил Думу считать это дело поконченным и в знак примирения, чтобы не осталось от него и следа, позволить мне лично от себя просить Осипова взять назад свое заявление о выходе из гласных. Так и было сделано. Враги Осипова, которых было не мало, ибо он был одним из главных деятелей в походе, поведшем к отставке Третьякова, были этим недовольны и на меня за это пеняли; но я приобрел расположение, как самого виновника этих приключений, так и всех благоразумных и миролюбивых членов Думы. Не долго, впрочем, Осипов продолжал принимать деятельное участие в делах Московского городского управления. Вскоре он был выбран председателем Нижегородского биржевого комитета, и это отвлекло его в другую сторону.

Если старые купцы были, вообще, приверженцами Найденова, то молодые, напротив, стояли в резкой к нему оппозиции. Из них более всех выделялся Алексеев, которого тогда уже прочили мне в преемники, и который впоследствии сделался почти полновластным городским головой. Он был представителем одной из старейших и богатейших фирм в Москве. Мать его была гречанка, рожденная Бостанжогло *, и сам он соединил в себе хитрость и уклончивость грека с широкой разнузданностью русской натуры. Очень умный, необыкновенно живой, даровитый, энергический, неутомимый в работе, с большим практическим смыслом, обладающий даром слова, он как будто создан был для того, чтобы командовать и распоряжаться. Всякому делу, за которое он принимался, он отдавался весь; оно у него кипело, и он упорно и настойчиво доводил его до конца. Но образование он получил весьма скудное; воспитание не приучило его сдерживать необузданность в сущности несколько грубой натуры. Умом понимая благородные потребности и побуждения, умея подчас итти с ними в полном согласии, он нередко своими резкими приемами оскорблял не только

утонченные понятия изящного, но и простое чувство приличия. Этим он многих отталкивал от себя; зато многих привлекал своею даровитостью, а на других действовал своим сильным характером. В то время он не успел еще выказаться вполне и имел, можно сказать, более врагов, нежели друзей. Старые купцы его не любили, с Найденовым он был на ножах. Но я и тогда и впоследствии был с ним в наилучших отношениях. Меня пленяли блестящие и благородные стороны этой необыкновенно богатой натуры, а вместе подкупало то неизменное расположение, которое он всегда мне оказывал. Даже после моей отставки, когда я был в опале, открывая городское училище, учрежденное им в память своего отца, он в деревню прислал мне приглашение с письмом, которое меня тронуло, а затем и приветственную телеграмму. Сделавшись головой, он настаивал на том, чтобы я остался гласным в Думе, хотя я не жил более в Москве. С удовольствием отмечаю эти черты, которые показывают, что этот сын нашего русского купеческого сословия не раболепствовал перед властью, а умел держать себя независимо. Трагическая его смерть, застигшая его, по собственному его выражению, как солдата на посту, загладила все его темные стороны. Как блестящий метеор, он пронесся над Москвою, которая его не забудет.*

С Алексеемым рука об руку шли Шилов и Рукавишников. Одно время у них собирались поочередно, чтобы потолковать о думских делах и сговориться насчет тех или других вопросов. Шилов был купец среднего состояния, без образования, но весьма неглупый, сдержанный, практический. Он принимал живое участие в городских делах, изучал все доклады, говорил часто и нередко дельно, председательствовал в комиссиях, где вел дело основательно. Рукавишников, напротив, вследствие природной робости самолюбия, никогда не пускался в прения и редко участвовал в комиссиях. В собрании я не слыхал его голоса, но в личных отношениях находил его очень приятным. Студент Московского университета, с хорошими внешними формами, обладатель большого состояния, неглупый и деловитый, он весь был предан основанному его умершим братом приюту для малолетних преступников*. Под его руководством это заведение шло отлично, и он приносил для него большие жертвы. Однажды он приехал ко мне в Управу: «Вы знаете,—сказал он,— я человек боязливый; мне все как-то совестно перед Думой, что я ввожу ее в слишком большие расходы. Так вот я привез вам 50000 рублей для покрытия процентами лишних издержек». И он тут же передал мне эту сумму из рук в руки. После

смерти Алексеева, он почти против воли, уступая настойчивым просьбам и видя безвыходное положение, стал городским головой. Думаю, что лучшего выбора нельзя было сделать.

Из молодых купцов полезным членом Думы был Епанешников, тихий, скромный, добросовестный работник, умевший хорошо излагать свои мысли по финансовым вопросам, которые были его специальностью. Симпатическое впечатление производил и богатый, молодой Лепешкин, основатель общежития для студентов, которое отлично и совершенно втихомолку шло под руководством известного земского статистика В. И. Орлова. Особенную преданность ко мне выказывал Дунаев, который не раз даже приезжал совещаться со мною о своих личных делах и впоследствии сохранил ко мне неизменно хорошее расположение. Зато вовсе невыгодное впечатление производил принадлежавший также к поколению молодых купцов Иван Николаевич Мамонтов *. Заика и кривотолк, он говорил обо всем, придумывал и представлял самые обширные проекты, которые он отстаивал с величайшим упорством, но без малейшего практического смысла. Это была такая же язва собрания, как инженер Попов, который по всем техническим вопросам говорил бестолковые речи. В мое время несколько присмирела третья язва, выезжавший на громких либеральных фразах купец Ланин; он изредка продолжал еще разглагольствовать в собраниях, но большею частью довольствовался издаваемым им «Русским курьером». Из этих говорунов Мамонтов был самый неугомонный. Своею назойливостью он получил, однако, такой авторитет, что состоял председателем финансовой комиссии, одной из важнейших, и пользовался порядочною популярностью в третьем разряде гласных. Впоследствии они даже выставляли его своим кандидатом в городские головы.

Этот третий разряд, носивший прозвание текинцев *, состоял из мещан и ремесленников. В числе их было несколько совершенно нестерпимых болтунов: Жадаев *, Киселев, Серебряков, Смирнов. Иные из них были невежественно добродушны, другие себе на уме. Совались они всюду, говорили ежеминутно, обо всем и без всякого толку. Но зато это была единственная партия, крепко сплоченная и принимавшая живо к сердцу все городские дела. Они являлись почти всегда в полном составе, знали, чего хотели, и подавали голос, как один человек. Вследствие этого, при малейшем колебании или при недостаточном числе гласных из других разрядов, они получали перевес. Я говорил иногда, что наша Дума представляет отсутствующее дворянство, равнодушное купечество и наглую демократию.

При таких элементах надобно было держать ухо востро и подробно изучить каждое дело, чтобы всегда быть готовым отвечать на малейшее возражение. Это было тем необходимее, что председатель собрания был вместе с тем ответственным лицом за управление, следовательно предметом критики. Многие находили и находят такую двойственность положения неудобною и стоят за разделение этих двух должностей. Я не держусь этого мнения. Значение городского головы, непосредственно подчиненного правительственной власти, и без того достаточно стеснено; с разделением должностей оно еще более умалится. Голова потеряет всякую самостоятельность; он перестанет быть представителем города, а превратится в подчиненное орудие городского общества, останется предметом критики без соответствующего авторитета. С своей стороны, председатель собрания не приобретет значения, потерянного исполнительным органом. Не заведывая управлением, не будучи ответственным за дела, он не может иметь и того веса, который дается ведением дела, и не в состоянии отстаивать, как следует, городские интересы. И хорошо еще, если эти два лица будут действовать согласно; в случае розни, которая, при столкновении человеческих самолюбий, составляет явление заурядное, будут одинаково страдать и значение лиц, и интересы города. Такого исхода могут желать только те, которые стремятся к ослаблению и принижению городского управления, а не те, которые стоят за большую или меньшую его самостоятельность. Конечно, соединение председательства с исполнительною властью имеет свои невыгодные стороны; но они налагают только на председателя обязанность быть осторожным и не подавать повода к нареканиям деспотическим стеснением критики. Я постоянно держался этого правила. Меня даже упрекали в том, что я предоставляю слишком много простора пустой болтовне. Но я всегда думал и думаю, что председатель общественного собрания обязан давать высказаться всем, не допуская только уклонений в сторону от вопроса и направляя прения к надлежащей цели, что всего легче сделать председателю, который есть вместе исполнитель, ибо он во всякую минуту может дать надлежащие объяснения и указать важнейшие пункты. Алексеев вел дело иначе; он резко прекращал всякую болтовню, но зато собрание лишилось самостоятельности и превратилось в послушное орудие головы, что в общественном самоуправлении вовсе не желательно.

Меня упрекали в том, что я лично слишком часто вмешиваюсь в прения, вместо того, чтобы предоставить объяснения по делам членам Управы, заведующим отдельными частями

городского хозяйства. Но в этом отношении я был поставлен в особенное положение. Я в членах Управы находил хороших помощников в практическом ведении дела, но ни один из них не был в состоянии толково объясняться в собрании. Управа, при моем вступлении, подверглась значительным изменениям. Вместе с Третьяковым вышли все речистые члены: Сумбул, Петунников и Холмский. Место товарища городского головы занял старейший член Управы, Михаил Федорович Ушаков. Я решил его предложить после многих размышлений. Для меня, приступающего к совершенно новому для меня делу, было существенно важно иметь хорошего товарища. Но люди были мне столь же мало знакомы, как и дела. Я должен был полагаться на чужие рекомендации. Некоторые лица, которые были желательны, отказывались; другие, которых мне навязывали, были, напротив, вовсе не желательны. Генерал-губернатор рекомендовал мне своего родственника, земского кривотолка Оленина. Я отвечал, что будучи совершенно новым человеком, я не могу от себя проводить никого, а должен наперед осведомиться, какие есть шансы для выбора. Собравши справки, я сказал князю Долгорукову, что у Оленина шансов нет никаких, и я не могу взять на себя подвергнуть его родственника опасности быть забаллотированным. Сумбул советовал мне временно взять Ушакова, а там я увижу, ибо через год наступал законный срок для выбора товарища. Я так и сделал; но когда срок наступил, и мне предлагали разных кандидатов, я сказал, что я Михаила Федоровича обойти не могу. Так он и остался доселе товарищем городского головы.

Во многих отношениях это был полезный помощник. Он хорошо знал формальную часть дела; в этом на него можно было вполне положиться. Притом он был человек добрый, мягкий, любимый подчиненными. Председательствовать в Управе для текущих дел и заведывать личным составом было настоящим его призванием, которое он исполнял самым добросовестным образом. Но держать людей в руках и направлять их он был не в состоянии. Для него сделать человеку замечание было подвигом, на который он решался с трудом. Однажды Управа заседала под его председательством, а я сидел сбоку и слушал. Оказался крупный недосмотр одного из городских архитекторов, который пользовался некоторым почетом. Я настаивал на том, чтобы ему сделать выговор, в назидание остальным; но Михаил Федорович смотрел на это даже с каким-то испугом. Наконец, он обратился ко мне: «Ну, если вы так на этом настаиваете, так подпишите сами».—«Это я сделаю с величайшим удоволь-

ствием», отвечал я и тут же подписал, а за мною и остальные. В другой раз я просил его сказать экзекутору, чтобы он подал в отставку. Несколько дней спустя, я спросил его, сделано ли это. «Представьте, ведь он не хочет уходить», отвечал он с выражением полного недоумения. Я принужден был сам призвать экзекутора и объявить ему, что если он сам не подаст в отставку, то он будет уволен. При такой осторожности и нерешительности трудно было поручить ему какое-нибудь крупное дело, особенно требовавшее некоторой инициативы. Я возложил на него, между прочим, доклад по полицейской типографии, поступившей в ведение города. Он действительно написал довольно обширный доклад; но я был им не совсем доволен и указал ему на необходимость некоторых изменений. Эти изменения никогда не последовали; не знаю даже, был ли доклад когда-либо представлен в Думу. В собрании же Ушаков совершенно терялся. Скромный, тихий, боязливый, он не только не имел достаточной уверенности в себе, но не мог даже ясно высказать свою мысль. Случалось, что поутру он мне рассказывал дело совершенно отчетливо и толково, а когда я просил его вечером представить эти объяснения собранию, выходило совсем не то. Волею или неволею приходилось самому вмешиваться в прения.

Вместе с товарищем головы обновилась и вся Управа. На место выбывших членов выбраны были Трунин, Попов и Созонович. Вскоре вышел и Башкиров, которого заменил Бабаев. Из старых членов оставался один Кознов, человек не глупый, но далеко не деятельный; он вел свое скромное отделение и мало вступался в остальные дела. Трунин и Попов были инженеры. Первый, бывший управляющий Московско-Брестской железной дороги, был отличный человек, с литературным образованием, переводчик Фауста, знающий свое дело, но довольно неповоротливый и несколько ленивый. Попов, служивший прежде в земстве и вместе преподаватель в Петровской академии, был, напротив, деятелен и распорядителен; он подробно изучал всякое поручаемое ему дело; но насколько на него можно было положиться, не могу сказать. Лично я не имел повода на него жаловаться, а вскоре после меня он оставил Управу. Присутствие в Управе двух инженеров было для меня большим пособием. По всякому техническому вопросу, а их было не мало, можно было устроить совещание и рассмотреть дело с разных сторон. Созонович, которому вверено было строительное отделение, был человек отличных свойств, но мягкий, как воск, и еще молчаливее и боязливее Ушакова. Держать в руках городских

архитекторов он был решительно не в состоянии, вследствие чего в его отделение легко могли вкрадываться разные злоупотребления. Вполне отличный человек был и Бабаев, которому поручена была воинская часть. Впоследствии он сделался городским секретарем, заступив место внезапно умершего Строльмана, который еще до меня и при мне занимал эту должность. О нем ничего не могу сказать ни хорошего, ни дурного. Говорили про него, что он и нашим и вашим; но со мною он был всегда в очень хороших отношениях, добросовестно исполнял свою весьма немногосложную обязанность, влияния же не имел никакого и, надобно сказать к его чести, не добивался ничего.

Был еще член Управы, в ведении которого находились многочисленные городские училища. Занимавший эту должность Басистов умер летом 1882 года; надобно было его заменить. Я был в большом недоумении. Представлялось несколько кандидатов, но ни одного сколько-нибудь выдающегося или заявившего себя педагогическими способностями. В это время кто-то из знакомых барона Корфа, известного педагога, сообщил мне, что он был бы не прочь занять это место. Корф пользовался большою репутациею. Он был одним из главных инициаторов школьного дела в России. Некогда передовое Новгородское земство его чествовало и носило на руках. Юрий Федорович Самарин, занявшись народной педагогией, говорил о нем с большим уважением. Лично я встретился с ним в Петербурге, и он произвел на меня очень хорошее впечатление, как человек живой и вполне преданный своему делу. Я поручил его приятелю разведать обстоятельно о его намерениях, а между тем принялся за чтение его книг, которые мне понравились. К сожалению не с кем было потолковать основательно об этой кандидатуре. Время было летнее, и купцы были на Нижегородской ярмарке. Дмитрий Самарин, который в школьном деле считался главным авторитетом, находился еще в деревне. Но те гласные, с которыми мне доводилось говорить, сильно стояли за Корфа. Ко мне заехал Сумбул, который, узнавши о возможности иметь такого корифея народной школы, сказал, что о другом нечего и думать. На беду в это самое время Корф напечатал статью против затевавшихся тогда церковно-приходских училищ, за что «Московские ведомости» обрушились на него с обычною своей бесстыдною бранью. Прочитав статью Корфа, я нашел ее совершенно разумною и умеренною. Нападки московской газеты отличались всегдашнею ее бессовестностью; но на часть публики они произвели впечатление.

Я решился, как только станут собираться гласные, созвать

их на частное совещание по этому делу. Это я учинял всегда в библиотечной зале находившегося наверху музея в доме князя Голицына. Собрание было многочисленное, и прения весьма оживленные. Нападки на Корфа за антирелигиозное направление легко было устранить выдержками из его сочинений. С некоторым опасением смотрели на его кандидатуру попечители и попечительницы городских школ, которые ревниво оберегали свою самостоятельность и боялись, что он будет на нее посягать. Но я представил им, что Корф будет давать только советы, а собственною властью, без попечителей и Управы, ничего не может ввести. Сильно поддерживали его прогрессисты, с Кошелевым во главе; за него стоял также Алексеев, а равно и весь третий разряд гласных. Но старые благочестивые купцы были не совсем довольны. Аксенов даже не приехал в собрание, что было плохим знаком. Однако значительное большинство высказалось за кандидатуру Корфа. Он и по запискам из всех предложенных кандидатов получил наибольшее число голосов, вследствие чего я написал ему пригласительное письмо. В это время подъехал и Дмитрий Самарин, который был против него предубежден; но когда я дал ему прочесть сочинения Корфа, он с ним примирился и обещал свою поддержку.

Вскоре явился и сам Корф. Я познакомил его со всеми и ввел его в собрание гласных. Вообще он произвел хорошее впечатление. Дело, казалось, шло на лад, как вдруг все разом перевернулось. Именно в ту минуту, когда требовалась крайняя осторожность, наивный барон напечатал в одном из петербургских журналов, кажется в «Голосе», статью, наполненную восторженными похвалами новой французской народной школе. Начитавшись в «Journal Pédagogique» о тех громадных издержках, которые делаются во Франции для народного образования, и забывши о вызванном специальными политическими условиями чисто светском характере школы, идущем совершенно в разрез с потребностями России, забывши и о разных антирелигиозных демонстрациях, которые всего более производили впечатление на русскую публику, он указывал на Францию, как на образец, которому надобно следовать, и возвещал, что отныне там, а не в Германии, нам приходится учиться. Нельзя было скомпрометировать себя более неловким образом. Это значило прямо отнять у себя всякую почву.

Я ничего не знал об этой статье. Однажды, вернувшись домой, я нашел ее у себя на столе, с запиской Дмитрия Самарина. «Нельзя было оказать себе более медвежью услугу,—писал он,— как выступив теперь с статьею, которая баллотировке лица на

довольно второстепенную должность придает политическую окраску, между тем как именно эту окраску следовало стараться с нее снять. Эта статья имеет характер задорный: выступать перед публикой с такою статьей, в то время, как он более или менее келейно старается установить взгляд на себя, благоприятный для его баллотировки, по моему мнению, не совсем честно; либо, наконец, он уж очень тупоумен».

Прочитавши статью и зная настроение московского общества, я тотчас понял, что о кандидатуре Корфа не может быть более речи. Он был бы забаллотирован огромным большинством. Я прямо сказал это Самарину. Действительно, за него еще усерднее продолжали стоять одни радикалы, которые увидели в нем союзника, но масса, от которой зависел исход, от него отшатнулась.

Положение было неприятное. Приходилось отказываться от кандидатуры, которую я сам выставил. Я поехал к Корфу, откровенно изложил ему все обстоятельства дела и советовал взять свою кандидатуру назад в виду тех пререканий, которые она возбуждает в московском городском обществе. Повод был благовидный и совершенно достаточный. К сожалению, он этому совету не последовал. Кошелев с компанией сбили его с толку. Я получил от него письмо, в котором он объяснял, что ему несравненно легче перенести забаллотирование, нежели отказаться от баллотировки. «Последнее,—писал он,—значило бы признать себя виновным в чем-то предосудительном, лишающем меня права, в моих собственных глазах, баллотироваться; или же проявить отсутствие гражданского мужества, которое между тем, руководило до сих пор всею моею жизнью». Он уверял даже, что его отступление могло бы бросить тень на мою деятельность в отношении к его кандидатуре, между тем как именно его настойчивость ставила меня в неловкое положение, а отступление, по моему же совету, в виду возбужденных раздоров, не компрометировало никого. Обсудив дело с Щербатовым и Самариным, я созвал к себе новое, еще более многолюдное, собрание гласных. Я открыл его пространною речью, в которой выставил все заслуги барона Корфа, привел цитаты из его сочинений, доказывающие вполне правильный и консервативный его образ мыслей в педагогическом деле, а затем высказал, почему я после напечатанной им статьи не могу долее поддерживать его кандидатуру, вызывающую недоумение в самых искренних людях и вселяющую раздор в Московское городское общество. После меня Дмитрий Самарин изложил свои колебания, намерение поддерживать кандидатуру Корфа по прочтении

его сочинений и затем перемену мнения после статьи в «Голосе». В том же смысле говорил и старик Горбов, который принимал живое участие в учебном деле. В результате мне поручено было просить барона Корфа от имени гласных снять свою кандидатуру. Это я исполнил следующим письмом:

«Милостивый государь, Николай Александрович, собрание гласных, бывшее у меня вчера, признало нежелательным выставление кандидатуры, имеющей такую возбуждающую недоумение окраску, какую получила Ваша в настоящее время; но с другой стороны, вполне ценя ваши заслуги по делу народного образования и не желая подвергать вас шансам баллотировки, оно поручило мне просить Вас снять свою кандидатуру, в виду того разлада, который он вносит в Московское городское общество.

Исполняя это поручение, не могу не выразить вам искреннего сожаления по поводу оборота, который приняло это дело. Прошу вас вместе с тем быть уверенным в глубочайшем моем уважении и преданности».

Я нарочно сделал это сообщение письменно, чтобы дать ему возможность отвечать не с глазу на глаз, а перед лицом публики. Я сам повез ему письмо и предложил напечатать его вместе с ответом. Он согласился. Ответа я не сохранил в своих бумагах, но он был напечатан во всех газетах. Аксаков находил, что Корф придавал себе эффектную роль и что я напрасно предоставил ему все выгоды положения. Но я считал своею обязанностью, вызвав почтенного человека, дать ему возможность отступить с честью. Мы с Корфом расстались друзьями, хотя он был очень огорчен таким исходом дела. Говорили, что это даже ускорило его кончину.

Напечатание письма и ответа последовало уже после заседания Думы, на котором происходила баллотировка. Собралось великое множество гласных и публики; возбуждение было большое. Аксенов говорил мне, что вся эта толпа пришла, чтобы забаллотировать Корфа. Открывши заседание, я, сидя, что было замечено, спокойно объявил, что барон Корф снимает свою кандидатуру и вкратце рассказал причины. Нервное напряжение собрания разом отошло. Муромцев хотел говорить. Я сказал, что, по моему мнению, этот вопрос не подлежит обсуждению, а впрочем, как угодно собранию. Я поставил вопрос на голоса; прения были отклонены. Вместо Корфа был выбран учитель гимназии Лебедев, человек отличный, тихий, скромный, но вовсе не выдающийся педагог. Радикалы сорвали сердце в язвительной статейке, которая осталась без ответа.

Возбуждение массы сделалось для меня понятным, когда я после узнал о тех интригах, которые велись за кулисами. Еще до появления статьи Корфа приехал в Москву Победоносцев. Он пригласил меня шествовать с ним вместе на крестном ходе 12 октября, который совершается ежегодно в память освобождения Москвы от французов. Идя с ним рядом, я в разговоре между прочим сказал: «А вы знаете, что мы для училищной части приглашаем барона Корфа». Он, подумав немного, отвечал: «Я бы Корфа не взял». «Что же вы против него имеете?» спросил я. Он уклонился от ответа. Вскоре мы вошли в собор и разговор прекратился. И что же я узнал впоследствии? Победоносцев писал самые настойчивые письма епископу Амвросию, Аксенову и Найденову, убеждая их действовать на всех честных людей и всеми силами восставать против кандидатуры Корфа, которая, по его словам, составляла позор для Москвы*. Амвросий действительно собирал купцов и читал им письмо Победоносцева, которое, однако, надобно сказать, производило на многих слушателей скорее дурное впечатление. Вмешательство обер-прокурора в думскую кандидатуру гласные считали неприличным. Меня он, очевидно, не причислял к разряду честных людей, а потому и не старался меня убедить. Любопытнее всего, что он сам лично мне во всем этом признался, когда я стал упрекать его в таком образе действия.

Так кончилось это дело, которое было одним из наиболее бурных эпизодов моей общественной службы. Из этого можно видеть, как бережно и осторожно надобно было относиться к настроению Думы. Будучи новым человеком, я не успел еще приобрести надлежащего авторитета, а Управа издавна внушала к себе недоверие. За нею зорко следили; каждое лыко ставилось в строку. Были гласные, особенно из третьего разряда, которые старались всюду совать свой нос и отыскать какой-нибудь недосмотр. И под этим публичным и мелочным контролем приходилось вести обширное и сложное хозяйство, неся за него полную ответственность. Если текущие мелкие дела ведались Управою, то все сколько-нибудь крупные дела сосредоточивались в руках головы. Надобно было все изучить и всему дать направление. Мостовые, железноконные дороги, газовое и электрическое освещение, по которым приходилось заключать новые контракты, водопроводы, которые требовалось значительно расширить, планы канализации, свалки нечистот, составлявшие больное место городского хозяйства, пожарный обоз, который надобно было ремонтировать, больницы, школы, поддержание многочисленных городских строений и возведение новых, рас-

квартирование наполняющих столицу войск и содержание казарм, наконец рекрутский набор, который поглощал целый месяц, все это требовало бдительного внимания, а нередко и быстрых распоряжений. К этому присоединялась необходимость знакомиться с делопроизводством Управы, ревизовать отделения. Для человека, совершенно незнакомого со всеми этими отраслями, это был целый новый мир практических дел, внезапно обрушившийся на голову. Я ежедневно в десять часов утра отправлялся в Управу. В доме графа Шереметьева, на Воздвиженке, который в то время нанимался городским управлением, у головы не было даже отдельного кабинета*. Ему предоставлен был только маленький столик в углу залы, где заседала Управа, *под образами* как называли это место. Сюда с самого утра стекались всякого рода просители и деловые люди. Обыкновенно я сидел тут до двух или трех часов, если не было объездов и осмотров, что случалось довольно часто. Вечером, кроме еженедельных, а при обсуждении сметы и более частых заседаний Думы, бывали комиссии, в которых надобно было присутствовать, или домашние совещания о разных делах. Мне лично приходилось пересматривать все представляемые Управою доклады. Раза два случилось даже писать доклады самому, что для городского головы было делом неслыханным. Подготовление сметы всегда происходило под моим председательством. Наконец, много времени поглощалось разными официальными представлениями и торжествами. Приходилось даже по пустейшим делам заседать в сословном суде, этом нелепейшем из произведений реакции. Одним словом, дела было по горло. Однако я этим вовсе не тяготился. После кабинетных занятий я находил даже удовольствие в этих бесконечно разнообразных столкновениях с новыми людьми и с новыми отношениями. В первый раз мне приходилось стоять во главе крупного общественного управления и вести его по собственной мысли и под собственною ответственностью. Административная школа была отличная. К сожалению, она оказалась для меня совершенно бесполезною, ибо дальнейшего приложения она не имела.

Первая существенная задача состояла в приведении в порядок городских финансов. Смета на 1882 год, составленная еще прежнею Управою, простиралась до 6 164 000 рублей, при чем оказывалось 1 200 000 рублей дефицита, которые предполагалось покрыть из так называемого запасного капитала, более или менее фиктивной суммы, никогда не обретавшейся в наличности, и состоявшей в недоимках и обороте. Правда, в этот громадный недочет входили экстраординарные расходы, которые

в правильном хозяйстве не могли быть отнесены на текущие доходы, как то 38 000 рублей на постройку Ново-Устинского моста и 53 000 на постройку Мало-Устинского моста. Были и другие постройки, часть которых вовсе не была безотлагательна. Сверх того можно было надеяться и на более или менее значительную экономию при ремонте зданий. Издавна смета вообще и эта в особенности несколько вздувалась, из опасения, чтобы правительство не вздумало налагать на город новые расходы. Но все же финансовое положение было таково, что оно требовало чрезвычайных мер. Финансовая комиссия, рассматривавшая смету, остановилась на двух. Во-первых, она предлагала превратить долг Государственному казначейству в 1 600 000 рублей из краткосрочного в долгосрочный. Этот долг произошел, главным образом, вследствие возложения на город расходов на устройство площади и постройку набережной около храма Христа Спасителя. Во-вторых, комиссия предлагала заключить долгосрочный заем в 1 000 000 рублей.

При обсуждении сметы в Думе, первое, на что я напирал, это было возможное сокращение расходов. Я изложил собранию свой взгляд, который состоял в том, что при финансовых затруднениях следует воздержаться от всяких новых затрат, не отказываясь, однако, от поддержания того, что уже заведено. Шаг назад я допускал только в крайности, а до этого мы еще не дошли. В общих чертах трудно было, конечно, с этим не согласиться; но в приложении приходилось бороться главным образом с сопротивлением гласных третьего разряда. С одной стороны, они сильно домогались уничтожения поливки улиц, которая производилась только на главных проездах и не приносила пользы жителям отдаленных частей города. Это значило относительно городского благоустройства возвращаться к первобытному состоянию. Дума отвергла это предложение. С другой стороны, они настаивали на учреждении двенадцати новых училищ, о которых ходатайствовал Совет попечителей. Я говорил, что как скоро финансы города будут поставлены на надлежащую ногу, я первый буду стоять за это предложение, но при нынешнем положении благоразумие требует воздержаться от всяких новых затрат. В этом вопросе мещане и ремесленники находили поддержку в ревнителях просвещения из молодых купцов, главным образом в Лепешкине, который не внимал никаким увещаниям со стороны своих товарищей. Благодаря случайному составу собрания, вопрос о двенадцати новых училищах был решен утвердительно. Но это было мимолетное торжество. Учреждать их приходилось все-таки на заемные

деньги, а при окончании обсуждений сметы я провел постановление, что все новые работы, падающие на заем, могут быть произведены только тогда, когда заем будет заключен. Это значило отложить дело до следующего года. Гласные третьего разряда вознегодовали; они хотели даже, пользуясь отсутствием купцов в летнее время, созвать экстренное собрание по требованию двадцати гласных, что допускалось законом, и этим путем провести свое предложение. Но я объявил, что такой шаг ни к чему не послужит: я созову собрание, если меня к тому принудят, но постановление все-таки не исполню, а представлю снова вопрос на усмотрение Думы при полном составе. Они отказались от своего намерения, а в следующую смету, которая была представлена уже без дефицита, я внес учреждение этих двенадцати новых училищ.

Насчет превращения краткосрочного займа в долгосрочный я поехал для переговоров с министром финансов в Петербург. Бунге иронически заметил мне, что Москва пожертвовала миллион на Красный крест, а потому должна довольствоваться дарованной ей милостью в виде высочайшей благодарности, а не просить о рассрочке долгов. Я отвечал, что этот долг проистекает вовсе не из пожертвованного миллиона, а накинут на нас после войны самим правительством, которое возложило на город все расходы по устройству набережной около храма Христа Спасителя, да кроме того надбавило 400 000 рублей в год на содержание полиции. Я полагал, что, возложив на город такие тяжести, правительство обязано ему помочь. Бунге не мог с этим не согласиться и обещал устроить дело. Но Государственный банк объявил, что он по уставу не может делать долгосрочных ссуд иначе, как под залог процентных бумаг. Для этого нам нужно было выпустить городские облигации.

К той же необходимости я пришел и с другой стороны. Я видел, что при значительных финансовых оборотах города и не всегда своевременном поступлении доходов, городскому управлению весьма важно пользоваться иногда кредитом на более или менее короткие сроки. Всего лучше было иметь открытый текущий счет в каком-нибудь банке. Прежде нежели обратиться к государству, я собрал на совещание представителей самых крупных московских банков и предложил им открыть городу текущий счет. Однако ни один из них не выразил согласия на это предложение, которое непосредственных больших выгод не обещало. Аксаков приходил даже в негодование от такого равнодушия к городским интересам, хотя сам он стоял во главе одного из банков и присутствовал на совещании, а между тем

никакой помощи не оказал. Пришлось обратиться к Государственному банку; но тот опять не мог открыть текущего счета иначе, как под залог процентных бумаг. Следовательно, и в этих видах надобно было выпустить облигации.

Я решил просить разрешения на выпуск трех миллионов, имея в виду, что, кроме обеспечения 1 600 000 долга и текущего счета, нам потребуется еще около миллиона на постройку нового здания Думы и на предварительные работы по водоснабжению. «Просите уже зараз побольше»,—говорил мне Бунге.— «Я, напротив, желаю просить как можно меньше,—отвечал я,— ибо всякие лишние деньги открывают только простор для новых трат». — «В первый раз я встречаю администратора, который так смотрит на вещи», — заметил он. — «А я считаю это первым основанием путного хозяйства»,—отвечал я. Дума приняла мое предложение, однако не без колебаний. Это был первый облигационный заем, заключенный городом, и многие смотрели на него с опасением: боялись затянуться. Другие, напротив, видели в этом первый шаг к правильному развитию городского благоустройства, с отнесением на займы экстраординарных расходов. «Поздравляю вас,— сказал мне Алексеев после заседания,—вы сделали крупное дело». Реализация займа на предложенных мною условиях последовала уже после моего выхода в отставку; но главная цель, для которой он заключался, оказалась излишнею: еще при мне министр финансов нашел возможным рассрочить уплату долга в 1 600 000 рублей.

Однако займом нельзя было ограничиться; надобно было искать новых источников дохода. Все существующие источники были исчерпаны. Свободным ресурсом оставался только десятый процент с домовладельцев, которые и без того кряхтели под тяжестью городского налога. В сущности Москва, несмотря на то, что с проведением железных дорог она сделалась главным промышленным и торговым центром России, несмотря на несколько находившихся в ней миллионных состояний, была бедный город, как и вся Русская земля. Я как-то сообщил это замечание Митрофану Павловичу Щепкину, который в этом вопросе был первым знатоком. «Вы совершенно правы,—отвечал он,—даже эти миллионеры большею частью лопнут, как скоро Кнооп закроет им кредит. Все наши капиталы, в сравнении с иностранными, не более как капля в море».

Значительное повышение доходов могло получиться от переоценки недвижимых имуществ, ибо существующая оценка уже устарела и была крайне неравномерна. Это предположение еще при мне было пущено в ход и впоследствии было приведено в

исполнение. Но это была большая работа, которая требовала времени. Давно был намечен и новый квартирный налог, на который, однако, купцы смотрели с большим недоверием, ибо налог на квартирантов влек за собою приобщение к избирателям целой массы новых лиц, а потому и полное изменение состава избирательных собраний. Тем не менее, финансовая комиссия, рассматривавшая смету 1882 года, предложила и Дума приняла: поручить Управе представить к смете 1883 года предположение о квартирном налоге. Это поручение было неисполнимо в такой краткий срок. Для того, чтобы составить проект квартирного налога, надобно было дождаться разработки всех данных произведённой в начале 1882 года переписи, а на это также требовалось немалое время. Я хотел приняться за это дело и уговорил даже Кознова, который из членов Управы был наиболее сведущ по финансовой части, взять на себя руководство работами; но я вышел прежде, нежели мог исполнить свое намерение. Затем последовала перемена во взглядах правительства: вместо того, чтобы предоставить квартирный налог городам, как было установлено Городовым положением, оно обратило его в пользу государства, лишая через это города значительного дохода. Щепкин упрекал городское управление за то, что оно упустило благоприятное время; но кто может предугадывать законы перемены ветра? Москве не одной пришлось пострадать.

Оставались промышленные налоги. Бедность столицы наглядно выражалась в том, что эти разнообразные, но вообще весьма невысокие сборы в последние годы постоянно уменьшались, исключая теплового сбора, который шел возрастая, вследствие превращения холодных помещений в теплые. Но этот налог, совершенно неуравнительный, представлял полнейшее финансовое безобразие, вследствие чего он давно уже был предназначен к уничтожению. Предполагалось заменить его налогом на промышленные и торговые заведения. Проект нового налога еще до меня был представлен правительству; но теперь он вернулся в Думу и надобно было обсудить его вновь. Самый существенный вопрос заключался в том, какой процент обложения предоставлено будет взимать городу. В первоначальном проекте Дума, применяясь к существующему тепловому сбору, который требовалось заменить, останавливалась на трех процентах с предполагаемого чистого дохода; но с тех пор тепловой сбор возрос и сумма его не могла покрыться этою цифрою. Я представил собранию, что во всяком городском налоге желательно иметь некоторый простор, ибо, если он взимается в крайнем пределе обложения, то плательщики и их представители

перестают быть заинтересованными в расходах: они готовы итти на всякую издержку, ибо знают, что с них ничего больше не возьмут. Поэтому я предлагал назначить высший размер в семь процентов. Однако Дума на это не пошла и ограничилась пятью. Правительство же дало только три. При таких произвольных ограничениях, какая есть возможность вести правильное хозяйство!

Следующую смету я представил уже без дефицита, по крайней мере в обыкновенных расходах. Последние предположены были в сумме 4 985 000, а так как обыкновенные доходы исчислены были в сумме 5 044 000, то оказывался остаток в 59 000 рублей. Но затем было на 320 000 экстраординарных расходов, в том числе 200 000 рублей на коронацию. Эта сумма должна была покрываться займом из Государственного банка в виде специального текущего счета. Последнее, однако, пришлось изменить, после того как министр финансов нашел возможным рассрочить нам уплату займа и не было уже надобности особенно торопиться выпуском облигаций. При обсуждении сметы, из экстраординарных расходов выкинуты были 70 000 рублей на постройку новых бараков; этот расход был отложен до заключения долгосрочного займа. Затем на покрытие издержек по коронации положено было, несмотря на сильное сопротивление многих гласных, взять десятый процент с недвижимых имуществ. И все-таки совокупная смета обыкновенных и чрезвычайных расходов заключена была с дефицитом в 248 000, которые отнесены на остаточный капитал. В действительности эта цифра должна была сократиться вследствие сбережений на ремонте зданий. Как уже замечено выше, городу выгодно было выставлять себя в дефиците. Это было единственное средство отклонять от себя все новые и новые тяжести, возлагаемые на него правительством. Еще Щербатов, во время своего управления, держался этого правила. Значительные пожертвования Москвы в Болгарскую войну внушили мысль о громадных ее богатствах, вследствие чего на нее взвалили непосильное бремя. Теперь надлежало снова приняться за осторожность.

Недостаточно было привести в порядок смету; надо было завести отчетность. Трудно поверить, что едва ли не с 1873 года Управа не представляла никаких отчетов, кроме чисто бухгалтерских сведений о движении сумм, и ни разу со стороны Думы не была произведена ревизия. Мне, привыкшему к земским порядкам, это казалось совершенно несообразным. Я потребовал, чтобы непременно был представлен полный отчет за первый год моего управления. Мне возразили, что это невозможно.

Надобно было, прежде всего, иметь твердую точку исхода, а ее нельзя было получить без отчетов за все предыдущие годы. Тогда я решился взвалить на канцелярию громадную работу: составить отчеты за весь предшествующий период, отправляясь от последнего полного отчета. Это и было исполнено. Сметой я руководил сам: надзор же за составлением отчетов я поручил Ушакову, указав только, чего я хочу, и изредка подгоняя работу. В апреле 1883 года я имел удовольствие положить на столе перед Думой целую кипу фолиантов и просить ее выбрать ревизионную комиссию. Комиссия была выбрана: но результатов ее работы я не дождался, ибо вышел в том же году.

Все это представляло, однако, лишь формальную сторону управления. Существенную или жизненную сторону составляло хозяйство. В это время стояли на очереди два из самых крупных хозяйственных вопросов: водоснабжение и канализация. О них уже много лет шли толки, и предшествующая управа, повидимому, подготовила дело для окончательного решения.

Недостаток воды в Москве был давно вопиющим злом. Мытищенской воды было мало; искали других источников. При Третьякове приглашен известный немецкий инженер Зальбах, по указаниям которого были произведены геологические изыскания посредством буровых скважин в различных местностях Московской котловины. На основании этих исследований, Зальбах пришел к заключению, что в Мытищах можно получить от семи до десяти миллионов ведер. На первый раз он составил проект водопровода на 3 600 000 ведер, который мог быть расширен впоследствии. В таком виде я застал это дело. Познакомившись с ним и перетолковав с специалистами, я пришел к убеждению, что заключения Зальбаха недостаточно основательны и что браться за такое крупное предприятие без надлежащей проверки было бы опрометчиво. Чтобы стать в этом отношении на совершенно твердую почву, я послал все изыскания и проект Зальбаха в Русское техническое общество, председателем которого был мой хороший приятель, Петр Аркадьевич Кочубей. Рассмотревши это дело, отделение Общества, под председательством известного инженера, барона Дельвига, который сам перестраивал Мытищенский водопровод, пришло к заключению, что цифры Зальбаха совершенно гадательны, и что в Мытищах можно положительно рассчитывать не более как на один или два миллиона ведер. Нам советовали на первый раз устроить сборные колодцы и произвести пробную откачку. Барон Дельвиг при личном свидании очень на этом настаивал, а геолог Гельмерсен советовал обратить внимание на артезианские

колодцы, которые непременно должны удасться в Москве. Меня вместе с тем спрашивали, не соглашусь ли я построить водопровод концессионным способом. Я лично весьма к этому склонялся и полагал, что городу во всяком случае полезно иметь предложение компаний, что открывало возможность выбора, а потому я поощрял все таковые заявления. Действительно, поступили предложения от трех компаний: бельгийской, представителем которой был инженер Семячкин, английской, составленной петербургским инженером Алтуховым, и русской, во главе которой стоял московский инженер Сытенко. С другой стороны, я поручил заведывающему городскими водопроводами инженеру Зимину составить проект водосборных колодцев, согласный с мнением Технического общества, а между тем старался привлечь побольше воды и из существующих источников. Их было два, которыми можно было воспользоваться: Преображенский колодезь и покинутый артезианский. Углубивши первый, можно было получить из него тысяч сорок ведер лишней воды. Я предложил Думе провести эту воду в Преображенскую часть и сделать первый опыт противопожарного водопровода в Москве. Это было принято, и я вместе с гласными имел удовольствие видеть громадную струю, бьющую на двадцать сажень вверх на высокой местности города. Что касается до артезианского колодца, то он был начат еще при Щербатове; но в то время в нем сломался бурав, и он был брошен. Между тем, из него можно было получить более двухсот тысяч ведер воды, годной для употребления. Строивший его инженер Бабин предложил мне сделать штольню на свой счет и взять колодезь на аренду, с правом выкупить его, если найдет нужным. После долгих переговоров и обсуждений, я заключил контракт, и мне удалось еще до выхода в отставку провести его в Думе. Год спустя, я присутствовал на освящении. Проект же Мытищенского водопровода я не успел довести до конца, как расскажу ниже *.

Предшествующая Управа выработала и целый подробный проект канализации. Он был составлен берлинским инженером Гобрехтом и привезен Петунниковым в Москву в начале 1882 года. И этот проект я послал в Техническое общество вместе с другим проектом инженера Попова, который за несколько лет перед тем рассматривался в комиссии при генерал-губернаторе, но был отвергнут Думой. Техническое общество признало их оба неудовлетворительными, но второй все-таки более соответствующим условиям Москвы. Критика была получена уже после моего выхода.

Не дожидаясь ее, я старался улучшить существующее положение этой части, которая находилась, надобно сказать, в совершенно первобытном состоянии, а между тем стоила домовладельцам чрезвычайно дорого. Введение в это дело хотя некоторого порядка было тем необходимее, что по случаю устройства Всероссийской выставки на Ходынском поле пришлось закрыть близкую к этой местности Пресненскую свалку, и все обозы отправлялись на остальные. Труниным был составлен проект, который, не изменяя существующих приемов, вводил в них значительные улучшения. Но требовалось нечто более совершенное. Проживавший в Москве иностранный инженер Фаллиз предложил мне устроить центральную станцию для удаления нечистот нагнетательным путем на поля орошения, и устроить с этой целью общество. Я охотно ухватился за эту мысль, стараясь лишь вести переговоры в этом направлении, чтобы городу это ничего не стоило, и чтобы [illegible] не принимал на себя никакой гарантии, в чем и успел. Но в Думе были против этого проекта большие предубеждения. Опасались попасть в руки иностранных эксплуататоров; боялись и зловония от центральной станции, несмотря на то, что, по условию, город сохранял за собою право в этом случае ее просто закрыть. Вдобавок поступили и другие предложения: инженер Бари заявил готовность построить станцию за счет города, а при обсуждении доклада мой приятель, художник Шервуд, бывший тоже гласным, с большим пафосом возгласил, что в России есть гениальный человек, Зарубин, который открыл способ удалять нечистоты за самую дешевую цену. Он говорил с такою горячностью, что гласные ему поверили. Обсуждение предложения Фаллиза было отложено, и мне поручено было войти в сношение с Зарубиным. Оказалось, однако, что никакого новооткрытого способа не было; я от Зарубина не мог добиться ничего, кроме непонятных алгебраических формул, и он прямо отказался выработать какой бы то ни было проект. Результат был тот, что дело затормозилось, и я вышел в отставку, прежде нежели успел представить Думе новый доклад. После меня все эти предположения канули в воду. Теперь, спустя десять лет, вырабатывается какой-то новый проект канализации, но что из него выйдет, покажет будущее. А пока Москва остается при первобытных способах удаления нечистот.

Кроме собственно городского хозяйства, приходилось удовлетворять и потребностям государства. Из них в мое время наиболее хлопот причиняло расквартирование войска. Город владел многочисленными казармами, которые он обязан был

ремонтировать и держать в порядке. Как раз перед моим вступлением выстроены были и великолепные Александровские казармы, стоившие значительных сумм. Но сверх того в Москву вводились все новые и новые части, для которых надобно было приискивать помещения, а с военным ведомством дело иметь было не легко. Оно находилось в то время, можно сказать, в анархическом состоянии. Милютин заменил корпусную систему окружною, После него опять были восстановлены корпуса, но и окружная система осталась, не слаженная с первою. Кроме того, были еще начальники отдельных частей, из которых каждый имел свой голос, и все пели врозь. Нельзя было знать, на кого же наконец положиться. А между тем городу предъявлялись требования, которые он должен был исполнить немедленно, не взирая ни на какие затруднения. Все это пришлось мне испытать при первом моем вступлении в должность.

Еще до меня, в июне 1881 года, Управа получила от Губернского распорядительного комитета требование о расквартировании двух батальонов 11 Гренадерского фанагорийского полка и двух батарей 1 Гренадерской артиллерийской бригады. Дело было спешное; найти и приспособить дом к помещению войск до возвращения их из лагеря было нелегко. После многих поисков, найден был старый пивоваренный завод, принадлежавший потомственному почетному гражданину Тимофею Терентьевичу Волкову. Осмотрев его совокупно с чинами военного ведомства, Управа нашла его подходящим, и Волков взялся сделать все нужные переделки и приспособления, с тем, чтобы с ним заключен был контракт на двенадцать лет. Контракт действительно был заключен, однако, под условием утверждения Думою. Но прежде, нежели Думе был представлен доклад, прежде даже нежели был сделан предписанный законом осмотр, войска, которым за холодным временем нельзя уже было оставаться в лагере, сами вошли в свои зимние квартиры и в них разместились. В таком виде я застал дело.

Прежде всего надобно было сделать официальный осмотр. Я созвал кого следует, и сам отправился на место. Но представитель артиллерийского ведомства не прибыл, и я должен был ограничиться частным осмотром вместе с начальниками и депутатом от Окружного штаба. Помещение было не отличное, но сносное; только в подвальном этаже, где помещались столовые, на стенах оказывалась маленькая сырость. Однако доктор заявил, что это подвальное помещение нездорово и непригодно для войск. Я сказал, что об этом надобно было говорить раньше, когда дом осматривался совокупно с депутатами военного ведом-

ства, а не теперь, когда все уже устроено. Но доктор возразил, что тогда его не приглашали и заявил протест. Еще хуже вышло дело при официальном осмотре. Депутатом от артиллерийского ведомства явился генерал Щеголев, некогда прославившийся в чине прапорщика несколькими выстрелами, которые он сделал против соединенного англо-французского флота в Одессе. Он прямо объявил, что вся эта местность для артиллерии не годится. Я заметил, что это похоже на шутку: военное ведомство само одобрило эту местность и это помещение, а когда все готово, нам объявляют, что все это никуда не годится. Он возразил, что то было одно ведомство, а это другое.

С другой стороны, в самой Думе было неодолимое предубеждение и против дома Волкова, который считался негодным, и против самого Волкова, который действительно был старый плут, и, наконец, против прежней Управы, заключившей контракт. При обсуждении вопроса в собрании, попробовали сперва свалить все дело на Распорядительный комитет, предоставив ему нанять дом от себя. Но Распорядительный комитет снова перекинул нам брошенный ему мячик, и нам все-таки приходилось расхлебывать дело самим.

Начальник Окружного штаба, С. М. Духовской, в видах соглашения, предложил мне попробовать другую комбинацию, в которую входил и дом Волкова. Предполагалось соединить в одной местности все шесть артиллерийских батарей, стоявших в Москве, чего домогалось артиллерийское ведомство. Я согласился вести переговоры на этом основании и отрядил члена Управы для составления нового плана совокупно с депутатом от Штаба. Это был, помнится, полковник Милорадович. Целый месяц они работали и наконец представили план, который обе стороны нашли удовлетворительным. Надобно было сделать всеобщее передвижение, причем некоторые части вводились в недавно построенные Александровские казармы, которые были слишком просторны для помещавшихся там войск, и где требовалось только сделать небольшие пристройки. Мы вместе с Духовским объехали все помещения, переговорили с начальниками частей и нашли все вполне удобным. Затем последовал официальный осмотр, для которого был командирован тот же полковник Милорадович. Он сам писал протокол, и мы все его подписали. Этот протокол был передан на утверждение в Губернское по воинским делам присутствие, которого я, как городской голова, состоял членом. Протокол был прочтен в заседании. «А тут приложено еще особое мнение полковника Милорадовича»,— сказал секретарь.—«Какое особое мнение?—воскликнул я.—Он

сам писал протокол и со всем был согласен».— Оказалось, что в этом особом мнении полковник Милорадович заявлял, что стоящие в Александровских казармах будут стеснены введением туда новых частей, а потому все предполагавшееся перемещение не может состояться. Я после узнал, что это было сделано по требованию командира гренадерского корпуса. Окружный штаб находил новый план расквартирования удобным, но в последнюю минуту корпусный командир наложил свой запрет, и вся наша работа пропала даром.

Между тем, дом Волкова все-таки оставался на руках; надобно было с ним покончить. Я полагал, что можно будет склонить Думу к утверждению контракта, если взять с Волкова обязательство, ограждающее город от возможного процесса. После долгих переговоров он наконец согласился и привез обязательство, написанное самым безграмотным образом, но, казалось, достаточное. Вся Управа сочла его таковым, и меня даже поздравляли с успехом, хотя много смеялись над слогом Тимофея Терентьевича. Я сам написал доклад и представил его в Думу, которая выбрала комиссию для рассмотрения дела. Не помню, кто именно, председатель ли комиссии Шилов нашел обязательство недостаточно ясным, или Ушаков выразил сомнение, но для приведения дела в полную ясность я вызвал Волкова и предложил ему подписать другую редакцию, ту самую, на которой мы предварительно сошлись. Но на этот раз он решительно отказался, говоря, что не желает надеть на себя петлю. Оказалось, что под безграмотностью скрывалась целая плутня. Он просто хотел меня надуть. Тогда я ему объявил, что у меня теперь развязаны руки: доселе я действовал не только в виду интересов города, но и с тем, чтобы ему была оказана справедливость; но после такого поступка я прерываю с ним всякие сношения, и вместо того, чтобы настаивать на заключении контракта, я предложу собранию этого контракта не утверждать, будучи уверен, что он судом ничего не получит. На том и порешили. Мы воспользовались тем, что войска вошли в дом самовольно и предложили им деньги, с тем, чтобы они наняли помещение от себя. Волков затеял было процесс, но неудачно, и все-таки согласился поместить войска по временному найму, чтобы получить что-нибудь.

Этим, однако, вопрос о расквартировании войск не кончился. В Москву вводились еще две батареи, которые надобно было разместить. Некоторые уездные города сами просили оставить у них войска, которые доставляли им выгоду; но их оттуда выводили, а на Москву взваливали все новую и новую обузу. Нам в это время предложили нанять закрывшуюся фабрику,

которая с некоторыми приспособлениями могла быть обращена в казармы. В нее можно было поместить не только две новые батареи, но и войска, стоявшие в доме Волкова. Помещение было осмотрено и найдено удовлетворительным; но прежде нежели приступить к этому делу, я счел необходимым переговорить с военным начальством. Видя, что преобладающий голос имеет здесь штаб гренадерского корпуса, я в начале лета 1883 года отправился в лагерь к начальнику штаба Манькину-Невструеву и сообщил ему свои предположения. «Ради бога, не делайте этого,— отвечал он,— вы у нас все расстроите. Мы хотим соединить в одно место все шесть артиллерийских батарей и в настоящее время находимся в переговорах с военным министерством относительно приобретения дома с этою целью. Переговоры уже близятся к концу, а если вы сделаете предполагаемое вами размещение, то от этого надобно будет окончательно отказаться.»—«Хорошо,— сказал я,—это дело ваше; но только не ставьте нас потом в необходимость пороть горячку и готовить вам квартиры в осеннее время, когда порядком ничего нельзя сделать.»—Он обещал. Но вышло именно то, чего я опасался. Переговоры с военным министерством не привели ни к чему, и в октябре месяце вдруг Управе предъявлены были требования относительно немедленного расквартирования новых частей. В это время я уже оставил должность, и все хлопоты пали на моего заместителя. Ушаков с отчаянием писал мне: «Вы, конечно, не забыли ту путаницу, которою военный люд способен обставлять касающиеся до него дела; но вы не можете себе представить, до каких размеров довели эту путаницу в настоящее время, когда к концу приходит лагерная жизнь, и две батареи, батальон и целый казачий полк стоят перед нами, как кошмары. Просто паутина, как говорится: ни в сказке сказать, ни пером написать. Разве только Щедрин способен изобразить эти дела в лицах и приличных им красках».

Как бесцеремонно военное ведомство обращалось с городом, можно видеть и из длившейся много лет истории с жандармским дивизионом. В Петербурге как помещение, так и содержание этого дивизиона были отнесены на счет казны. Но в Москве он стоял в принадлежащих городу Петровских казармах. Считая его частью войска, городское управление требовало уплаты тех окладов, которые по закону полагались за расквартирование войск. Но военное ведомство отказывалось их платить, ссылаясь на то, что дивизион исполняет полицейскую должность. С другой стороны, если дивизион считался полицией, то на городе, по закону, не лежала обязанность давать отопление и освещение,

а между тем, с нас требовали и то и другое. Когда казне нужно было платить, жандармы оказывались полицией, когда нужно было получать деньги, они оказывались войском. Дума принесла жалобу в Сенат, но по обыкновению она лежала несколько лет без рассмотрения. При обсуждении сметы 1883 года, Холмский предложил выкинуть из сметы, с 15 марта, статью об отоплении и освещении жандармского дивизиона, и хотя я стоял за то, чтобы повременить решением до будущей сметы, однако Дума согласилась с Холмским. Но Губернское присутствие кассировало это постановление, и город должен был, попрежнему, давать даровое помещение, как бы для полиции, и платить за отопление и освещение, как бы для войска. При этом, кажется, он остается и доныне.

Губернское по городским делам присутствие, которое было высшею инстанцией для городского управления, состояло из семи членов, четырех правительственных: губернатора, вице-губернатора, председателя Казенной палаты и товарища прокурора, и трех выборных: городского головы, председателя Губернской земской управы и председателя Мирового съезда. Но каково бы ни было дело, как бы ясны ни были права города, правительственные члены всегда подавали голос за правительственные требования, а так как они составляли большинство, то город никогда не мог добиться справедливого решения. Председатель Присутствия Василий Степанович Перфильев, бывший кирсановский предводитель и земский гласный, был мне приятель. Он был человек чрезвычайно мягкий и даже по направлению довольно либеральный, но перед властью он трепетал и не смел сделать ни единого шага, который мог бы быть поставлен ему в укор. К этому он побуждался личным положением: любя пожить, он растратил не только свое собственное состояние, но и состояние жены, а потому, волею или неволею, должен был держаться службы. Мне рассказывали, что иногда он, заливаясь слезами, говорил, что чувствует себя подлецом, оставаясь на своем месте, терпя всякие унижения от князя Долгорукого, но в виду жены принужден все это переносить. При таких условиях, он, конечно, был покорным исполнителем всякого беззаконного распоряжения. Один только раз вышел довольно забавный случай. Прислан был какой-то министерский циркуляр, нарушавший права города в явную противность закону. Три правительственных члена, разумеется, стояли за исполнение, а три выборных против. Вдруг, к крайнему моему изумлению, Перфильев начинает говорить в пользу города. Я сидел возле него. Наклонившись к нему на ухо, я шепнул: «Что это, Василий

Степанович, вы, кажется, хотите сделаться гражданином?». Он мне, также шопотом, отвечал: «А который министр издал этот циркуляр?»—«Прежний».—«Так топи его!» воскликнул он, рассмеявшись.

Но Перфильев был, в сущности, последняя спица в колеснице. Главное лицо, от которого все зависело и с которым более всего приходилось иметь дело, был генерал-губернатор, князь Владимир Андреевич Долгорукий.

В Москве было три генерал-губернатора, которые могут служить типическими представителями трех последовательных эпох русской истории. Князь Дмитрий Владимирович Голицын был настоящий вельможа времен Александра Первого, великосветский, просвещенный, либеральный, с некоторыми замашками русского сановника, но допускавший и даже одобрявший независимость суждений в подчиненных. Это был истинный градоначальник старинной барской Москвы. В противоположность ему граф Закревский мог служить полным типом николаевского генерала: крутой, самовластный, считавший опасными для государства всякую независимость мысли и малейшее проявление свободы, сам лишенный всякого образования и нечестный в денежных делах, он назначен был с целью держать в ежовых рукавицах патриархальную Москву и старался, по мере сил, исполнить свое назначение. Наконец, князь Владимир Андреевич Долгорукий представлял собою тот уровень людей, которым после великих преобразований, совершенных Александром Вторым, вверено было управление освобожденной России. Многое в истории нашей общественной жизни объясняется этим явлением. Я говорил иногда, что князь Долгорукий как будто нарочно поставлен был на пьедестал в поучение молодым поколениям. Возвеличивая его, правительство, казалось, говорило:

«Смотрите, вот пример для вас!»

«Узнайте, молодые люди, что требуется в России для достижения высших почестей и власти: не нужно ни ума, ни образования, ни малейшей доли нравственного смысла, ни знания дела; нужно быть пошляком и подлецом с головы до ног; нужно ползать, любезничать и лгать. И тогда вас осыпают всевозможными почестями, дают вам целую четверть века управлять столицею с безграничными полномочиями, делают вас кавалером всех орденов, верховным маршалом при коронации, вас украшают портретами с бриллиантами; перед вами кувыркаются и великие и малые; в честь вашу называют улицы и заведения; вам устраивают юбилей за юбилеем, с пышными адресами и драгоценными подарками; имя ваше надписывается

на мраморной доске на исторических памятниках; и все эти блага накопляются на вас в течение многих лет, пока наконец, по минутной прихоти самодержавной власти, вас пинком свергнут с высоты, и вы полетите стремглав вверх ногами!»

Умственные способности князя Долгорукого были характеризованы еще в 50-х годах его сродником, известным эмигрантом, который в своем сочинении о России писал, говоря о его брате, тогдашнем шефе жандармов: «Князь Василий Андреевич Долгорукий, который мог бы считаться самым глупым человеком в России, если бы у него не было брата, князя Владимира Андреевича». * Родственник, по своему обыкновению, несколько пересолил. За недостатком ума, у князя Владимира Андреевича была хитрость, которая у ограниченных людей часто служит заменою высших умственных способностей. Но уровень во всяком случае был весьма невысок. Мне он всегда представлялся скорее комическим лицом, нежели человеком, с которым можно вести серьезное дело. Что касается до нравственных его свойств, то о них я знал от своего зятя, почтенного Эммануила Дмитриевича Нарышкина, который громогласно говорил: «C'est la plus grande canaille, que j'ai rencontré dans ma vie», * и сетовал на то, что во время коронации он должен был подавать руку этому господину.

Нарышкин знал его по опекунским делам. Эммануил Дмитриевич был опекуном Василия Львовича Нарышкина, мать которого Мария Васильевна, рожденная Долгорукая, сошла с ума и состояла под опекою своего близкого родственника, князя Владимира Андреевича. Она жила у него в Москве, в третьем этаже генерал-губернаторского дома. Через год приблизительно после назначения опеки она умерла. Князь Долгорукий представил счет содержания старухи, простиравшийся до ста тысяч рублей. Василий Львович в это время вышел из опеки. Он поступил, как вельможа: не возражая ни слова, он заплатил деньги, но порвал всякие сношения с ограбившим его родственником.

Этого мало. У старухи было два знаменитых убора, один бирюзовый, а другой рубиновый. Оба находились на хранении у опекуна. Первый был возвращен; но все бирюзы, кроме одной, оказались фальшивыми. А на счет второго была представлена записка сумасшедшей Марьи Васильевны, по которой она этот убор дарила дочери князя Владимира Андреевича. Василий Львович и это дело оставил без последствий.

Если князь Владимир Андреевич умел извлекать такие выгоды из опекунских прав, то немудрено, что он в тех же видах

пользовался и своею генерал-губернаторскою властью. У купцов он брал, что хотел, но платить далеко не всегда считал нужным. Об этом ходили совершенно достоверные рассказы. Был, между прочим, купец Епанешников, который ставил дорогие ковры и самому князю и его фаворитке, танцовщице Собещанской. Долг ему простирался до шести тысяч рублей. Он, разумеется, не дерзал предъявлять ему какое-либо требование, но, наконец, дела его пошатнулись. Деньги нужны были до зарезу. В таком положении он решился отправиться к князю Долгорукому и просить его уплатить хоть часть. Но тот затопал ногами и прогнал его, сказавши, что пришлет ему ответ. Этот ответ никогда не последовал.

А вот и лично мне известное дело. Моему приятелю, художнику Шервуду, князь Долгорукий заказал два своих портрета: один для себя, а другой для конногвардейского полка, в котором он некогда служил. За последний заплатил председатель Городского кредитного общества, сын которого, тоже служивший в конной гвардии, повез с собою этот портрет в Петербург. Второй же портрет так и остался неуплаченным. Князь Долгорукий пригласил Шервуда к себе обедать и счел эту высокую честь совершенно достаточным вознаграждением за работу.

Надобно, однако, сказать, что после его смерти все ожидали, что окажутся громадные долги, но их не нашлось. Дочь его отказалась даже от наследства, но вырученными из продажи имущества деньгами можно было бы с избытком выплатить не только оставшиеся долги, но и разные сделанные в завещании пожертвования. Это объясняется тем, что особенно в последние годы его управления у него был неисчерпаемый источник, из которого можно было покрыть все расходы. Евреи состояли под специальным его покровительством. Если Лазарь Соломонович Поляков ежегодно платил десять тысяч рублей Каткову за молчание, то можно себе представить, что он переплачивал князю Долгорукому, от которого все зависело и под рукою которого, в обход закону, находили приют целые массы евреев. Это было, в сущности, единственное сделанное им добро, хотя и беззаконным и бесчестным путем. За это он и слетел. После его падения последовало позорное для России и для Москвы повальное изгнание евреев из столицы.

Нечистый на руку, князь Долгорукий в пользовании предоставленными ему широкими полномочиями проявлял самый возмутительный произвол. Приведу один из многих случаев, бывших при мне. На Кузнецком мосту существует дом Попова, где нанимал магазин золотых дел мастер Постников. * Хозяин был

за границею; постоялец не платил за помещение, и управляющий домом счел своею обязанностью ему отказать. Тогда Постников, состоящий под особым покровительством генерал-губернатора, обратился к своему патрону. Тот призвал к себе управляющего и приказал ему оставить квартиру за Постниковым. Тот отвечал, что помещение сдано уже другому, и теперь он уже ничего не может сделать, ибо дом принадлежит не ему, а хозяину, который вверил ему свои интересы. Тогда Долгорукий, в силу данных ему полномочий, в двадцать четыре часа выслал управляющего из Москвы, как человека опасного. При этом известии Попов тотчас прискакал из-за границы; Постников, разумеется, остался в своем помещении, и Долгорукого едва могли упросить, чтобы он вернул управляющего. Подобные дела выходили и в Сенат и в Комитет министров; но это не служило ни к чему. Самые сенатские указы клались под сукно, когда они шли в разрез с видами или интересами генерал-губернатора, и все это ему сходило с рук.

При таком направлении князь Долгорукий естественно окружал себя всякою дрянью, людьми, которые ему льстили и обделывали его делишки. Но он искал и более широкой популярности, старался любезничать со всеми, расточал улыбки и милостивые слова, неизменно являлся на всех публичных и частных торжествах, где он выказывал изумительное для его лет терпение. Он понимал, что только угождая всем, он может держаться на своем месте. И вся огромная масса пошляков, составляющих всякое общество, и русское в особенности, для которых внимание власти представляется манной небесной, польщенные и очарованные, льнули к нему толпою и преклонялись перед его особою. Те, которым он покровительствовал или доставлял незаконные выгоды, превозносили его до небес и кричали, что такого генерал-губернатора в Москве еще не бывало. Каждое пятилетие ему в Москве устраивали юбилей; его клевреты объезжали всех, уговаривая не уклоняться от общего празднества. И по обыкновению, русские люди уклоняться не смели, иные потому, что желали угодить начальству, другие потому, что боялись, что отсутствие их будет принято за демонстрацию. В последние годы даже судебные власти ездили в мундирах встречать и провожать князя на железную дорогу. В Петербурге все были убеждены, что князь Долгорукий пользовался в Москве громадною популярностью; думали, что древняя столица без него жить не может. Какова была эта популярность, в этом я мог удостовериться с самых первых своих шагов на общественном поприще.

Во время первой моей поездки в Петербург явился ко мне русский консул, кажется из Рущука, с просьбою свести его с московскими купцами, в видах заведения торговых сношений между Москвою и Болгариею. Я сообразил, что я только вступил в должность и авторитета не успел приобрести, между тем как князь Долгорукий, двадцать лет управлявший столицею, пользовался несравненно большим авторитетом и мог скорее подвинуть дело. Хотя я лично всегда вращался в обществе, где на князя Долгорукова смотрели с некоторым презрением, но видя постоянные чествования этого сановника, я воображал, что в купеческой среде он пользуется значительным весом. Я сообщил свои сомнения Аксакову, которого специальностью были болгарские сношения, и он мне сказал, что можно попробовать. Заручившись его согласием, я поехал к князю Долгорукому и сообщил ему, в чем дело. Он был очень польщен и тотчас взялся все устроить. Но когда я заговорил об этом с купцами, они мне сказали: «Что вы наделали? Да ни один из нас не двинет пальцем для князя Долгорукого. Передать ему дело, значит его похоронить». И я принужден был снова ехать к князю и сказать ему, что по собранным мною сведениям дело не уладится, а потому я не смею просить его стать во главе предприятия, которое может иметь неудачный исход. Он был не совсем доволен, но должен был согласиться. Консул приехал в Москву; я адресовал его к разным купеческим тузам. Были частные совещания, на которые являлся и Скобелев но из всего этого действительно ничего не вышло.

Во всяком деле князь Долгорукий имел в виду только одно: какую роль он может тут разыграть? Собственно дела он не понимал и не старался даже в него вникнуть; но он любил, чтобы про него говорили, чтобы оказывали ему почет и приписывали ему почин или руководство. В этом состояла главная забота его жизни. Это выказывалось у него даже в такой наивной форме, что внутренно нельзя было не усмехнуться. Каждый шаг его не только в Москве, но и во время отлучек, тотчас описывался в газетах. Когда он ездил по России, путешествующий с ним чиновник рассылал телеграммы по всем редакциям, с подробным повествованием о всех его движениях. Однажды случилась с ним даже забавная история. В одной из таких телеграмм, присланных в «Русские ведомости», стояло в конце: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вас уведомить». По оплошности ли типографщика или намеренно, это было напечатано, и секрет раскрылся.

Весь исполненный важностью своей роли, князь Долгорукий

очень заботился о собственной своей особе. Маленький, пухленький, с ничего не значущею физиономиею, он до восьмидесяти лет тщательно завивался и красил свои волосы. Каждое утро к нему являлся парикмахер Леон, и князь встречал его милыми шутками: он в халате прятался за драпировку, и когда парикмахер проходил мимо, он вдруг выскакивал из засады и стрелял в него пальцем с восклицанием: паф! И парикмахер, которому все это хорошо было известно, должен был всякий раз пугаться при этом неожиданном нападении. Таковы были невинные забавы сего государственного мужа.

Со мною князь Долгорукий с самого начала рассыпался в любезностях и старался сделать мне все приятное. У меня было литературное имя и положение в московском обществе; я путешествовал с покойным наследником, и он воображал, что я имею опору при дворе. Тут соединялись все условия для того, чтобы быть со мною в хороших отношениях. Я, с своей стороны, заявив о своем желании итти рука об руку с властью, вовсе не хотел становиться в опозиционное положение, а напротив, старался всякое дело уладить миролюбиво. Я сказал, что еще до вступления в должность я высказал неодобрение опозиционным решениям Думы в вопросе об обязательных постановлениях, изданных генерал-губернатором на счет дворников и освещения дворов. Этот вопрос имел длинную историю, которая может характеризовать отношения.

Однажды заехал ко мне Перфильев и, не застав меня дома, велел сказать, что очень нужно со мною переговорить. «Что мне делать? — сказал он при свидании; — я не могу пропустить ваших постановлений». — «В таком случае внесите их в Губернское присутствие; оно их кассирует, но предупреждаю вас, что может последовать апелляция в Сенат. Постановления Думы могут быть неполитичны, но в них нет ничего противозаконного». — «Нет, я не могу вносить их в Губернское присутствие. Пойдут толки, споры; князь Долгорукий отнюдь этого не желает. Я должен отменить их собственною властью». — «На это вы не имеете ни малейшего права. Вы поднимете бурю; на вас подадут жалобу в Сенат». Он старался доказать мне, что есть министерские циркуляры, которые будто бы уполномочивают губернатора кассировать постановления собственною властью. Я, напротив, доказывал ему, что министерские циркуляры, даже при самом широком толковании, не имеют силы закона и не могут дать ему никаких прав относительно Думы. «Да что же мне делать»? воскликнул он наконец. — «Ничего; предоставьте мне это дело; я постараюсь его уладить». Я думал, что

я его убедил, как вдруг, несколько дней спустя, я получаю от него бумагу, в которой он собственною властью отменял постановление Думы. Самбул в то время исправлял еще должность товарища. Я показал ему бумагу, заметив, что они непременно хотят поставить Думу на дыбы. Он советовал мне, прежде нежели внести бумагу в книгу входящих, переговорить об этом с генерал-губернатором. В это самое утро у генерал-губернатора был попечительный совет о больницах, которого я состоял членом. Я поехал пораньше и велел о себе доложить. Я показал присланную мне бумагу князю Долгорукому, сказавши, что из этого непременно выйдет скандал, чего он пуще всего боялся. «Оставьте мне бумагу»,—сказал он. Вскоре приехал Перфильев; его тотчас позвали в кабинет. Через несколько минут он вышел оттуда красный, как рак; очевидно, он получил нахлобучку. Подошедши ко мне, он шепнул: «Вы записали уже мою бумагу?» — «Нет еще».—«Так не записывайте».—Дело затихло. Несколько времени спустя, кто-то из рьяных гласных спросил, какой же наконец последовал ответ на ходатайство Думы об отмене обязательных постановлений генерал-губернатора. Я отвечал, что для предъявления ходатайства нужно выбрать удобный момент, а я, по предварительным справкам, увидел, что в настоящую минуту ответ не будет благоприятный, а потому и не счел пока нужным предъявлять ходатайство. Я присовокупил, что, по моему мнению, и обращение к высшей власти за толкованием закона не будет иметь благоприятного исхода, и просил Думу предоставить мне вести это дело по своему усмотрению, на что собрание согласилось.

Все временно успокоилось, как вдруг из полиции получены были новые обязательные постановления, изданные помимо Думы, вопреки закону. Опять поднялись толки и ропот. Я тотчас отправился к князю Долгорукому и представил ему, что такой способ действия возбуждает даже людей, желающих жить в самых мирных отношениях с властью. Обер-полицеймейстером был в это время Янковский, которого Долгорукий не долюбливал. Он называл его не иначе как «мой венецианский мавр». Янковский действительно был смуглый, курчавый и недавно женат на молоденькой и хорошенькой женщине, в которую был страстно влюблен. Долгорукий, по своему обыкновению, видя что дело не ладно, решился взвалить всю вину на подчиненного. На другой день я получил от него в пакете, с надписью: *доверительно*, следующую любопытную бумагу, в которой генерал-губернатор делал выговор обер-полицеймейстеру за обя-

зательные постановления, которые изданы были по собственному его приказанию:

«Копия с предложения г. московского генерал-губернатора к Г. московскому обер-полицеймейстеру от 18 апреля 1882 года за № 2232.

Рапортом от 20 марта сего года за № 537 ваше превосходительство вошли ко мне с представлением, в котором, указывая на опасность, в пожарном отношении усвоенного московскими фабриками и заводами освещения помещений их керосиновыми лампами, ходатайствовали о том, не признаю ли я возможным сделать распоряжение о замене употребления на помянутых фабриках и заводах керосиновых ламп масляными или свечами.

Возбужденный вашим превосходительством вопрос этот был передан мною на заключение образованной мною комиссии для осмотра фабрик и заводов, мнение коей по сему вопросу и было сообщено мною вам в предложении моем от 7 апреля сего года за № 1959 для надлежащих с Вашей стороны распоряжений.

Ныне, из приказа по московской полиции на 14 апреля за № 104, я усматриваю, что распоряжение вашего превосходительства по сему моему предложению состояло в том, что вы нашли нужным предписать местной полиции обязать содержателей фабрик и заводов подписками о прекращении освещения минеральным маслом в срок, указанный в мнении помянутой выше комиссии.

Принимая во внимание: 1) что в законе не определен обязательный для фабрик и заводов материал освещения; 2) что обязательного на сей предмет постановления до сего времени, по отношению к Москве, установленным в законе порядком издано не было; 3) что на основании пун. 3 ст. 1949 т. II ч. I изд. 1876 г. принятия мер предосторожности против пожаров составляет в городах предмет ведомства городских общественных управлений; 4) что по силе п. 9 ст. 2050 того же тома и части (изд. 1876 г.) ими же, в случае признания необходимости, издаются, по соглашению с начальником местного полицейского управления, и обязательные по сему предмету постановления; 5) что инициатива возбуждения вопроса об издании городскими думами таковых по сему предмету постановлений предоставлена и самому начальнику полицейского управления, но не иначе как порядком, установленным ст. 2051—2053 т. II ч. I; 6) что таковые постановления становятся обязательными к исполнению в отношении лиц, до коих они относятся, лишь по соблюдении указанного в помянутых статьях закона порядка их составления и обнародования; 7) что затем, никакое распоряжение полиции, не основанное на законе или обязательном постановлении, законным порядком изданном и обнародованном, не имеет для жителей обязательной силы, — я нахожу, что распоряжения вашего превосходительства по предложению моему от 7 апреля № 1959, могли состоять исключительно лишь в сообщении, на точном основании ст. 2051 т. II ч. I Св. Зак. (изд. 1876 г). Московскому городскому общественному управлению проекта обязательного по настоящему предмету постановления, составленного на точном основании и в пределах, указанных помянутым предложением моим, и затем, только по изъявленному Городскою думою согласию на таковой проект и по исполнении указанных в ст. 2053 т. II, ч. I предписаний закона, таковое постановление, как обязательное, могло бы быть обнародовано к надлежащему исполнению.

В виду изложенных соображений, я предлагаю вашему превосходительству сделать по вверенной вам полиции распоряжение о том, чтобы

приведение в исполнение приказа по Московской городской полиции от 14 апреля сего года за № 104 было немедленно приостановлено, и затем, если вы признаете нужным осуществить меру вами проектированную, то, составив проект обязательного постановления, на основаниях, изложенных в одобренном мною мнении комиссии для осмотра фабрик и заводов, в дальнейшем направлении сего дела Вы имеете поступать по указанию ст. 2050—2054 т. II, ч. I (изд. 1876 г.)».

Прочитав эту бумагу, я тотчас поехал поблагодарить князя. «Видите, как я справедлив», — сказал он мне подбоченясь. Я, разумеется, вполне с этим согласился и воздал ему должную честь, но про себя не мало смеялся всей этой комедии и этой фигуре.

Яновский долго не выдержал подобных приемов. Он вскоре вышел, о чем никто не жалел, и сделан был полтавским губернатором. Его заменил Козлов, бывший уже прежде обер-полицеймейстером в Москве, человек легонький, но весьма обходительный, с которым можно было иметь дело.

Вскоре представился случай отменить и постановления о дворниках. Летом 1882 года государь приехал в Москву на Всероссийскую выставку. Я заранее получил от генерал-губернатора некоторого рода воззвание к патриотизму Думы с вопросом, не пожелает ли она с своей стороны сделать что-нибудь для охраны его величества. Весь этот вопрос об охране я считал глупыми пустяками, выдуманными легкомысленными людьми, которые желали выслужиться, а потому не хотел брать на себя никакой инициативы. В это время приехал ко мне один из старообрядческих заправил, Шибаев, с предложением устроить охрану совокупными силами. Я отвечал ему, что совершенно понимаю их положение: будучи несправедливо теснимы, они желают выражением верноподданнических чувств и преданности царю получить какие-нибудь облегчения. Но мы вовсе не находимся в тех же условиях и не желаем соваться вперед с предложениями, которые в сущности смысла не имеют. Если полиции нужно содействие, мы не откажемся; но предлагать свои услуги помимо полиции, значит показывать к ней недоверие и брать на свою ответственность охрану государя, чего мы ни в каком случае сделать не можем. Я прибавил, что и руководить этим делом у нас некому. Неизвестным нам лицам из Петербурга мы не доверяем и не желаем им подчиняться. Из местных же властей, на кого мы положимся? На Александра Александровича Козлова? или на Василия Степановича Перфильева, или, может быть, на вице-губернатора Ивана Ивановича Красовского? Он расхохотался и спросил меня, знаю ли я графа Алексея Павловича Баранова? Это был молодой товарищ

прокурора. Я отвечал, что знаю и тем менее имею причину считать это дело серьезным. На том мы и расстались. Когда назначен был день приезда царской фамилии, я поехал к генерал-губернатору и сказал ему, что мы никакого заявления не сделали, ибо не можем принять на себя ответственность за охрану государя: если доверяют нашему вызову, он приедет в Москву и что-нибудь случится, вина падет на нас. Но мы всецело ставим себя в распоряжение князя, как начальника столицы, если ему нужно наше пособие, то мы готовы. Он прислал в этом смысле конфиденциальное воззвание; я собрал всех гласных на частное совещание. Многие из самых почтенных людей Думы вызвались добровольно участвовать в охране; старшиной был выбран Иван Кузьмич Бакланов. Все это, как я ожидал, вышло чистою комедией. Никакой нужды в этой охране не было, и Бакланов с негодованием рассказывал мне о способе обращения с ними полиции. Наконец, в самый день отъезда государя, сидя в Управе, я в два часа пополудни получил извещение от генерал-губернатора, что все участвовавшие в охране должны в три часа собраться в здании выставки, на Ходынском поле, что государь будет их благодарить. Разумеется исполнить это в такое короткое время было невозможно. Князь об охране совсем забыл, и это была не более, как отписка.

Проводив царственных гостей, я на следующее утро отправился к князю Долгорукому и представил ему, что гласные могут считать себя обиженными. Мы не хотели соваться вперед с заявлениями, а поставили себя вполне в его распоряжение; по его вызову многие почтенные гласные пошли в охрану,— он лишил их даже случая лично представиться государю и получить от него благодарность. «Я вам выхлопочу благодарность»,— сказал он. «Этого мало,— отвечал я;— им было бы лестно видеть самого государя и получить от него благодарность; а бумага не имеет ровно никакого значения. Теперь есть только один способ поправить дело: вы можете изъявить благодарность от себя, облегчивши обязательные постановления. Теперь есть к тому прямой повод: государь уехал, все обошлось благополучно, и нет никакой причины удерживать строгие меры. Вам не нужно даже отменять свои постановления; вы можете просто, в виду успокоившегося положения, поручить обер-полицеймейстеру войти в переговоры с городским управлением на счет возможных облегчений». Долгорукий чувствовал себя кругом виноватым и на все согласился. Я созвал в Управу нескольких гласных, в том числе Охлябинина и Герье, которые все более ратовали в Думе; приехал Козлов, и всех дело было

устроено к общему удовольствию. Гласные, участвовавшие в охране, получили *конфиденциальную* благодарность, над чем не мало смеялись.

Так уладилось это дело. Как видно, мы с князем Долгоруким жили в миру. До самого конца у нас не было никаких столкновений, и он всегда старался быть очень любезным. Но я хорошо знал, что он меня не долюбливает. Ему нужен был лакей, а я был независимый человек, с которым надобно было считаться. Стараясь устранить всякие столкновения и шероховатости, я был далеко от тех угождений, которые более всего его пленяли. Я ему не льстил и считал несовместным со своим достоинством ездить встречать и провожать его на железную дорогу. Он меня терпел и даже старался со мною ладить, пока он думал, что я крепко стою в высших сферах. Но летом 1882 года совершилась перемена министерства, которая поставила меня в совершенно другое положение.

На место Игнатьева министром внутренних дел был назначен граф Толстой.

Об обстоятельствах, сопровождавших падение Игнатьева я был извещен следующим письмом Победоносцева:

«Любезнейший Борис Николаевич. Ныне вы — человек честный и прямой мысли — состоите в голове Москвы; вы же и старый приятель мой. Поэтому к вам обращаюсь для разъяснения вам дела, стоящего у всех на языке и отуманенного невообразимою сплетней и намеренно пускаемою ложью. Между тем, крайне важно, чтобы все честные русские люди знали *истинную суть* его — важно не для меня, ибо я не забочусь о лжи, отовсюду на меня сплетаемой, а для правого суждения о действиях поистине честного нашего государя.

Вот вам *истинная* история о *земском соборе.*

Не ведая ничего, 3 мая вечером я получил от государя приказание приехать на следующее утро в Петергоф. Из письма я видел, что дело идет о каком-то предмете важном, сильно волнующем государя.

На утро, по приезде, государь объявил мне, что гр. Игнатьев убеждает его к принятию меры, представляющейся весьма странною и сомнительною, — к созванию земского собора.

Я пришел в ужас от такого легкомыслия. Но ужас мой удвоился, когда я прочел подлинные бумаги. Это были — кроме двух объяснительных записок, готовые проекты манифеста, предназначенного на 6 мая, и рескрипт министру внутренних дел на то же число. 6 мая предполагалось, как двухсотлетие со времени последнего собора.

В манифесте напыщенным языком, напоминавшим фразы передовых статей «Руси», сказано было, «помянув дни древние и примеры великих предков, первовенчанных царей и пр. — заблагорассудили мы торжество коронации (на Пасху 1883 года) совершить перед собором — всех чинов и «выборных от земли» — от дворян, от купцов, от городов, от землевладельцев, от крестьян каждого уезда — отовсюду, из Туркестана, Сибири, Польши, Финляндии и проч... «для совещания государя со всей землей: так и отныне да будет». Объясняется, что будут предложены вопросы об устройстве губернских и уездных учреждений! Далее ряд фраз в таком роде: «да обновится единение в любви, уже не токмо властной и покорной, но и советной»...

Что я мог сказать государю, кроме того, что это — безумие и легкомыслие неописанное!

Государь выразил намерение собрать некоторых министров и предложить им на обсуждение проект Игнатьева. Я не сомневался, что всякий человек со здравым смыслом и некоторым знанием истории будет одного со мною мнения.

Вечером того же дня, часу в 12-м, вдруг вторгся ко мне П. Д. Голохвастов, известный проповедник земских соборов. Я и не знал, что он в Петербурге. Он пробыл у меня пять минут, и я узнал от него, что с месяц тому назад Ив. С. Аксаков отправил его в Петербург к Игнатьеву, сказав ему торжественно, что готовится земский собор, и что он определяется чиновником особых поручений к Игнатьеву. Он пришел ко мне в ужасе, что дело слишком быстро двинуто, а может быть и пришел для того, чтобы выведать кое-что; но я посоветовал ему бросить глупости о соборе и уезжать назад в Воскресенск.

Прошло несколько дней. Я никому не говорил ни слова, но слышал, что в городе что-то шушукают. Вдруг появился номер «Московских ведомостей» со статьей о земском соборе; затем на другой день — статья в «Новом времени» аналогическая, а «Новое время» считается — основательно — органом Игнатьева.

Прошла неделя. Игнатьев был у государя и просил его оставить все дело без последствий. А между тем, сам не только не молчал, но ездил по разным лицам и доказывал правду и необходимость своего предприятия. Со мною — ни слова; но ездил он несколько раз к Островскому, пытался его уговаривать, присылал к нему за тем же Воейкова и Голохвастова и пел ту же песню разным дамам в Петербурге и в Петергофе. Он продолжал упорно отстаивать свою несчастную мысль. Это было нехорошо с его стороны — пускать в обращение толки об этом

деле, когда ему известно было, что государь не одобряет его, и когда сам он просил оставить его без последствий.

Мало того: с удивительным легкомыслием он повел игру в газетах. Раздосадованный первою статьей «Московских ведомостей», он стал обращать на «Московские ведомости» вину первого разглашения.

Объявил газетам распоряжение — не печатать статей ни pro ни contra * о земских соборах. Но в то же время, конечно, по уговору с Аксаковым, в «Руси» появилась известная статья, потом в «Московских ведомостях» — другая, потом в других газетах. Толки пошли по всему городу. Поднялась полемика и в газетах и в гостиных.

Все это стало известно и государю. Положение становилось крайне неудобным. Необходимо было прекратить его, и государь назначил у себя предположенное совещание. Внезапно получил я, и еще трое, в том числе Рейтерн и сам Игнатьев приказание приехать в Петергоф 27 мая.

Я вынес тяжелое впечатление из этого заседания. Игнатьев поставил себя в позорное положение. Не чувствуя под собою почвы, он пытался выпутаться и хотел дать делу такой вид, что предполагался им лишь церемониальный вызов, подобный тому, какой всегда бывал в коронации. Но бумаги были налицо. Манифест говорил совсем другое, и он сам на обличение себе должен был прочесть его. Все присутствовавшие, без всякого различия в мнениях, признали предприятие исторической фантазией, которая на практике оказалась бы безумным и опасным делом. Пришлось ему выслушать и обличения в том, что он сам разгласил об этом деле в публике и в журналах!

Сам он высказался в том смысле, что затем ему оставаться нельзя (хотя продолжал отстаивать свой проект), и вероятно вскоре последует его увольнение. Вот вам, любезнейший Борис Николаевич, правдивая повесть об этом жалком деле.

До 4 мая, пока я не знал об этом, я считал долгом отстаивать Игнатьева, хотя его лично предупреждал неоднократно, что нельзя быть без правды, и что его политика оборвется, так как он не имеет прямого и твердого слова. С этой минуты, с 4 мая, я от него отрекся.

Он обличил себя перед теми, кому известен весь ход дела. Но остается еще широкое поле обмана и обольщений для тех, кому истина неизвестна.

Я не сомневаюсь, что на этом поле он будет работать для того, чтобы оправдать себя и утвердить свою популярность в нашем дряблом обществе. И теперь уже здесь многие просла-

вляют его за проект земского собора. В Москве фантазеров и болтунов тоже непочатый угол. Одним он будет пускать пыль в глаза конструкцией фантастического собора, других будет уверять, что хотел устроить только церемониальное собрание. В умах только прибавится от того смуты.

Я пишу вам не с тем, чтобы вы показывали письмо мое, но с тем, чтобы вы сами знали истину, и в случае нужды могли бы объяснить ее тем, кто ее не знает и судит о деле по слухам и бабьим сплетням.

О существе дела нечего и говорить вам. Вы лучше многих знаете, что за фантазия эти земские соборы, которые с легкой руки К. С. Аксакова, пожаловали у нас демократические мечтатели в какое-то исконное, органическое учреждение русской правды.

Обнимаю вас. Ваш К. Победоносцев. 28 мая 1882 г. Петербург».

Я отвечал Победоносцеву, что описанные им события действительно представляются мне чистою комедией: Аксаков, отряжающий для сочинения земского собора глупого Павла Голохвастова, известного только бездарным переложением древних былин; Игнатьев, который, как настоящий фокусник, выкидывает какую угодно карту: хотите, туза! хотите, семерку! Обличение этого фокусника, который принужден сам читать свои собственные измышления, от которых он только что отказывался, все это было достойно пера Гоголя. И к довершению всего, вдруг на сцене появляются опять Дон-Мерзавец и Донна Ослабела...

Для России назначение графа Толстого было, однако, не шуткою. Это был роковой шаг, определивший окончательно направление нового царствования. Против Игнатьева давно поднимался вопль, особенно в Петербурге. При его лживости и легкомыслии не только невозможно было на него положиться, но никогда нельзя было знать, какую штуку он вздумает выкинуть. Давно искали его преемника; но никому не приходило в голову, что на важнейший пост в государстве призван будет человек, даже не служивший на этом поприще, не имеющий в нем ни малейшего опыта и ознаменовавший себя только тем, что заслуженно возбудил против себя всеобщую ненависть. И вдруг, неожиданно для всех, по мановению державной воли, этот человек, злобный и лживый, бюрократ до мозга костей, ненавистник всякого свободного движения, выдвигался из тьмы, в которую он был погружен, и облекался безграничными полномочиями для подавления всякого живого начала в несчастной русской земле! Это был вызов, брошенный всему, что думало

и чувствовало в России, всему, что питало в себе какие-нибудь благородные помыслы и стремления. Правительство во всеуслышание заявляло, что оно в обществе не нуждается и отныне будет опираться исключительно на доползшее до вершин отребье бюрократических порядков. Это было вместе с тем проявление полного отсутствия всякого нравственного смысла в тех, кому вверены судьбы отечества. Маккиавелли замечает, что князь познается по тем людям, которыми он себя окружает. Толстой был личным выбором монарха. Победоносцев его подсунул, советовав поговорить с ним о мерах против католицизма, а царю он полюбился. Узнав о его назначении я сказал, что верно государь, как честный человек, хочет испытать ложь во всех ее видах: ложь хитрую в лице Лорис-Меликова, ложь легкомысленную в лице Игнатьева и ложь злую в лице графа Толстого. Но последняя, видимо, понравилась и до конца осталась в фаворе. Толстой угождал крутому и самовластному нраву, а это было именно то, что требовалось.

Признаюсь, я в то время не верил, чтобы такое управление могло быть продолжительно. В виду страшной энергии, которую проявили разрушительные элементы после катастрофы 1 марта, казалось, едва ли будет достаточно всех сил русской земли, чтобы побороть все возрастающее зло. К внутренней неурядице присоединялось и напряженное внешнее положение. При громадных вооружениях Европы, ежеминутно можно было опасаться, что вспыхнет война, в которую мы волею или неволею будем вовлечены, и которая потребует от России неизмеримых жертв. При таких условиях выбор Толстого представлялся мне еще большим безумием, нежели возложение иностранных дел на ограниченного и дряблого Гирса и назначение ничтожнейшего полишинеля Делянова министром народного просвещения. Худшей комбинации нельзя было вообразить.

Все это я высказал в разговоре с Победоносцевым, который летом 1882 года приезжал на выставку и остался в Москве после отъезда царской фамилии. «Вы — единственный серьезный человек из всех окружающих царя, — сказал я ему; — вам он всего более доверяет. Вас, поэтому, Россия считает всего более ответственным за то, что совершается, с вас мы, русские люди, вправе требовать отчета. К чему вы нас привели? После 1 марта все единодушно готовы были столпиться около престола и следовать каждому мановению царя. А теперь в какое вы нас поставили положение? Вы окружили престол грязью, так что он весь ею обрызган; вы вытащили из тьмы всякое отребье и вверили ей управление Россией. Все порядочные

люди принуждены отвернуться с негодованием. Вы восстаете против земского собора, но вы нас насильно наталкиваете на земский собор». — «Земский собор, это — хаос!», — воскликнул он. — «Знаю, что это хаос, — отвечал я; но из хаоса выходит новый мир, а из гнилого дерева ничего не выйдет, кроме разложения». — «Да кто же вам его даст?» — Я схватил его за плечо: «Возьмем, Константин Петрович, возьмем. И для этого не нужно нам двинуть пальцем, достаточно сидеть открывши рот, и все будет в него падать само собою. Неужели вы в самом деле воображаете, что вы с вашею петербургскою гнилью в состоянии вывести Россию на правильный путь?»

Говоря таким образом, я, конечно, имел в виду не дряблое русское общество, которого раболепство постоянно приводило меня в негодование, а те подземные силы, которые проявились с такою ужасающею энергиею и которые требовали отпора. Но я рассчитывал на неведомый мне элемент. Мог ли кто-нибудь предугадать, что и эти разрушительные силы улетучатся так же, как улетучились дворянские конституционные поползновения и все общественное движение 60-х годов, как улетучиваются вообще все увлечения русского общества. Народная пословица гласит: «на то щука в море, чтобы карась не дремал». Щука оказалась неважная; удалось их несколько выловить, и огромный русский карась задремал в болотной тине, позволяя ползающим по нем насекомым питаться его плотью и кровью. И будет он дремать, пока какая-нибудь новая катастрофа, внутренняя или внешняя, не пробудит его от постыдного сна. И тогда вдруг на совершенно неприготовленное к тому общество навалится и земский собор и, пожалуй, состряпанная кем-нибудь наскоро конституция. Никто, конечно, не поручится за то, что в одно прекрасное утро замолкнувший на время нигилизм не воспрянет с новою силой. Вогнанная внутрь болезнь разъедает организм и проявляется внезапно, в ужасающих признаках. Но скоро ли наступит неминуемый кризис? Все человеческие расчеты оказываются тщетными, когда смотришь на современное напряжение Европы, которое, казалось бы, не может длиться и которое, однако, тянется год за годом в течение двадцати лет, и не предвидится ему конца. Чувствуется, что пора наконец очиститься удушливому воздуху, который сделался невыносим; но когда соберется гроза? и что она за собою принесет? Можно предвидеть страшные катастрофы, погибель миллионов людей, но не видать еще ни малейшего облика того светлого мира, который водворится по миновании бури. Наши потомки увидят лучшие дни, а мы доживем разве только до разрушения.

Победоносцев уныло слушал мои негодующие упреки. Он считал меня безвозвратно погибшим человеком. После этого внешние отношения сохранились, но дружеская связь порвалась навсегда.

Граф Толстой тоже явился в Москву на выставку, сопровождая государя. Со мною он был более нежели холоден. Немедленно по приезде, после выхода, на котором я подносил хлеб-соль, я поехал к нему расписаться. В тот же день я был приглашен к царскому столу в Петровский дворец. Он был там, но не сказал мне ни слова. И после этого мне случалось не раз бывать в Петербурге; всякий раз я по обязанности являлся к нему, даже в его приемные дни, но как будто нарочно случалось, что я не заставал его дома, и так до конца я не обменялся с ним ни единым словом, хотя, казалось бы, для министра внутренних дел Москва представляла нечто довольно существенное. Личные отношения стояли для графа Толстого выше всяких общественных обязанностей. Мне, с своей стороны, было приятно иметь с ним как можно меньше дела. Я знал его за негодяя, и ему это было известно. Поэтому он и старался меня избегать, а я, по возможности, держал себя в стороне.

Вскоре я мог испытать последствия перемены правления. 12 января был обычный обед старых студентов Московского университета. Я хотел воспользоваться этим случаем, чтобы сказать несколько слов в пользу существующего университетского устава, на который ополчались со всех сторон. Катков вел против него бесстыдную войну в «Московских ведомостях», по обыкновению, извращая факты, раздувая мелочи и скрывая самое существенное, а Делянов представил уже свой новый проект в Государственный совет. Я полагал, что если журналисту дозволено с яростью нападать на существующий закон, то старому профессору и представителю общества дозволено его защищать. За обедом я сидел возле Капниста. Меня несколько удерживало опасение, что он будет поставлен в ложное положение, как попечитель, если я выступлю в защиту существующего устава; но он вовсе не разделял взглядов министерства и одобрил мое намерение. Тогда я после обычных тостов, поднявши бокал, сказал следующую речь:

«М. м. г. г. Здесь, на общем празднестве, собрались люди разных поколений, различных направлений, действующие на разных поприщах; но всех нас соединяет одно общее чувство — любовь к воспитавшему нас учреждению. Мы с напряженным вниманием следим за его судьбами, иногда с сердечною болью,

иногда—с радостью. В наступающем году мы можем смотреть на Московский университет с чувством радости. Во всех университетах и во многих других высших учебных заведениях были волнения и беспорядки; одни студенты Московского университета остались спокойны. Они не поддались внешним подстрекательствам и не нарушили порядка. В этом я узнаю студентов Московского университета, как я их знал в прежнее время, когда я имел честь быть профессором. Более двадцати лет тому назад, когда я вступил на кафедру были тоже волнения и беспорядки; но Совет Московского университета, как один человек, стоял за соблюдение закона, и скоро волнения утихли и в течение многих лет не возобновлялись. Молодые, горячие головы легко увлекаются, но они также легко поддаются советам благоразумия, когда эти советы даются им с должным авторитетом. Эти явления доказывают, что причину беспорядков следует искать не в уставах, а в том духе, который господствует в учреждениях и в окружающей их среде. В то время, о котором я говорю, не было еще оклеветанного устава 1863 года, который ныне становится козлом отпущения за все грехи, — за грехи подчиненных так же как и начальства, но в особенности за грехи начальства. Тогда господствовал устав 1835 года и ректор был даже не выборный, а назначенный от правительства, и беспорядки все-таки были. Но у нас, к сожалению, вместо того, чтобы искать причины зла и лекарств от него там, где они есть, ищут их в чернилах и бумаге. Как скоро замечается зло, хотят менять законы и уставы. Без сомнения, это гораздо легче, нежели действовать на людей. Людей надобно подготовлять, выбирать, надобно с ними ладить и давать им направление; а чернильная строка всему поддается. Достаточно набрать трех, четырех человек, насквозь проникнутых канцелярским духом и устав готов, и можно его провести. На это идут тем охотнее, что в перемене законов каждый видит возможность устранить препятствия своей воле: подчиненные хотят расширить свои права; управляющие хотят расширить свою власть. Мы не умеем пользоваться тем, что есть, а требуем все большего и большего, между тем как первое условие правильного общежития состоит в умении жить среди преград, поставляемых чужою волею. Отсюда, м. м. г. г., прискорбное явление, характеризующее современное русское общество. Вместо стремлений к охранению столь недавно созданного является стремление к разрушению. Оно идет не только снизу, но и сверху. Двадцать лет тому назад были совершены величайшие преобразования, которые обновили всю русскую землю.

Казалось бы, надобно их упрочить, укрепить; нельзя же каждые двадцать лет менять учреждения. Вместо того хотят все переделать на новый лад. Это стремление проявляется всюду: и в попытках изменить Положение 19 февраля, этот краеугольный камень обновленной России, и в стремлении пересоздать земские учреждения, и в сочинении фантастических единиц, которыми думают заменить существующие органы управления. То же стремление проявляется и в походе против Устава 1863 года. Этот Устав, м. м. г. г., мы обсуждали в Совете Московского университета в то время, как он готовился перейти в закон. Совет Московского университета был тогда насквозь проникнут охранительным духом; мы твердо стояли за законный порядок. Но этот охранительный дух был вместе и дух либеральный. Это был дух Положения 19 февраля, дух, создавший земские учреждения и Городовое положение. Мы были убеждены, как я и ныне убежден, что университеты еще более, нежели земство и города, нуждаются в ограждении от административного произвола, и эти гарантии были им даны. Устав 1863 года узаконил независимое положение университетской корпорации, положение, которое было уже подготовлено жизнью. Независимость, м. м. г. г., как и все человеческое, может дать и хорошие и дурные плоды, смотря по тому, как ею пользуются; но нет сомнения, что только при независимости может развиться крепкий корпоративный дух и нравственный авторитет над учащейся молодежью, тогда как раболепная покорность порождает только крайности бессилия и возмущения. Но узаконяя независимость корпорации, устав 1863 года не умалил значения власти. Мы ясно сознавали, что только при дружном содействии университетской корпорации и контролирующей ее власти в университете может установиться тот нравственный порядок, который составляет жизнь всех учебных заведений. К сожалению, вместо того, чтобы действовать в этом направлении, хотят уничтожить самую почву, на которой эта согласная деятельность возможна; хотят ниспровергнуть самый устав 1863 года и заменить его чем-то новым, у нас небывалым. И к удивлению, все это делается во имя успокоения умов. Забывают первое правило здравой политики: если вы хотите успокоить умы, не ломайте учреждений, не уничтожайте существующего порядка, не выбивайте людей из обычной колеи; если же вы производите ломку, вы неизбежно породите брожение. Что из всего этого выйдет? Никто не может сказать. Но мы надеемся, что университет выдержит это испытание, так же, как он выдержал многое другое, так же как он выдерживал период гнета

и периоды распущенности. Во всяком случае, сохраняя спокойствие среди общего волнения, студенты Московского университета доказали до очевидности, что мир в стенах университета зависит не от уставов, а от нравственного духа, который в них водворился. Этим они оказали услугу и университету и России. Как старый профессор, я поднимаю бокал за настоящих и бывших студентов Московского университета!»

Речь произвела некоторое впечатление. Все присутствующие подошли ко мне с радостным поздравлением. Даже радикалы, смотревшие на меня искоса, приветствовали меня приятною улыбкой. Из Петербурга я получил сочувственную телеграмму от нескольких профессоров: Сергеевича, Горчакова, Дювернуа. Менделеев также прислал мне следующую телеграмму: «Сейчас только прочел вашу речь. Нельзя не благодарить за громкое слово; истинно остается радоваться сказанному и чествовать произносящего». Дмитриев также был очень доволен и говорил, что это было сказано как нельзя более кстати. Но в Москве некоторые гласные находили, что городскому голове лучше было воздержаться от сторонних заявлений. Между прочим, Найденов сказал мне, что он пожалел об этой речи. Я отвечал, что на мои глаза городской голова не есть только думский чиновник, но представитель Москвы, как нравственного и умственного средоточия России, а потому ему не только не могут быть чужды все общественные интересы, а напротив, он должен быть на них вдвое отзывчив: иначе он не стоит в уровень с своим положением.

Но правительство смотрело на голову именно, как на думского чиновника, и считало для него непозволительным то, что разрешалось каждому гражданину. Журналисту дозволялось самым бессовестным образом нападать на существующий закон, а старому профессору, если он занимал должность головы, не дозволялось защищать этот закон. Через несколько времени после этого обеда я встретился с князем Долгоруким на похоронах двух дочерей Дмитрия Алексеевича Милютина, которые скончались в Оренбурге и хоронились в Москве, в Девичьем монастыре.* Мы вместе с князем поднимались по лестнице, которая вела в церковь. «А я должен вам сообщить очень неприятную весть, — сказал он, — мне поручено сообщить вам, что государь очень недоволен вашей речью и нашел ее неуместною». — «Я очень об этом жалею, — отвечал я спокойно. — Я действовал по совести и думаю, что исполнил долг гражданина». Князь посмотрел на меня с изумлением: «Вы так это принимаете?» — сказал он. — «А как же?» — «Я думал, что это вас совсем

сразит». — «Напрасно вы думали; моя совесть чиста, и мне не о чем сокрушаться». Мы вошли в церковь и стали рядом. Он подозвал своего лакея и велел снять с меня шубу. Во время службы он все поглядывал на меня с недоумением и все повторял: «Однако, вы удивительный человек!» После похорон я отправился к нему и он прочел мне конфиденциально министерскую бумагу, весьма лаконическую и не содержавшую никаких объяснений. «Но что же мне отвечать?» — спросил он. — «Скажите, что я очень жалею о том, что навлек на себя неудовольствие государя; но я поступил по совести и не воображал, что выхожу из пределов своих прав, защищая существующий закон, на который другим дозволено нападать самым бессовестным образом». — Он опять посмотрел на меня с удивлением. «Однако вы молодец!» — воскликнул он. «Это происходит оттого, князь, что я для себя ничего не ищу и ничего не боюсь». — Но он, видимо, был озадачен и, провожая меня до передней, против обыкновения, все повторял ту же фразу: «однако вы удивительный человек!» Вечером я встретил его на празднике, который давало немецкое общество в Москве по случаю дня рождения императора Вильгельма, и он опять выразил мне свое изумление. Возможность спокойно принимать выражение царской немилости никак не входила ему в голову. Он считал меня или сумасшедшим или человеком на все готовым, опасным для государства.*

Я думал написать государю письмо с объяснением своих действий и вместе воспользоваться случаем, чтобы высказать ему всю правду на счет общего положения дел. И жена и друзья отсоветовали мне это делать, и я разорвал проект письма. Хорошо ли я поступил, не знаю. Без сомнения, я был бы отставлен несколько ранее. Но какая была бы от этого беда? Я очень хорошо понимал, что от подобного шага нельзя ожидать прямых результатов; но для стоящих наверху бывает полезно хоть однажды в своей жизни услышать правду из независимых уст. Воздержавшись от объяснений, приняв молча сделанный мне выговор, я поступил осторожнее; но исполнил ли я долг гражданина, об этом пусть судят другие.

Вскоре после этих происшествий нужно было ехать в Петербург приглашать государя на праздник, который город должен был дать по случаю коронации. В январе манифестом было возвещено, что коронация совершится 15 мая. От думы была выбрана комиссия, в которую вошли Щербатов, Самарин, Аксенов, Найденов, Алексеев и художник Шервуд. По предложению Щербатова решено было в Сокольниках устроить праздник

с угощением войск. Переговорив с моим старым приятелем Бобринским, который был губернским предводителем, я отправился к генерал-губернатору с официальным письменным прошением, не благоугодно ли будет государю принять праздник от города, но при этом заявил, что поеду сам, чтобы лично пригласить его величество. «Зачем вам ехать? — с неудовольствием воскликнул Долгорукий, который любил, чтобы все делалось не иначе как через него.—На-днях, я сам еду в Петербург и все вам устрою». Я отвечал, что, когда город дает праздник в честь государя, он не может довольствоваться официальною бумагой; голова должен лично просить государя. «Да ведь никогда нельзя знать, в какую минуту попадешь, — возразил Долгорукий, — ну если вас не примут?» — «Это будет афронт городу, и я выйду в отставку.» — «Вы это так принимаете?» — «Точно так». — Он знал уже, как я отношусь к царской немилости и не настаивал. С тем я и уехал.

По приезде в Петербург я немедленно отправился к Рихтеру и просил его сообщить государю о цели моего приезда и при этом внушить, что если меня не примут, то это будет оскорбление Москве, чего желательно избегнуть. Если меня не хотят, то пускай мне скажут, и я тотчас выйду в отставку, не желая быть помехой в таком торжестве. Я поехал представляться к министру внутренних дел, но он не принимал, и я расписался. Вслед за мною приехал и Долгорукий. Он сообщил мне с некоторым неудовольствием, что поданную мною официальную просьбу он должен представить через министра внутренних дел. Я, с своей стороны, сообщил ему, к великому его изумлению, что я получил уже приглашение явиться к обедне в Аничков дворец в день рождения государя.

Я поехал. Народу было множество. Тут был и Бобринский. Я стал на пути государя и императрицы при выходе из церкви. Они остановились, я просил их принять городской праздник. Оба весьма любезно изъявили согласие. Меня пригласили к завтраку. Уезжая, я встретил князя Долгорукого. «Ну что же, вы пригласили государя»? — спросил он с любопытством. «Пригласил». — «И что же он вам сказал? — «Что он очень рад принять городской праздник». — «Я решительно ничего не понимаю». — «И я тоже ничего не понимаю.» Неделю спустя по возвращении в Москву я получил через генерал-губернатора официальное уведомление от министра внутренних дел, что государю угодно принять праздник. Бюрократическая комедия шла своим чередом.

Приготовления к коронации требовали больших хлопот и

поглощали все время. Надобно было в Сокольниках построить павильон для массы гостей, заказать посуду для войска, приготовить яства и некоторое угощение для избранной публики. Город же должен был устроить трехдневную иллюминацию вне пределов Кремля, который находился в ведении Дворцового управления. Наконец, мы должны были поставить подмостки для публики в день въезда и раздавать билеты. К назначенному времени начали съезжаться и русские сановники и иностранные гости. Все считали долгом сделать визит городскому голове и всем надобно было отдавать визиты. Кроме нескончаемых хлопот и приемов в Думе, приходилось рыскать по городу с утра до вечера, представляться целому сонму иностранных принцев и всех звать на Сокольничий праздник. Голова шла кругом.

Еще до праздника предстояло на другой день после коронации торжественною депутациею подносить государю хлеб-соль. Я полагал, что от имени Москвы придется сказать несколько слов, и желал, чтобы эти слова имели некоторое значение. Набросив проект краткой речи, я показал его Щербатову и Самарину. Мы тщательно взвесили все выражения. Однако я не считал возможным сказать что бы то ни было, не заручившись заранее согласием государя. Поэтому в самый день приезда императорской фамилии в Петровский дворец, я поехал к Рихтеру. Не зная, застану ли я его дома, я в письме к нему изложил побуждения, руководившие мною. Но он меня принял и тут же, прочитав письмо и речь, передал то и другое Воронцову, который в эту минуту шел к государю.

Письмо было следующего содержания:

«Любезнейший Дмитрий Борисович. Обращаюсь к вам, как к старому другу, с которым меня связывают дорогие воспоминания, прошу вас оказать услугу, не лично мне, а русскому обществу, которого я состою одним из представителей.

Думаю, что в таком торжественном случае, как предстоящая коронация, когда царь и народ становятся лицом к лицу, соединяясь в общей молитве о ниспослании божьей благодати на новое царствование, невозможно, чтобы все ограничилось официальными церемониями и празднествами, чтобы не было живого излияния мыслей и чувства народа перед царем. В этих видах, как представитель столицы, составляющей нравственное средоточие русской жизни, я счел бы уместным сказать несколько слов при поднесении их величествам хлеба-соли. Понятно, однако, что в такую минуту нельзя сказать ни единого слова, которое бы не было одобрено государем. Но если бы для получения этого одобрения я пошел обыкновенным офи-

циальным путем, то мысль и чувство по дороге скоро бы испарились. Тут встретились бы препятствия и со стороны этикета и со стороны мнимых преданий; всякому изъявлению старались бы придать возможно казенный и бесцветный оттенок, и живое слово обратилось бы в обычный мертвый формализм. Поэтому-то я и обращаюсь к вам. Не сочтете ли вы возможным представить на благоусмотрение государя приложенную при сем речь. Если она будет одобрена, если в ответ на наши искренние излияния мы услышим одно лишь слово: «надейтесь на меня», то мы будем вполне удовлетворены и сохраним от коронации не одни лишь воспоминания пышности и церемоний, но нечто более глубокое и плодотворное. Постарайтесь это сделать.»

Проект речи был следующий:

«От имени Москвы, по старому русскому обычаю, имею счастие, в этот торжественный день, поднести вашим императорским величествам хлеб-соль.

На этом блюде, государь, изображено знаменательное событие русской истории — венчание на царство прародителя дома Романовых, Михаила Федоровича, излюбленного всею землею. Цари этого дома оправдали безграничное доверие к ним русского народа: они сделали Россию великою, могущественною и славною, они насадили в ней гражданственность и просвещение. Ваш незабвенный родитель довершил деяние своих предков, сделав Россию страною свободной. Ныне снова русские люди стеклись в Москву на всенародное торжество. Мы, ваши верные подданные, повергаем к стопам вашего величества наши чувства и упования. Мы надеемся, что с помощью божьею, великие дела предков будут увенчаны новыми, славными делами; мы надеемся, что под вашею державою семя, насажденное вашим августейшим родителем, будет крепнуть и развиваться; мы твердо верим, что в дарованных им дорогих нам учреждениях положено начало новой, великой эпохи русской истории. Ваше величество! Укажите путь, и вся Россия, собранная вокруг вас, пойдет за вами, как искони он шла за своим царем.

«Государь! Москва приветствует вас и царицу с радостью и любовью! Провидение да хранит ваши дни на счастие и славу отечества!»

Вскоре по возвращении домой я получил официальное уведомление, что государю не угодно, чтобы при поднесении хлеба-соли произносились какие бы то ни было речи. Приказ, повидимому, был отдан уже накануне, ибо бумага была помечена предшествующим числом. Граф Толстой догадывался, что могут

что-нибудь сказать и хотел это предупредить. Мне это было все равно, ибо до сведения государя было уже доведено то, что я хотел высказать, а это было все, что требовалось. На следующий день я встретил князя Долгорукого на вечере у Гирса. «А вы опять обратились к государю помимо меня!»,—воскликнул он с неудовольствием. «Я, князь, не хотел ставить вас в ложное положение, — отвечал я. — Если бы я мог прямо через вас испросить волю государя, я был бы очень рад; но вы знаете, что просьба опять пойдет через министра внутренних дел, а это не может быть приятно ни для меня, ни для вас. Поэтому я и избрал другой путь».

В виду столь недавних злодеяний, все опасались за въезд. И точно, немудрено было из несметной толпы, наполнявшей подмостки, окна и крыши, бросить маленькую бомбу. Об этом ходили тревожные слухи. Однако все обошлось благополучно. Въезд был торжественный и великолепный: раззолоченные кареты, запряженные цугом, придворные и сановники в великолепных мундирах, пышно одетые дамы, разнообразные войска в полной парадной форме, азиатские инородцы в своих пестрых и оригинальных костюмах, и при этом звон колоколов и массы ликующего народа, все это представляло зрелище, какое редко удается видеть. И как напоминание о всех великих эпохах русской истории, по всему пути, между убранными зеленью арками, расставлены были по мысли и рисункам Шервуда красивые, украшенные флагами хоругви, с портретами замечательнейших русских государей, св. Владимира, Александра Невского, Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III, Михаила Федоровича, Петра Великого, Екатерины, Александра I и Александра II, с надписями приличными каждому и могущими иметь значение для настоящего дня. Под изображением св. Владимира была надпись: «Гряди с миром! Вера святая да будет силою твоею и спасением народа твоего». Под Невским: «Да укрепит господь десницу твою на врагов твоих». Под Калитой: «Да преисполнится сокровищница твоя и да изольются щедроты твои на подданных твоих». Под Донским: «Да защитишь праведных от врагов креста господня и да исполнишь святой завет предков твоих». Под Иваном III: «Да возвеличит господь державу твою и да прославится она от края и до края земли». Под Михаилом Федоровичем: «Да услышишь глас народа твоего: глас народа — глас божий, избравший предков твоих». Под Петром: «Да исчезнет тьма и плоды просвещения да возрастут обильно в царстве твоем». Под Екатериною: «Да возвеличат царство твое мужи чести и совета, призванные тобою, и да утвердится

ими строй земли твоей». Под Александром Первым: «Да не усомнишься в народе твоем среди восставшей из пепла столицы твоей». Под Александром Вторым: «Да святится свобода верою и правдою и да явит она силу свою под державою твоею». Некоторые гласные настаивали на том, чтобы в числе других поставить и потрет Николая; но я решительно объявил, что ни за что на это не соглашусь. По мысли составителей эти надписи должны были служить выражением самых высоких пожеланий русского народа; для николаевского гнета тут не было места. Увы! Этим пожеланиям не суждено было сбыться. Царственное шествие совершилось иными путями.

Для Думы устроен был особый павильон, где я во главе городских представителей должен был встретить царя. Толстый и неуклюжий, он ехал впереди свиты, мало от нее отделяясь. Раскланявшись, я поспешил на Красную площадь, где на громадной эстраде собраны были ученики городских школ. При проезде государя они все хором должны были петь: боже, царя храни! К сожалению я не поспел к этой минуте, которая, говорят, была удивительно торжественна.

15 мая была коронация. С утра нас собрали во дворец и разместили по группам для церемониального шествия. Городские головы собрались со всей России и даже из дальней Сибири. Столичные шли во главе и одни имели доступ в Успенский собор. При входе в храм меня остановил новый государственный секретарь Половцев с вопросом: «Avez vous lu les rescrits de ce matin?»—«Pas encore». «Lisez! il y a pourtant quelque chose là dedans!»* сказал он, ударяя себя по лбу. Я потом прочел: кроме обычных официальных пошлостей там ничего не оказалось.

Я стоял в группе, помещавшейся сзади эстрады и видел только спины государя и императрицы. При таких условиях коронация не произвела на меня особенного впечатления. Самый Успенский собор с поновленною позолотою потерял тот почтенный вид древности, который придает ему величие и красоту. По окончании службы из церкви двинулось длинное шествие по соборам и оттуда во дворец. День был великолепный; Кремль был полон народа; церкви сияли, колокола гудели. Новый царь в порфире и короне шел прикладываться к мощам и затем поднялся по ступеням Красного крыльца. В массе господствовало одно чувство беспредельной любви и восторга. Для тех, кто умели думать и останавливались не на мимолетном настроении минуты, а на том будущем, которое возвещалось нынешним торжеством, оно представлялось покрытое мраком.

Надежда своим светлым ликом не осеняла всенародного ликования. Вслед за царем мы вошли во дворец. Государь вышел на балкон, чтобы показаться народу. При обратном шествии я стоял на пути. Он прошел мимо меня, с своим спокойным и светлым взором, который произвел на меня хорошее впечатление. Мне показалось, что он лучше того, что его окружает.

После того во дворце был парадный обед. Цари церемониально кушали в Грановитой палате, возобновленной к этому дню в чисто лубочном стиле какими-то нарочно выписанными для того провинциальными мазилками, которые расписали ее невероятно безобразными сценами из св. писания. Это был настоящий позор. На следующий день был коронационный бал. Тут зрелище действительно было волшебное. Великолепные залы Кремлевского дворца сияли бесчисленными огнями. Их наполняла густая толпа разодетых дам в русских нарядах, осыпанных жемчугами и драгоценными каменьями, и мужчин в вышитых золотом мундирах. Все с напряженным вниманием ожидали царского шествия, которое потянулось длинною вереницею, с императором во главе, и за ним вся царская фамилия, съехавшиеся отовсюду иностранные принцы и послы и высшие сановники государства. Внутренней пышности соответствовало и наружное великолепие. С террасы Кремлевского дворца, на которую двери были отворены настежь, открывался совершенно фантастический вид: кругом пылающие огнями Кремлевские башни, а внизу отражающая блески река и за нею бесконечная даль Замоскворечья, с улицами, домами и колокольнями, освещенными миллионами плошек. Иллюминация возобновлялась три дня; целую ночь несметная толпа двигалась по улицам, и пешая и в экипажах.

Городские головы решили ознаменовать это единственное для них собрание совокупным обедом. Как хозяин Москвы, я был приглашен на него гостем и посажен на председательское место. Если мне казалось неуместным, чтобы царь и народ соединялись в общем торжестве чисто церемониальным образом, не сказавши друг другу ни слова, то еще более я считал неприличным, чтобы собравшиеся один раз в жизни городские головы ограничились обычным в России поглощением яств и питей и выкрикиванием официальных тостов, не обменявшись мыслями, не сказавши разумного слова. И кому же было сказать это слово, как не представителю Москвы, умственного и нравственного центра России, принимавшего гостей у себя. Я решил, что мне необходимо сказать речь. А об чем было говорить, как не об отечестве, о его настоящем положении

и о его будущем? Недавно произошла страшная катастрофа, торжество разрушительных сил; и теперь еще мы трепетали каждую минуту, чтобы чего-нибудь не случилось. Царь не смел показаться народу без явной и тайной охраны. Неужели при этих условиях мы могли молчать? Тема была дана: единение всех для отпора разрушительным элементам. В ответ на тост, провозглашенный за мое здоровье, я сказал следующую речь:

«М. м. Г. г. Прежде всего считаю долгом поблагодарить вас от души за ту высокую честь, которую вы мне оказали, пригласивши меня сюда своим гостем. Я этим обязан, конечно, не себе, а тому, что я состою представителем Москвы. Вы хотели почтить древнюю столицу, в которой все мы, русские люди, видим нравственное средоточие русской жизни. Как представитель Москвы, приношу вам глубокую благодарность и смею уверить, что если русские города чувствуют свою живую связь с Москвою, то и Москва не менее живо чувствует свою связь со всеми частями русского государства. Москва перестала быть местопребыванием высшего управления, но она осталась главою русских городов. Москва даже более, чем город; Москва — это все истинно русское, принимая это слово не в смысле узкой и исключительной национальности, как иногда его понимают, а как начало широкое, всеобъемлющее, способное все в себя воспринять.

Я счастлив тем, что мне довелось быть представителем Москвы в эти торжественные дни, когда со всех сторон стеклись в нее русские люди для всенародного празднества. Не могу выразить того глубокого и отрадного чувства, которое возбуждает во мне нынешнее наше собрание. В нем есть что-то ободряющее и возвышающее душу. Я вижу перед собою представителей русских городов, пришедших сюда с противоположных концов Русской земли: из Перми, из Тавриды, из Риги, из Астрахани, из дальних городов Сибири. Что же знаменует это собрание? Вынесем ли мы отсюда только воспоминание тех торжеств, в которых нам довелось быть участниками, или среди нас, как искра, зародится живая мысль, которая послужит на общую пользу, или мы вынесем отсюда теплое чувство, которое останется для нас связью и будет поддерживать нас в нашей общественной деятельности?

Желательно, м. м. г. г., чтобы нынешнее наше собрание не прошло бесследно, чтобы оно было началом объединения земских людей на пользу отечества. Это единение составляет насущную нашу потребность. Мы принуждены оберегать, как зеницу ока, то, что нам всего дороже, самую святыню русского

народа. Мы радуемся, когда день прошел благополучно, между тем как все должно быть исполнено доверия и любви. России в настоящее время приходится вести борьбу уже не с внешними врагами, а с собственными своими сынами, посягающими на мирное и правильное ее развитие. Все мы алчем и жаждем законного порядка, а есть ли возможность утвердиться законному порядку среди тех ужасных преступлений, которые заставили содрогнуться всю Русскую землю? Тут приходится усиливать полицейский надзор, облекать власти чрезвычайными полномочиями, приостанавливать законные гарантии свободы. Все остальное должно быть отложено до более благоприятного времени, когда нам удастся осилить удручающее нас зло. Сумеем ли мы это сделать?

Всем нам, м. м. г. г., известно, что само по себе это зло не так страшно, как оно кажется по своим последствиям. Та партия, которая производит всю эту смуту, весьма немногочисленна. Она вербуется из недоучившейся молодежи, сбитой с толку и развращенной нелепыми учениями. Что же дает ей силу? Единственно то, что она организована, между тем как все остальное в России разрознено и разобщено. Одно правительство, очевидно, не в состоянии справиться с этою задачею: оно может действовать только внешними средствами, а внешние средства бессильны против внутренней болезни: тут необходимо воздействие самого организма; нужно содействие общества. Возможность этого содействия существует; начало ему положено в великих преобразованиях прошедшего царствования. По всей Русской земле созданы самостоятельные центры жизни и деятельности. Эти учреждения нам дороги; мы видим в них будущность России. Но все это разрознено, а потому бессильно. Петр Великий любил уподоблять тогдашнюю Россию рассыпанной храмине, требующей руки зодчего. Нынешняя обновленная Россия тоже подобна рассыпанной храмине; но в отличие от прежней, тут требуется не одна рука зодчего; надобно чтобы сами камни стремились сложиться в стройное здание. Старая Россия была крепостная, и все материалы здания были страдательными орудиями в руках мастера; нынешняя Россия свободная, а от свободных людей требуется собственная инициатива и самодеятельность. Без общественной самодеятельности все преобразования прошедшего царствования не имеют смысла. Мы по собственному почину должны сомкнуть свои ряды против врагов общественного порядка. А для этого необходимо прежде всего, чтобы люди узнали друг друга, чтобы они обменялись мыслями, чтобы они протянули друг другу

руку. Вот этому-то и может служить нынешнее наше собрание; в этом смысле я говорю, что оно может сделаться началом единения земских людей. Пройдет немного дней, и все мы снова разойдемся по всем концам нашего обширного отечества; но если мы унесем отсюда сознание общей связи и потребность совокупной деятельности, наше собрание не исчезнет бесследно. Дух, м. м. г. г., не знает границ; он связывает людей, разделенных тысячами верст, в одно живое органическое целое.

Таковы наши стремления, таковы наши мечты. Враги свободных учреждений, те, которые видят единственное спасение России в голом начале власти, могут усмотреть в этом опасность; пожалуй увидят в них даже нечто революционное. Мы можем равнодушно взирать на эти нарекания. Мы знаем, что нас одушевляет одно общее чувство, которое служит нам связью: верность престолу и любовь к отечеству, которому мы готовы жертвовать всем. Мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству; мы не требуем себе прав. Мы спокойно ожидаем, когда сама власть признает наше содействие; но когда этот зов последует, он не должен застигнуть нас врасплох: мы должны быть готовы. И мы можем быть уверены, м. м. г. г., что пора этого зова не слишком отдаленная. Ни внутреннее положение России, ни положение Европы не обещают нам период долгого мира. Могут настать грозные времена, когда потребуется напряжение всех сил Русской земли. Но если эти времена застанут нас соединенными, нам нечего опасаться. Крепкая единодушием своих сынов Россия выдержит все бури, как она всегда выдерживала постигавшие ее испытания. И она явит миру новые силы духа, не только те, которые возбуждаются действием сверху, но и те, которые возбуждаются в народе внутренним, живым движением свободы.

М. м. г. г., я поднимаю бокал за единение всех земских сил для блага отечества!»

Перечитывая теперь эту речь, я думаю, что я сказал наименьшее, что можно было сказать, менее даже того, что я сказал при вступлении в должность городского головы. В ней нет и тени не только революционных, но даже оппозиционных стремлений, высказывать которые во время коронации я считал бы совершенно неуместным. Вся мысль заключается в том, что при трудных обстоятельствах, в которых находится отечество, верховной власти может потребоваться наше содействие, и этот призыв не должен застигнуть нас врасплох. Многими мои слова были встречены сочувственно. Сидевший возле меня Старынкевич, всеми уважаемый президент Варшавы, сказал мне, что

он ожидал от меня такой речи. На дворцовом бале самарский городской голова, простой, но почтенный и дельный человек, благодарил меня за высказанные мысли. Но не так посмотрела на это администрация. Я ничего не подозревал, как вдруг на следующее утро я получаю записку от Аксакова с извещением, что ночью по всем редакциям разъезжал чиновник с циркулярным предписанием министра внутренних дел, воспрещающим печатать речь московского городского головы, в которой он *требовал конституции*.

Это была чистая гадость, клевета, пущенная в ход от правительства с целью меня компрометировать. Я тотчас поехал к Долгорукому и отвез ему текст речи, которая никому не была сообщена и вовсе не предназначалась для печати. Он притворился, что ничего не знал, что распоряжение было сделано без его ведома, и что только поутру, когда он поехал во дворец, его со всех сторон стали расспрашивать о моей речи, чем он поставлен был в самое глупое положение, ибо ничего не мог отвечать. Разумеется, я этому не поверил. Толстой, с своей стороны, уверял, что к нему с обеда приехали некоторые головы, возмущенные моими словами; но и это была такая же ложь. Впоследствии оказалось, что первым виновником всей этой переполохи был известный негодяй, взяточник и подлец, генерал Богданович, староста Исакиевского собора*. За обедом все городские головы нашли у своих приборов заранее литографированные им лубочные листки с изображением царя и царицы в коронационном одеянии, и он присутствовал тут на хорах, в качестве стороннего зрителя, в ожидании, что ему окажут какую-нибудь честь или благодарность; но ничего подобного не последовало. Услыхав мою речь, он тотчас полетел к Толстому с доносом, говоря, что я требовал конституции. Толстой с Долгоруким тут же смастерили штуку: не допросив меня, не потребовав от меня ни текста речи, ни каких-либо объяснений, они разослали по редакциям означенный циркуляр.

Другой экземпляр своей речи я тут же отвез Рихтеру с просьбою представить его государю. Я после у него спрашивал: сердится ли на меня государь за эту речь? Он отвечал, что нет. Ни один здравомыслящий человек не мог, конечно, толковать ее в смысле требования конституции. Прочитав ее, Дмитрий Самарин писал мне: «С благодарностью возвращаю. По прочтении, я еще более убедился, что на тебя, любезный Борис Николаевич, возведена клевета. Этой речи добросовестный человек не может придать значения *требования конституции*». Так смотрели на это даже некоторые министры, пользовавшиеся

доверием и расположением государя. Между прочим, Островский, в то время один из видных деятелей нового царствования, встретив меня на вечере, просил сообщить ему текст. У меня в ту минуту не было экземпляра в руках, а так как он на следующий день уехал в Петербург, то я туда послал ему экземпляр. Он отвечал мне следующим письмом:

«От души благодарю вас за присылку экземпляра вашей речи. Я могу теперь с документом в руках зажать, по крайней мере, рот всякому, кто позволит себе при мне искажать смысл сказанных вами слов. Мне нечего, конечно, прибавлять, что в вашей речи нет, на мой взгляд, ничего такого, что бы могло подать повод к обвинению вас в заявлении каких-либо, с видами правительства несогласных требований. А между тем, как вы это лучше меня знаете, именно эти обвинения к вам предъявляются. Мы живем в странное время, живем среди таких, не скажу веяний (это слово опошлено), а таких течений, направление которых не поддается точному определению, и которые, помимо вашей воли, могут сказанное или сделанное вами прибить к такому берегу, с которого вы сами себя не узнаете в собственных своих словах или поступках. В такое время, во всяком обществе, которое не имеет совершенно интимного характера, надо как можно менее говорить обо всем том, что не подсказывается вам вашими прямыми обязанностями, что я и делаю».

Самарин настаивал на том, чтобы я для оправдания себя и для чести города, которого я состою представителем, требовал напечатания речи; но об этом нечего было и думать. Я довольствовался распространением ее в копиях. Несколько времени спустя, когда об ней проникли толки в печать, краткое изложение ее содержания было помещено в газете Аксакова.

Я должен сказать, что после всей этой истории, особенно когда я принужден был подать в отставку, и друзья и недруги нападали на меня за произнесение этой речи. У нас в России всегда оказывается виноватым тот, с кем делают гадость. Но я и поныне убежден, что на моем месте молчать было неприлично, а ограничиться пошлостями позорно. Для провозглашения тостов и для хозяйственных распоряжений можно было в московские городские головы выбрать другое лицо; я же считал себя обязанным поддержать нравственное значение и достоинство Москвы, и эту обязанность я исполнил.

Между тем, предстоял Сокольничий праздник. Он удался как нельзя лучше. Погода была благоприятная, зрелище восхитительное. Красивый павильон, весь убранный флагами и хоругвями, среди свежей зелени Сокольничьей рощи, представлял

нечто необыкновенно оригинальное и живописное. Толпа народа была громадная и внутри и вне павильона. Для царской фамилии и свиты была построена особая эстрада с угощением. Для войск снаружи были расположены столы, на которых были расставлены яства и питье. Все вышло вполне удачно, за исключением приготовленного для офицеров завтрака, который был съеден публикой, проголодавшейся в ожидании государя. Он в это утро был у обедни в Измайловской богадельне * и там принял завтрак, вследствие чего он прибыл в Сокольники двумя часами позднее, нежели было назначено. Я повел его на видное место, приготовленное для приветствия войскам, стоявшим у своих столов. Тут стояла водка. Государь спросил, что он должен сказать? Я отвечал, что он это лучше меня знает. Он поднял чарку за здравие войск, которые отвечали оглушительным ура. Я повел его по всем столам; затем, побыв немного времени, он уехал с императрицею. Мало-по-малу разъехались и остальные гости. Войска, довольные угощением, потребовали меня и стали меня качать. Пришлось не в первый раз вытерпеть это не совсем приятное изъявление благодарности.

Празднества завершились освящением храма Спасителя. Это было торжество, которое всего более произвело на меня впечатление. Погода была прелестная. И площадь, и берега Москвы-реки, и крыши домов были усыпаны народом. И когда из храма вышла процессия с царем и царицею, с духовенством в полном облачении, с развевающимися хоругвями, и за ними войска с своими покрытыми славою знаменами, среди которых, как величавые памятники славной старины, красовались изодранные знамена двенадцатого года, с шедшими возле них немногими, оставшимися в живых ветеранами, когда вся эта процессия двинулась вокруг собора, при громе пушек, при звоне колоколов, нельзя было не почувствовать в себе какой-то подъем духа, какое-то восторженное состояние. Это было не мимолетное торжество настоящего дня. Россия праздновала свое величие, освящала память знаменательнейшего события в ее истории, того, которое выказало перед лицом мира всю несокрушимую стойкость народного духа. С тех пор прошло семьдесят лет, и она стояла, обновленная, свободная, отрешившись от уз, которые сковывали ее в течение веков, ожидая только державного слова, чтобы с верою и надеждою двинуться на новый, открывшийся перед нею путь.

Но это слово не было произнесено. Коронация Александра III была официальным обрядом, а не живым действием, соединяющим царя и народ в единой мысли и в едином чувстве. Несмотря

на весь блеск и на все великолепие, она оставила во мне тяжелое впечатление. Царь явился, окруженный людьми, которые способны были возбуждать только негодование и презрение. Им он вверял управление обновленной России. Всякая разумная мысль, всякое живое чувство отвергались и подавлялись. К престолу допускалось одно только раболепное, закоснелое в рутине, интригующее в личных видах высшее чиновничество. В будущем представлялась бесконечная тьма, сквозь которую не пробивался ни единый луч света. Внешняя удача коронационных празднеств утверждала только ту бездушную систему управления, которая водворилась в России.

Проводив царских гостей, я почувствовал, что у меня как будто гора свалилась с плеч. Я был страшно утомлен и жаждал только одного: уехать на две-три недели в деревню, чтобы отдохнуть от всех этих треволнений. Но прежде этого мне еще нужно было покончить некоторые городские дела, запущенные во время коронации. Все, казалось, успокоилось: даже толки о моей речи замолкли, как вдруг в «Московских ведомостях» появилась статья, в которой мне приписывались совершенно нелепые мысли, со слов иностранных газет, передавших мою речь в извращенном виде. Поднятие вновь этого вопроса, после того как о нем, повидимому, забыли, и газетам воспрещено было даже упоминать о моей речи, было неожиданностью. Катков, после моего выбора в городские головы, возобновил со мною знакомство. Мы встретились с ним на обеде, который князь Долгорукий давал по случаю приезда князя Болгарского.* Он подошел ко мне, протянул руку и сказал, что очень рад видеть меня городским головой. Я на вежливость отвечал вежливостью. На похоронах митрополита Макария нас в Троицкой Лавре посадили за трапезой рядом, и мы все время разговаривали, как хорошие знакомые. Точно также он возобновил знакомство с Дмитриевым, когда тот сделался попечителем петербургского учебного округа. Очевидно, он заискивал. Но как скоро он увидел, что мое положение было непрочно, он тотчас воспользовался случаем и обрушился на меня с самой бессовестной клеветой. Ему очень хорошо было известно, что ничего подобного я не только не говорил, но и не мог говорить. Это было не даром. Я отвечал в «Руси» следующей заметкой.

«В № 187 «Московских ведомостей» приведены из иностранных журналов отрывки из речи, произнесенной мною 16 мая на обеде городских голов. Здесь сказано и подчеркнуто: «власть не там уже, где она была прежде; власть принадлежит нам,

представителям народа». Считаю нужным заявить, что ничего подобного я не говорил. Содержание моей речи было передано в № 12 «Руси» на основании подлинного документа, и если редакция «Московских ведомостей», вместо того, чтобы черпать свои сведения из достоверного источника, настойчиво продолжает ссылаться на заведомо искаженный текст и делает выписки из журнала, где рядом с превратным изложением смысла речи говорится, что за такую смелость я был отставлен от должности и сослан в деревню, то это лишь один из тех обычных газетных приемов, которые, к сожалению, слишком часто встречаются в известного рода печати. Будучи приглашен гостем на обед городских голов, о чем же я мог говорить, как не об единении земских людей на помощь правительству против врагов общественного порядка. Зная наши нравы, я прибавил, что враги свободных учреждений, пожалуй, усмотрят в этом опасность. Те свободные учреждения, о которых я говорил, это — учреждения, дарованные императором Александром II, а кто их враги, все мы знаем: это те, которые ежедневно и неустанно изливают свою злобу на все, что вызвано к жизни царем-освободителем, и что дорого русскому человеку, на независимый суд, на земские учреждения, на Городовое положение. Я заметил, что мы можем оставаться совершенно равнодушными к таким нареканиям, ибо мы знаем, что нас одушевляет одно общее чувство: верность престолу и любовь к отечеству, которое служит нам связью. Я и теперь не счел бы нужным обращать внимание на эти пустые газетные толки, если бы я, по своему положению, не должен был иметь в виду тот, к сожалению, слишком еще многочисленный у нас класс читателей, которые, несмотря на ежедневный опыт, добродушно продолжают верить всему печатному».

30 июня 1883 г.

Но Катков продолжал свои инсинуации. «Гражданин» ему вторил в свойственном ему нахально-раболепном тоне. Очевидно, что-то готовилось.

Между тем, я старался подвинуть задержанные городские дела. Последние заседания Думы, в течение июня, были посвящены вопросам о газовом освещении и о водопроводах. Надобно было заключить контракт с новым газовым обществом, к которому дело перешло после крушения старого. Много было предварительной работы и переговоров. Оградить интересы города и потребителей, обеспечить хорошее освещение, предусмотреть все случайности, дело нелегкое. Представленный мною проект был одобрен Думою. Я успел провести и заключенный с Баби-

ным контракт об артезианском колодце. Когда я в 1885 году опять вернулся в Москву, я мог присутствовать на торжестве открытия источника, который давал городу от 200 до 250 тысяч ведер в сутки, что при недостатке воды было существенным подспорьем. Теперь этот колодезь потерял свое значение. К сожалению, мне не пришлось провести другой, более важный проект по общему водопроводу. Я хотел, не дожидаясь переговоров с компаниями, немедленно приступить к устройству водосборных сооружений в Мытищах. Проект, заказанный Зимину, был готов: для исполнения требовалась ассигновка в 71 000 рублей. Но так как в Думе многие Зимину не доверяли, то я предлагал для обсуждения проекта пригласить несколько опытных инженеров, на что требовалась еще небольшая дополнительная сумма. Приступив теперь же к работам, мы могли при переговорах с компаниями знать наверное, сколько воды можно получить в Мытищах, что давало мне твердую точку опоры. Против этого проекта восстал думский инженер кривотолк, Ф. П. Попов, который доказывал, что надобно предоставить дело самим компаниям, а не предрешать его заранее. Речь была длиннейшая, пересыпанная техническими соображениями и совершенно непонятная. По окончании ее оказалось, что гласные не в достаточном числе. Пришлось закрыть заседание. Собрать Думу вновь, когда значительная часть членов уже разъехалась, было мудрено. Большинство составилось бы случайное, что в таком важном деле было нежелательно. Я решил отложить вопрос до осени. Если бы я успел его провести, Москва имела бы воду десятью годами ранее и с меньшими расходами. Теперь, после многих попыток и даром растраченных денег, делают именно то, что я предлагал в последнее заседание Думы, бывшее под моим председательством.

Я уехал в деревню и начинал уже с некоторым ужасом думать о возобновлении занятий после слишком кратковременного отдыха, как вдруг я получил от генерал-губернатора следующее *конфиденциальное* сообщение:

«Милостивый государь, Борис Николаевич. Письмом от 23 сего июля за № 526 г. министр внутренних дел уведомил меня, что «государь император, находя образ действий доктора прав Чичерина несоответствующим занимаемому им месту, соизволил выразить желание, чтобы он оставил должность московского городского головы».

О таковой высочайшей воле имею честь уведомить вас, м. г., покорнейше прося принять уверение в совершенном моем почтении и преданности. Кн. Вл. Долгорукий.

№ 2588. 27 июля 1883 г.»

Я немедленно поехал в Москву, где всем уже было известно, что мне велено подать в отставку. Я написал прошение в следующей форме:

«Исполняя волю вашего императорского величества, покорнейше прошу уволить меня от занимаемой мною должности московского городского головы».

Это прошение я отвез к князю Долгорукову, которого не застал дома. На следующее утро он прислал просить меня к нему заехать. «Вы хотите подпустить мне камуфлет, — сказал он, — в ответе на конфиденциальное сообщение, вы пишете: «исполняя волю вашего величества». — «Что же тут конфиденциального, когда все об этом знают? — отвечал я. — Да я вовсе не намерен это скрывать. Я даже не имею права этого делать в виду своих избирателей». Он стал убеждать меня, чтобы я написал: «по домашним обстоятельствам», но я согласился только написать просьбу, не выставляя причины. Приводить фиктивные мотивы я не хотел, но не хотел и препираться о фразе, имея в виду написать письмо прямо государю с объяснением своего поведения. При этом князь Долгорукий рассказал мне, что все это дело шло совершенно помимо его, уверяя, что даже и теперь он ничего об нем не знает: он приехал в Петербург к именинам императрицы и не успел даже повидаться с министром внутренних дел, который в тот же день уехал в отпуск, оставив ему присланное ему сообщение. Разумеется, это была такая же ложь, как и все его уверения. После я узнал, что они вместе с Толстым обработали это дело во время приезда Долгорукого в Петербург. Последний заявил даже, что он не ручается за спокойствие столицы, если я останусь головой.

Подав прошение, я написал государю следующее письмо:

«Всемилостивейший государь. Вашему императорскому величеству угодно было признать мой образ действий не соответствующим занимаемому мною месту и приказать мне подать в отставку. Исполняя волю вашего величества, я подал прошение об увольнении меня от должности, но, не сознавая за собою дурного умысла, осмеливаюсь просить позволения объяснить свое поведение.

Два раза я имел несчастие навлечь на себя неудовольствие вашего величества. В первый раз я в неофициальном собрании, не как городской голова, а как старый профессор и старый студент среди старых студентов, говорил в защиту существующего закона, который подвергался и доселе подвергается рьяным и недобросовестным нападкам со стороны некоторых

газет. Я сам участвовал в обсуждении этого закона, видел его на практике и глубоко убежден, что предлагаемые перемены принесут гораздо более вреда, нежели пользы. Мог ли я думать, что лицу, занимающему должность городского головы, воспрещено, даже в частном собрании, выступать в защиту закона, когда журналам дозволяется нападать на него самым резким образом, взваливая на него то, в чем он совершенно неповинен? Мне казалось, что, становясь представителем общества, городской голова не перестал быть гражданином своего государства. Если я в этом случае ошибался, то ошибался добросовестно. Вашему величеству угодно было приказать объявить мне за это высочайший выговор.

В другой раз мне довелось во время коронации говорить на обеде, на который я был приглашен гостем собранными в Москве городскими головами. Отвечая на тост, я не мог молчать. Мне казалось, что не за тем собрались на общую трапезу русские люди со всех концов земли, чтобы довольствоваться обычным обедом и провозглашением тостов, не выразив ни единой мысли, не вспомнив об отечестве, об его положении и об его будущем. Коронация, государь, это — символ новой эры, будущность отечества, и я, говоря об этой будущности, высказал то, что, по моему глубокому убеждению, составляет нашу насущную потребность, наше единственное спасение: это — союз всех общественных сил против врагов общественного порядка. Зная, что эти желания могут быть истолкованы криво, я прямо и буквально заявил, что мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству, не требуем себе прав, а должны только быть готовы на случай призыва к содействию. Правительство само не раз взывало к этому содействию, и я всегда был глубоко убежден, что и способ и время могут быть определены только самою верховною властью, которая одна должна окончательно решить, что нужно для блага России.

Между тем, в самую ночь после произнесения этой речи, не спросивши у меня даже текста, в газеты был разослан циркуляр с воспрещением упоминать о ней, так как я, будто бы, просил конституции. Вследствие этого в обществе возникли преувеличенные толки, которые перешли и в иностранную печать. Моя речь была кем-то сообщена в иностранные газеты в совершенно извращенном виде: меня заставили говорить то, чего я не только как русский, но и как здравомыслящий человек, никогда не мог сказать. Уверяли даже, что все это я произнес перед лицом вашего величества. Затем, несмотря на запрещение, и в русских газетах стали взводить на меня самые

гнусные клеветы. Я счел нужным печатно заявить, что я не говорил того, что мне приписывают. Но публиковать истинный текст я не мог; я принужден был в защиту себя и в опровержение нелепых толков ограничиться частным сообщением списков некоторым лицам, которые меня о том просили. Не знаю, было ли и в каком виде все это передано вашему императорскому величеству, но как честный человек, считаю долгом заявить, что мною не было сказано ни единого слова, кроме того, что заключается в сообщенном мною тексте. Если что-либо проникло в заграничную печать, то это сделалось без моего ведома и согласия.

Таков мой образ действий. Вины за собою не знаю. Я мог ошибаться в своих суждениях и поступках, но я поступил, как честный гражданин, воодушевленный одним нераздельным чувством верности престолу и любви к отечеству. Это чувство всегда останется для меня самою заветною святынею моей жизни.

Одно мне горько, Государь. Если бы я был удален от должности немедленно после коронации, все бы знали, что я подвергался опале за ту речь, которую я произнес. Но после того, как в печати были пущены против меня всякого рода клеветы, нынешняя моя отставка служит им как бы официальным подтверждением. Удаляясь в частную жизнь, утешаю себя сознанием, что я, по совести и разумению, исполнил свой долг перед государем и перед отечеством».

Щербатов советовал мне вручить это письмо прямо генерал-губернатору для доставления государю. Я с этим к нему отправился; но он сказал мне, что едет в заграничный отпуск и уже сдал свою должность, а потому не может принимать никаких бумаг. При прощании он облобызал меня три раза, как друга, с которым ему жаль расставаться. Это напомнило мне лобызание П. М. Леонтьева.*

Письмо я послал в Петербург через помощника городского секретаря* с поручением лично вручить его Рихтеру. Но и эта попытка вышла неудачною. Рихтер тоже был в отпуску. Пакет был передан баронессе Раден, а она отдала его графу Воронцову, который и доставил его государю. Ответа не последовало. Я просто получил отставку. Исправлявший в то время должность министра внутренних дел Иван Николаевич Дурново рассказывал тогдашнему правителю канцелярии Воейкову, что государь с раздражением отзывался обо мне, говоря, что он имеет против меня документ, причем показал изданную за границею брошюру, где напечатана была моя речь, с предисловием, содержа-

щим в себе резкие нападки на министра внутренних дел.* Эта брошюра была мне тут же доставлена. Кем она была напечатана, я до сих пор не знаю, но наверное радикалом, ибо в ней есть маленькое, не лишенное знаменательности искажение. Вместо фразы: «нас одушевляет одно общее чувство, которое служит нам связью: верность престолу и любовь к отечеству», поставлено просто: «нас соединяет одно общее доброе чувство», а какое, неизвестно, так что выходит некоторая бессмыслица. Печатавший брошюру, повидимому, не хотел допустить в русских людях верности к престолу. Эту брошюру Толстой представил государю, приписывая ее мне и указывая на все неприличие такого рода нападков на министра внутренних дел со стороны подчиненного. От меня, конечно, не думали потребовать объяснений, а просто велели подать в отставку. Таким образом, я был удален от общественной должности за действия лица, совершенно мне неизвестного. Так у нас водится. После этого я вправе был говорить, что я всю свою жизнь честно и бескорыстно работал для пользы отечества, и единственная награда, которую я за это получил, состояла в том, что меня на старости лет выгнали из службы, не сказавши даже за что. Прежние государи отвечали, по крайней мере, хоть одним словом на представляемые им оправдания обвиненных; теперь и это считается лишним.

Живя целые века под самодержавною властью, русское общество до такой степени привыкло к этому образу действий, что оно никого не возмущает. Даже те, которые признавали, что со мною сделали гадость, обвиняли графа Толстого и князя Долгорукого, бережно обходя главного виновника. Но я всегда утверждал, что нечего пенять на диких зверей за то, что они терзают свою добычу; на то они и звери. Но можно и должно пенять на хозяина, который своих собственных слуг отдает на жертву зверям. Делая гадости, негодяи исполняют свое назначение, — но монарх, который эти гадости утверждает своим словом и дает им силу, идет наперекор своему высокому призванию, и за это он нравственно ответственен. Извинение есть знак раболепства.

Сам виновник этих приключений, повидимому, даже и не сознавал, что он делал. Года два или три спустя я жил в Ялте, в то время как царская фамилия была в Ливадии. Случилось однажды, что мы с женою гуляли пешком по Массандрской дороге. Жена пошла в лес рвать цветы, а я остался сидеть на скамейке. В это время проехала коляска. Жена слышит, что сидящий в ней военный самым дружеским голосом воsклик-

нул: «А, Борис Николаевич!» Вышедши из лесу, она спросила: «какой это генерал так дружелюбно с тобой раскланялся?» «Государь император». — На следующий день нас приглашали к обеду в Ливадию. Жена отказалась вследствие нездоровья, а я поехал. Государь старался быть возможно любезным. Через несколько дней они уехали, но я на проводы не пошел, что многих удивило. Все думали, что царского милостивого слова достаточно, чтобы все загладить. Я объяснил, что я не собачка, которую можно прогнать пинком, а затем подозвать, когда гнев хозяина прошел, и она будет, махая хвостом, лизать у него руку. Когда меня зовут, я считаю долгом явиться и тем оказать уважение царю, но сам от себя ни в каком случае не пойду. После этого я видел его еще раз на свадьбе Петра Капниста, которая происходила в Петергофском дворце. Жена была посаженою матерью у своего брата, а я, как близкий родственник, был в числе приглашенных. Государь с нами обоими опять старался быть любезным, что от него всегда требует некоторого усилия над собой. Тем наши сношения и покончились. После этого царская фамилия бывала в Ливадии, в то время как мы жили в Ялте; я не являлся на встречах, и нас уже не приглашали.

Но возвращаюсь к своему рассказу.

Я уехал из Москвы в половине августа, не дожидаясь отставки. На действие письма к государю я не питал никакой надежды, и мне вовсе не хотелось торчать в Москве в фальшивом положении. Товарищи по Управе пожелали в последний раз отобедать со мной и проводили меня с выражениями искренних чувств. Также проводили меня и все служащие в Управе, что меня особенно тронуло, ибо я в сущности мало имел с ними дела. Даже на следующий год, когда я из деревни вернулся в Москву, вся канцелярия и служащие просили меня дать им мои фотографические карточки, а они поднесли мне свои, которые и поныне висят у меня, как памятник доброго расположения подчиненных. Я высказал им, что не знаю, чем я мог заслужить такое теплое чувство при столь кратковременном управлении. «Вы с нами обращались почеловечески», отвечал мне начальник торговой полиции, Юнг. * Это не дало мне высокого понятия об обычном обращении с подчиненными. С Ушаковым я продолжал вести переписку. Осенью 1883 года он писал мне: «В наших обычных занятиях (теперь мы составляем роспись) наши беседы не раз уже прерывались напоминаниями, в которых произносилось и ваше имя: «а помните, Борис Николаевич проводил такую-то мысль; а помните он то-то говорил».

Не скрою, что ваше отсутствие более всего тяжело для меня, брошенного превратностями судьбы в море думских дел, без руля и без ветрил. Одна только память о вашей энергии, взглядах и направлениях, с которыми удалось мне познакомиться в кратковременную службу с вами, придает мне силы!» Эти теплые отношения доставили мне такую же отраду, как некогда сочувственные заявления студентов при выходе из университета.

И между гласными были многие, выражавшие мне сочувствие. Даже Найденов, узнавши о моей отставке, прилетел в Управу и воскликнул: «Если воображают, что это пройдет гладко, то очень ошибаются». Но масса осталась равнодушною, одни из раболепства перед правительством, другие потому, что все-таки не считали меня своим, как не принадлежащего к купеческому сословию. При отъезде весьма немногие из них меня провожали: были Охлябинин, Василий Алексеевич Бахрушин и не помню еще кто. Явился и Митрофан Щепкин, который постоянно оказывал мне большое расположение. Я не удивился малочисленности членов Думы, ибо никому не говорил о своем отъезде и не воображал, что будет какая-нибудь демонстрация. К тому же время было летнее; многие купцы были на Нижегородской ярмарке, другие на дачах. Но Охлябинин говорил мне, что ему было известно, кто мог приехать и не приехал. Он был возмущен и тотчас подал в отставку. Тогда же вышел из гласных и Щербатов в виде протеста против правительственных действий.

Однако, этим дело не кончилось. Надобно было знать, как примет это известие Дума, когда она опять соберется после ваканций. Решено было, что Аксенов произнесет речь и предложит мне благодарность. Обо всем происходившем я был извещен следующим письмом Герье, который в это время как раз вернулся из-за границы.

«С тех пор, как газеты стали приносить в нашу даль такие необычайные и противоречивые известия о вас, не проходило дня, чтобы я о вас не думал, недоумевал и не волновался по поводу вас. Только на возвратном пути в Россию, в Киссингене, я узнал от Александра Владимировича,* в чем дело, и тут же узнал о печальном исходе его. Наше московское небо представилось мне еще более пасмурным и безотрадным, а сама Москва еще безлюднее и скучнее. На другой день после приезда я получил обычное приглашение на субботу к Рукавишникову. Туда явилось человек 16; не было Алексеева, который находился за границею; зато были Аксенов и Найденов; остальные — обычные посетители. Долго ждали Аксенова, который был у все-

ношной. Очевидно, собрание было созвано по его настоянию; порешили просить Аксенова взять на себя заявление. Он отправился в другую комнату составлять его. Я предложил ему через Найденова свои услуги, но он отказался от помощи, и я был приятно изумлен, когда час спустя он возвратился в зал с своим заявлением. В конце у него шла речь о том, что Дума не разделяет нареканий, высказанных *в газетах*; я просил его опустить полемику с газетами, и протест против нареканий получил у него вследствие этого более общий смысл и более веса. Говорил еще о том, чтобы основать стипендию вашего имени, но ввиду того, что это потребовало бы ассигновки капитала, против чего могли бы появиться возражения со стороны текинцев,* я предложил вместо стипендии городскую школу, против которой никто бы не решился возражать. В общем все считали необходимым еще одно собрание, и Аксенов взялся устроить его у себя. На другой день вечером отправились мы с Грековым в Монетчики.* Публика была многочисленная и преимущественно состояла из текинцев. С первого же слова начались разногласия: Шестеркин и Жадаев считали неуместным какое бы то ни было сочувственное заявление. Шестеркин говорил дерзко, вызывающим тоном. С глазу на глаз он сказал мне: «Если я прогоню своего управляющего, то кто же посмеет сказать мне, что я неправ?» Жадаев вслух сказал: «Ну что же, что министр удалил по своей воле? на то он и министр, кого, значит, хочет, того и может удалить». Я не удержался, чтобы не спросить у Скалона, этого поборника suffrage universel,* нравится ли ему этот народный голос? С другой стороны, Муромцев требовал горячего и открытого протеста: он, кажется, бил на скандал и подливал масла в огонь. Дело приняло очень критический оборот, когда заговорил Осипов; он говорил громко, в сердцах бил себя кулаком в грудь, подымал кулак к небу, был настоящим Мининым, как назвал его Епанешников. Осипов высказался против полумер, говорил о необходимости сделать запрос правительству, отправить депутацию в Петербург и объявил, что он лучше в Думу не приедет, чем ничего не делать. Между тем, многие уходили и зала начала пустеть. Аксенов сообщил мне, что Лепешкин, который вечером не мог быть, заезжал к нему и спрашивал, не лучше ли, вместо стипендии или школы, поднести вам почетное гражданство. Я с радостью ухватился за эту мысль и просил его поддержать ее и предложить собранию; но было уже поздно, и толку из этого не вышло. На следующий день я с грустью отправился в думское заседание. Дело, казалось, примет дурной

оборот и кончится жалкой попыткой что-нибудь сделать. Осипов не пришел; Пржевальский готовил какое-то *огненное*, как выражался, предложение. Мы вошли в залу; что-то торжественное воцарилось в ней. Необычно ясным голосом прочел Аксенов свое заявление, несколько смягченное в угоду Ушакову, потом прочел и проект приговора, написанный Четвериковым и усиленный нами в последнюю минуту. Черинов судорожно схватил меня за руку, когда председатель своим сухим деловым голосом поставил вопрос: угодно ли собранию принять приговор? Ни одного возражения, несколько одобрительных голосов, и дело было сделано. Эта минута вознаградила за многие тяжелые часы, бесплодно проведенные в Думе. Черинов потом спрашивал меня, чем объясняется такое настроение Думы: случайность ли это, или какое вдохновение сошло на нее? Во всяком случае это показало, что самое неразвитое и бестолковое политическое собрание может в известных случаях руководиться верным инстинктом. Но нельзя слишком полагаться на этот инстинкт. Ушаков уже вытащил какую-то бумагу. К счастью, мы с Чериновым сидели рядом с Лепешкиным, который как будто забыл о своем предложении. Он смутился, покраснел, но оправился, встал и очень недурно мотивировал свое предложение. Опять раздался глухой вопрос председателя; еще более у нас замерло сердце в ожидании неуместных возражений, — и опять собрание оказалось на высоте своего положения. Только в конце заседания, когда стали читать приговор, послышалось запоздалое возражение Шестеркина, которое заглушено было криками. Мы с Чериновым хотели в тот же вечер послать вам телеграмму, но не сделали этого из опасения, чтобы не воспользовались этим, чтобы умалить случившееся и выставить его делом кружка. Три дня спустя газетам запрещено было говорить о заседании 12 сентября. Один «Курьер» напечатал о нем.»

Так описывал мне это заседание Герье. Но не на всех оно произвело то же впечатление. Митрофан Щепкин, который сидел тут же в числе публики, был им очень недоволен. «Что почтенный Аксенов прошамкал с младенческой робостью,—писал он мне,—и в двух несвязных фразах высказал Лепешкин, предложивший почетное гражданство «за усердие», я, простите, не могу считать за выражение сочувствия своему достойному представителю. Это скорее канцелярская отписка. А гробовое молчание я давно уже отвык признавать за единогласное выражение общественного сочувствия». Но Щепкин требовал гораздо более того, что могла дать Московская дума. Можно было довольствоваться и тем, что было сделано.

Отчет о заседании, напечатанный в «Московском курьере», был следующий:

«Вчера, 12 сентября, состоялось первое, после перерыва на летнее время, заседание Московской городской думы. Председательствовал исправляющий должность городского головы М. Ф. Ушаков. Заседание началось чтением отношения г. московского губернатора о том, что «поданное доктором государственного права Чичериным всеподданнейшее прошение об увольнении его от должности Московского городского головы, в 11-й день сего августа было представляемо г. управляющим министерством внутренних дел на всемилостивейшее воззрение государя императора и его императорскому величеству благоугодно было на сие высочайше соизволить.» По прочтении этого отношения, старейший гласный Думы В. Д. Аксенов обратился к собранию с следующею речью: «Позвольте по поводу оставления городским головой своей должности сказать несколько слов. Мне кажется, достоинство самой городской Думы обязывает ее не пройти молчанием такой прискорбный случай. Нельзя не высказать сожаления, что среди множества поднятых вопросов, накануне решения некоторых из них, наш глубокоуважаемый Борис Николаевич вынужден был оставить свой пост. Нет сомнения, что выход его в отставку тяжело отзовется на городском благоустройстве. Считаю долгом, в виду высказывающихся нареканий на его общественную деятельность, предложить городской Думе высказать, что она не только не разделяет такого мнения, но считает его деятельность полезною для московского городского хозяйства, и вместе с тем выразить искреннюю благодарность Борису Николаевичу за его усердную, но, к сожалению, кратковременную деятельность на поприще городского управления и глубокое сожаление о том, что так неожиданно прекратилась его деятельность». Речь эта была выслушана гласными с полным сочувствием. Гласный С. В. Лепешкин предложил избрать Б. Н. Чичерина почетным гражданином города Москвы ввиду той энергии, с которой бывший голова стремился к городскому благоустройству. Предложение это было принято и тут же составлен следующий протокол:

«Московская городская Дума, выслушав заявление исправляющего должность городского головы, что Б. Н. Чичерин, согласно принесенному им прошению, получил увольнение от занимаемой им должности московского городского головы, постановила: 1) выразить Борису Николаевичу глубокую и искреннюю признательность за труды его на пользу Московского городского общества в звании московского городского головы и при этом заявить крайнее сожаление, что встреченные им обстоятельства вынудили его оставить пост, предоставленный ему общественным доверием, почти накануне разрешения поднятых им весьма важных вопросов городского хозяйства, 2) признать Бориса Николаевича Чичерина почетным гражданином города Москвы, на что и испросить высочайшего государя императора соизволения».

По прочтении этого протокола гласный И. И. Шестеркин протестовал против избрания Б. Н. Чичерина в качестве гражданина города Москвы, находя что бывший голова ничем не заявил себя, чтобы заслужить такое звание. Этот протест вызвал целую бурю. Почти все гласные заговорили: «Довольно... дело решено.»

Городские власти переполошились. Это был как бы протест против воли государя. Долгорукий был за границею; должность

его исправлял Перфильев, на которого падала вся ответственность, а он был не из храброго десятка. «Бедный Василий Степанович был у меня 19 сентября, — писал мне Пикулин. «Он совсем повесил голову, говорит: «что скажет теперь Владимир Андреевич по возвращении? Не успел выехать из Москвы, как случилась такая неудобная вещь!»

Губернатор решил затормозить дело до приезда князя, предъявив протест и представив дело в Губернское присутствие, под предлогом, что постановление Думы о поднесении мне почетного гражданства было незаконно, так как по Городскому Положению всякое новое предложение может быть решено только в следующее заседание после того, как оно было предъявлено. Этот протест, в сущности, не имел ни малейшего законного основания, ибо предложения, которые делаются по поводу обсуждаемых вопросов, не считаются новыми и решаются тут же. Подобное требование тем менее было уместно, что постановление о почетном гражданстве князя Долгорукого по поводу его юбилея было сделано в том же заседании, в котором оно было предложено. Было и множество других подобных дел, и никогда губернатор протеста не предъявлял. Тем не менее Губернское присутствие, по обыкновению, четырьмя голосами против трех кассировало постановление Думы.

Между тем, приехал Долгорукий и тотчас вызвал к себе Аксенова. «Вот подлинный рассказ Аксенова, — писал мне Пикулин, описывая эту сцену. Меня вызвали в кабинет князя, который сказал мне громко: «Как вы осмелились говорить в Думе о Чичерине и сожалеть о его выходе из Думы? Вы знаете, что он был удален по желанию высшего начальства? Вы знаете, что по данной мне власти, я могу вас выслать из Москвы, как человека, нарушающего покой города?» Аксенов вначале сконфузился, но вскоре, оправившись, отвечал: «Ваше сиятельство, если я сказал что в пользу Чичерина, то это мое крайнее убеждение, и я повторяю то же и теперь: человек пришел править городом, не приготовленный к этим делам, и в самое короткое время, при неутомимой работе, поднял столько благих вопросов и частью привел их в исполнение, что еще ни один бывший городской голова не сделал бы этого. Я ведь служу гласным с самого начала устройства Думы и знаю это. Если бы Борис Николаевич послужил подольше, то он бы много сделал. За что же меня судить строго? Мне уже около 80-ти лет, и я говорю то, что мне кажется правдой; отчего же меня никто не остановил во время моей речи, а гласных было 120 человек, и все одобрили мое слово. Что же касается вашего обещания

меня выслать из Москвы, то я буду просить ваше сиятельство выслать меня туда, где бы была хоть одна церьковь. В мои годы мне единственно остается молиться богу». Долгорукий ответил, что «напрасно вы так приняли к сердцу мои слова; надеюсь, что вы всегда будете моим гостем» и проч. Каковы у нас есть старики из простого народа,» прибавлял Пикулин.

В дополнение к этому Самарин мне писал: «Долгорукий объявил Аксенову, что обязан исполнить неприятное для него поручение министра внутренних дел, а затем прочел бумагу, в которой граф Толстой делает замечание Аксенову, в виду того, что постановление Думы по предложению Лепешкина состоялось вследствие «необдуманного предложения» Аксенова; так как до сих пор он ни в чем замечен не был, то он, министр, ограничивается замечанием, с предостережением, чтобы он на будущее время действовал осмотрительнее. Аксенов держал себя с достоинством, отвечал, что он своего образа мыслей не скрывает, что он вполне сочувствует тебе, что его образ мыслей даже либеральнее чем твой, и что он просит довести это до сведения министра внутренних дел. Долгорукий, разумеется отказался, предоставив ему самому писать министру, если он желает, и сказал, что он был до сих пор другого мнения об нем.» — «Министр, который делает выговор частному лицу, гласному Думы, за необдуманные поступки, это, право, чересчур!» — писал я в ответ Самарину.

Затем призван был Лепешкин. Как молодого человека, Долгорукий, должно быть, его сильно распек, но он об этом молчал, о своем свидании никому не рассказывал, и писал мне только, чтобы я не верил всяким сплетням, уверяя, что он твердо стоит на своих убеждениях. Призван был также Муромцев и множество других гласных. Всем было сделано должное внушение.

Купцы перетрусили и не знали, что им делать. Итти против власти они не привыкли и не чувствовали себя для этого довольно сильными. Даже Самарин, более независимый и по положению и по образу мыслей, был озадачен. Он видел, что возобновление прений в Думе подаст повод, с одной стороны, угодникам Долгорукого к неуместным нападкам на меня, с другой стороны, думским радикалам, Муромцеву, Пржевальскому и компании к каким-либо неумеренным заявлениям. Ему самому казалось, что предложение мне почетного гражданства являлось как-бы протестом против действий самого государя и тем самым переходило за черту дозволенного. Единственный исход из этих затруднений, который он придумал, состоял в том,

чтобы я от себя просил Думу не давать этому предложению дальнейшего движения. Этот взгляд разделяли не только купцы, с которыми он совещался, Аксенов и бывший голова Третьяков, но даже и Иван Сергеевич Аксаков. В этом смысле Самарин написал мне в деревню письмо, которое прислал с артельщиком.

Мне казалось, что впутывать в это дело меня, стоящего совершенно вдали, было неуместно. Тем не менее, я послал требуемое письмо. Мотивировать мой отказ от баллотировки тем, что я слишком малое время служил городу, как предлагал Самарин, я считал неловким, всякому было понятно, что почетное гражданство предлагается мне не за оказанные услуги, а как некоторое вознаграждение представителю города, с которым сделали гадость. Поэтому я заявил, что «при существующих известных мне обстоятельствах, в которых состоялась моя отставка, я считаю поднятие вновь этого вопроса неудобным и убежден, что оно не может привести к цели. Мнение Думы высказалось, — прибавлял я, — и это сторицею вознаграждает меня за все нападки. Настаивать было излишне, тем более, что это могло бы повести к пререканиям в самой Думе, к чему я никогда не желал подать ни малейшего повода.»

При этом я писал Самарину:

«Посылаю тебе письмо к Ушакову, но не могу скрыть, что я это считаю отступлением, и отступлением не перед верховною властью, а перед угрозою министра внутренних дел и генерал-губернатора. Не знаю, отчего ты думаешь, что предложение Лепешкина переходит за черту и создает невозможные отношения между Думою и государем. Так как оно идет на высочайшее соизволение, то оно менее резко, нежели простое выражение благодарности и сожаления, притом нужно именно, чтобы оно дошло до государя. Щербатов, которому я сообщил приговор, пишет, что он считает его самым лучшим и самым сильнейшим протестом со стороны Думы, радуется за нее и за меня. Репрессивных мер против Москвы я не боюсь; десять раз подумают, прежде нежели к ним прибегать; да если бы на это и решились, то, право, это гораздо лучше, нежели нынешнее унизительное и все мертвящее положение. Еще менее боюсь заявлений радикализма. Во-первых, с ними можно сговориться, а во-вторых, надобно именно напирать на то, что, когда прогоняют консерваторов, то неизбежно выдвигаются вперед радикалы. Есть случаи, когда консерваторам и радикалам приходится действовать вместе, именно когда власть одинаково направляет свои удары на тех и других. От нее зависит их соединить или

разделить. Единственное, что могло бы заставить отступить от принятого раз и отмененного по чисто формальной причине предложения, это — опасение, что сама Дума спасует; ее надобно спасти от подобного унижения. Но об этом я отсюда не в состоянии судить. Если бы дело шло о другом, и я был бы уверен в Думе, я бы ни на минуту не усомнился вести его до конца. В настоящем же случае, предоставляю вам действовать, как знаете. Вот письмо; делайте из него что угодно... Мы мирно живем в деревне, — прибавлял я, — и очень доволен своею судьбою. Я отдохнул, что мне весьма было нужно, и нисколько не сожалею обо всем происшедшем. Напротив, считаю это во многих отношениях весьма полезным. Для меня вопрос ставится так: самим ли действовать или предоставить действие одним нигилистам? Последнее представляется мне вовсе не желательным; напротив, вижу спасение России только в первом, хотя должен сознаться, что при дряблости русского общества на это мало надежды. Но попытаться во всяком случае следует; в этом состоит общая наша гражданская обязанность.»

Я сознавал и теперь сознаю, что эту обязанность я исполнил и тем получил право говорить о равнодушии, бездеятельности и раболепстве русского общества. Если меня не поддержали, то в этом виноват не я.

Получив мой ответ, Самарин опять собрал на совещание Аксенова, Третьякова и Герье. По прочтении моего письма, Третьяков воскликнул: «Вот и прекрасно!» Аксенов был того же мнения. Но Самарин, одумавшись, решил, что моего письма в Думу представить нельзя, и Герье с ним согласился. Таким образом, этот компромисс был устранен.

Взамен того пошли на другой, гораздо худший, хотя для меня он имел ту выгоду, что я лично не был ни во что впутан. Вопреки закону постановление Губернского присутствия, кассирующее приговор Думы, не было предъявлено собранию. Молчаливым соглашением никто вопроса не поднимал, и дело просто кануло в воду. Представители города были запуганы, и власть торжествовала. Не могу не сказать, что Самарин не оказался в этом случае на высоте той роли, которую он призван был играть. От купцов и мещан трудно было требовать гражданского мужества. Они издавна привыкли преклоняться перед властью. Частные их интересы находились в полной зависимости как от министерства, так и от генерал-губернатора, особенно при тех широких полномочиях, которые были предоставлены последнему. Из других сословий никто не имел нужного авторитета. Самарин один в этом собрании являлся пред-

ставителем лучших преданий дворянской независимости; при совокупном действии сословий, эти благородные предания следовало поддержать, как пример и поучение другим, и он имел достаточно веса, чтобы настаивать на своем мнении. Если бы даже Дума за ним не последовала, он мог бы вытти из гласных, и этот протест против общественной дряблости имел бы свое высокое значение. Но к такому решительному способу действия он, ни по характеру, ни по образу мыслей, не был способен. Слишком консервативные убеждения, опасение в такие смутные времена стать в оппозиционное отношение к правительству, боязнь радикалов, все это повело к тому, что и он, вместе с другими, пошел на эту недостойную Думы сделку, которая как нельзя более приходилась на руку генерал-губернатору.

Скоро представился случай повторить манифестацию, не возбуждая прений. Первые выборы в городские головы вслед за моим выходом не привели ни к какому результату. Баллотировались два кандидата: думский кривотолк Иван Николаевич Мамонтов, который уверял, что его требует общественное мнение, и кандидат князя Долгорукого, довольно грязный, разорившийся аферист Пороховщиков, выступавший уже при моем выборе. Оба были забаллотированы, и Дума решила остаться при исправляющем должность до новых общих выборов, которые должны были наступить через год. На этих выборах я заочно был выбран гласным от первого разряда. Щербатов и Самарин отказались от баллотировки. В это время мы поехали в Москву, чтобы окончательно распорядиться с своею квартирою и мебелью. В качестве гласного я отправился на открытие Думы. Найденов с некоторым самодовольством заявил мне, что он хлопотал о моем избрании, так как он не принадлежит к партии Долгорукого. После присяги было короткое заседание. Охлябинин произнес маленькую речь, в которой, между прочим, выразил удовольствие по поводу того, что гласные видят меня опять в своей среде. Эти слова произвели гвалт, не в собрании конечно, а в правящих сферах. Князь Долгорукий послал жалобу на Охлябинина министру юстиции и даже самому государю, выставляя этого почтенного и весьма умеренного человека красным революционером. Охлябинин был членом Судебной палаты; к великому его негодованию, на него восстали даже его товарищи, заискивавшие у правительства. Не имея самостоятельных средств к жизни, он принужден был вытти из Думы.

Затем приходилось выбирать городского голову. Аксенов приехал ко мне с вопросом: соглашусь ли я баллотироваться? Я

отвечал, что лично не имею никакого желания, при нынешних обстоятельствах, сделаться опять городским головой и думаю, что меня не утвердят; но если Дума желает поддержать свое достоинство и показать свою независимость, выбирая меня, то я готов баллотироваться. Здесь был случай подняться после сделанной генерал-губернатору уступки, которая по-моему мнению, была унижением. Я советовал только выбрать второго кандидата, которого бы государь мог утвердить. То же самое я повторил Ушакову, который приезжал ко мне с тем же вопросом, и наконец Осипову. Но, но совещании, купцы не решились итти на такую демонстрацию. По запискам я получил всего 37 голосов, в том числе порядочное количество от избирателей третьего разряда, некоторые из которых изъявляли мне тайное сочувствие и уговаривали баллотироваться. Таким образом я окончательно был сдан в архив.

Обстоятельства, сопровождавшие эти последние выборы, были довольно забавны; они характеризуют действия московских правителей. В это самое время сестра моей жены заболела в деревне, и мы собрались туда ехать. День отъезда был уже назначен, но потом отложен вследствие полученной телеграммы. Я нарочно не посылал отказа от баллотировки, зная, что городские власти ожидают ее с трепетом. Глупость их была так велика, что они не понимали, что я при 37 записках не могу баллотироваться. За каждым моим шагом следили тайные агенты; о каждом моем движении власти были осведомлены. Утром мне случилось зайти в Управу за справкою по какому-то неважному думскому делу. Тотчас Ушаков был вытребован к Перфильеву и подвергнут допросу, зачем я именно приходил. Полагая, что мне придется уехать до выборов, я отдал свой отказ жене Герье, которая приезжала навестить мою жену, и просил ее передать эту бумагу ее мужу, с тем чтобы он хранил ее в тайне и предъявил только в самую минуту баллотировки. Но несмотря на эти предосторожности, несмотря на то, что и Герье, и его жена были люди, на скромность которых можно было вполне положиться, Перфильеву каким-то образом сделалось известным, что в руках Герье находится эта бумага, и он допрашивал Ушакова, почему она не поступила в Управу. За справками был отряжен и обер-полицеймейстер Козлов. Он воспользовался случаем находки украденного у моей жены медальона, чтобы приехать к ней с визитом и расспросить ее, когда именно мы едем. Жена иронически отвечала, что еще неизвестно, но что во всяком случае мы отправляемся не в Вятку. Он очень сконфузился. Наконец наступил вечер выборов. Перед самым засе-

данием я подал свой отказ. Тотчас об этом дали знать князю Долгорукому, который в страхе ожидал исхода. Когда приехавший из Думы чиновник сообщил ему эту радостную весть, он вскочил со стула и воскликнул от полноты облегченного сердца. «Я всегда говорил, что он благородный человек!» Некоторые из доброжелательных мне гласных опять тайком уговаривали меня баллотироваться; но я отвечал им: «дайте мне 90 записок вместо 37, и я пойду, а теперь об этом не может быть речи.» Баллотировались опять те же кандидаты, Мамонтов и Пороховщиков, и опять были забаллотированы.

Купечество искало, однако исхода. На этом же собрании я увидел Аксенова и Найденова в тайном совещании с Степаном Алексеевичем Тарасовым. Это был пожилых лет гласный, бывший когда-то правителем канцелярии обер-полицеймейстера, затем председателем одного из московских мировых съездов, в то время когда Москва была разделена на два мировых округа,* человек с порядочным состоянием вследствие женитьбы на богатой купчихе, но совершенно пошлый и раболепный, именно такой кандидат, какой требовался князю Долгорукому. И его-то прочило в городские головы именитое московское купечество, его уговаривал Найденов, который после моей отставки хорохорился и говорил, что очень ошибаются, если думают, что все пройдет гладко, Найденов, который недавно еще хвастался передо мною, что он не принадлежит к партии Долгорукого. И многие гласные, которым это вовсе было не к лицу, пошли на эту сделку. Но Алексеев был возмущен и на выборах объявил, что пойдет баллотироваться в конкуренцию с Тарасовым. Он получил всего несколькими голосами меньше, и тот был утвержден.

Однако выбор генерал-губернаторского лакея вышел неудачный. Тарасов совсем потерял голову и даже заболел. Через несколько месяцев он принужден был вытти в отставку. Оставался один возможный кандидат — Алексеев. Найденов его ненавидел, и вообще старые купцы его не долюбливали; но делать было нечего: надобно было согласиться. Алексеев был выбран значительным большинством и с первых же шагов воцарился в Думе. Это было уже не самоуправление, а самовластие на общественной почве. Своею энергиею, деятельностью, умом, а частью и бесцеремонностью, он одних привлек, а других обуздал. Купцы гордились им, как своим братом, и поддерживали его массой: противники частью удалились из Думы, частью замолкли. Ораторов из третьего разряда он осаживал грубым проявлением власти; всякие неприятные ему предложения он

устранял, не стесняясь. Вообще, несмотря на некоторые довольно крупные промахи, дело шло как по маслу. Дума безмолвствовала, а голова делал, что хотел.

Выселившись из Москвы, я вышел из числа гласных. Но при наступлении нового трехлетия, я опять был выбран как в Думу, так и в Губернское собрание. Алексеев, который всегда оказывал мне большое расположение, убедительно просил меня не отказываться, полагая, что желание видеть опального голову своим сочленом все-таки знак порядочности. Доселе, как я проездом бываю в Москве, я являюсь в заседание Думы и, должен сказать, всегда с некоторым удовольствием. Вижу все знакомые лица, которые встречают меня с радушным приветом. Я как будто возвращаюсь в свою семью.[1] Видя, как ведет себя благородное российское дворянство относительно власти, я не могу слишком строго судить купечество, которое веками было приучено к рабской покорности, и которого все жизненные интересы зависят от произвола власти. «Если бы мы вздумали делать оппозицию, нас бы в бараний рог согнули», — сказал мне как-то Осипов в оправдание их поведения.

По этому поводу мне припоминается разговор, который я имел с Дмитрием Алексеевичем Милютиным во время коронации. Он расспрашивал меня об условиях моей деятельности. «Вам, должно быть, хлопотливо и неприятно иметь дело с таким разношерстным составом», — заметил он. — «Бывает подчас неприятно, — отвечал я; — но съездишь в Петербург и утешишься.» — «Я в первый раз слышу, что Петербург производит такое действие». — «Это очень просто, — сказал я, — когда вернешься оттуда, то видишь, что жить и действовать среди московских купцов и мещан еще рай земной в сравнении с тамошней атмосферой».

И эта темная масса поднялась бы еще на совершенно иную высоту, если бы на нее постоянно и непреклонно не давило сверху развращающее действие власти. Благородные стремления общества воспитываются теми людьми, которые стоят в его главе. Надобно показать ему возвышенные цели и поддерживать в нем независимые чувства; тогда оно воспрянет освеженное и бодрое. Но когда сверху все направлено к тому, чтобы подавить в обществе всякую независимость и развить в нем раболепное

---

* Это было писано в 1892 г. В 1893 г., при введении нового Городового положения, я продал свой московский дом, купленный для выбора в головы и, потеряв ценз, окончательно вышел из Думы. (Прим. автора.)

подчинение, когда самостоятельная мысль преследуется, как возмущение, а на вершине не видать ничего, кроме лицемерия, произвола и лжи, то, чего можно требовать от подвластных. В течение двадцати пяти лет во главе Москвы было поставлено лицо, как князь Владимир Андреевич Долгорукий, какие могли быть плоды такого управления! Великие преобразования Александра Второго были рассчитаны на то, чтобы дать русскому обществу возможность стоять на своих ногах; но и он, и еще более его преемник, делали все, что могли, чтобы унизить это освобожденное общество и не дать созреть посеянным плодам. Ныне Россия управляется отребьем русского народа, теми, которых раболепство все превозмогло, и в которых окончательно заглохло даже то, что в них было порядочного смолоду. При таких условиях ограничение самодержавной власти становится насущною потребностью. Оно одно может очистить охватывающую нас со всех сторон удушливую атмосферу, внести жизнь в гниющее болото и дать вздохнуть тем здоровым элементам, которые таятся в недрах Русской земли. Этот исход увидят наши потомки.

СТАРОСТЬ

Когда я, подавши в отставку, вернулся в Караул, я почувствовал, что у меня как будто гора свалилась с плеч. Полтора года постоянных, напряженных, большею частью мелочных и притом необычных занятий сильно меня утомили. Я ощущал потребность более или менее продолжительного отдыха и даже с некоторым ужасом видел перед собою необходимость опять приняться за ту же лямку. К тому же обстоятельства сложились так, что мое служебное положение сделалось крайне затруднительным и тяжелым. Полтора года тому назад я вступал на новое для меня поприще с готовностью работать изо всех сил, полный надежды на возможность принести некоторую пользу. После ужасного события 1 марта состояние России, казалось, требовало, чтобы все любящие свое отечество, все честные граждане приложили руку к общественному делу. Правительство нуждалось в опоре, общество нуждалось в деятелях. Можно было думать, что сам новый царь, неопытный и потрясенный страшною катастрофою, но исполненный самых чистых намерений и нравственных побуждений, окажет сочувствие и поддержку всякому искреннему стремлению, всякому добросовестному труду. Скоро, однако, пришлось во всем этом разочароваться. Оказалось, что правительство вовсе не нуждается в порядочных людях. Перевес получили самые темные и вредные личности. В журнализме царил Катков, который один пользовался вниманием государя. Личною инициативою царя граф Толстой был выдвинут из тьмы, в которую заслуженно был погружен, он был поставлен во главе управления. Ничтожному и раболепному Делянову было вверено народное просвещение в России. Моя отставка показала, что самые человеческие отношения были чужды новому монарху. Я был уволен по неизвестным мне наветам, без объявления вины. В этом случае нельзя было даже сослаться на влияние графа Толстого или князя Долгорукого, ибо во время получения моего оправдательного письма оба были в отпуску. И, несмотря на мое заявле-

ние, что я вины за собою не знаю, несмотря на прежние мои отношения к покойному наследнику, на имя, приобретенное литературными трудами и учебным поприщем, я не удостоился даже ответа и был просто уволен.

При таких условиях я был рад, что мне возвращается свобода. Оставаться московским городским головой в виду враждебных мне властей, не имея поддержки в обществе, в сущности равнодушном к общественному делу, привыкшем к раболепной покорности и пугающемся всякой угрозы, было немыслимо. Это была бы бесплодная трата сил в мелочной борьбе, без всякой возможности исхода. Такая перспектива не представляла ничего привлекательного. Теперь же я возвращался к мирной деревенской жизни, к своим любимым занятиям, к привычной деятельности на научном поприще. Пожив некоторое время в деревне, я говорил жене, что чувствую себя точно мышь, удалившаяся от света, которая наслаждается обитаемым ею сыром и знать не хочет того, что делается кругом.

В моих бумагах сохранилось начало недоконченного письма к Дмитриеву, в котором я выражал это настроение. Дмитриев был очень опечален моей отставкою и писал мне, между прочим, что в наши лета трудно уходить во-свояси. Я отвечал: «Не знаю, любезный друг, отчего ты находишь, что в наши лета трудно уходить во-свояси. Я нахожу, напротив, что это очень легко и приятно. В молодости человек рвется к деятельности и, пожалуй, мечтает о карьере; а в наши лета он успел создать себе внутреннюю жизнь, которая наполняет его существование. Когда есть природа, семья, друзья и книги, без остального можно обойтись. Трудно не уходить во-свояси, трудно тянуть лямку при существующих условиях, когда не знаешь, на кого опереться, а еще чаще знаешь, что положительно не на кого опереться. Воображать, что при такой обстановке сам по себе можешь принести пользу, это, друг мой, чистое самообольщение. Кто примыкает к вредному направлению и поддерживает его своим нравственным авторитетом, тот приносит не пользу, а вред. Как ни старайся порядочный человек пристегнуться к этой колеснице, рано или поздно он все-таки должен будет уйти, именно потому, что он порядочный человек...»

Я не продолжал письма, вероятно из опасения, чтобы Дмитриев не принял на свой счет этих намеков. Он был тогда еще попечителем Петербургского учебного округа, следовательно, одним из видных колес той правительственной колесницы, на которую я нападал. Вскоре он действительно должен был оставить свое место. Для меня научная работа, кроме личного

призвания, имела и ту громадную выгоду, что она ставила меня в положение совершенно независимое от всяких политических созвездий. Возносясь в чисто умственную область, я не знал ни гнусного правительства, ни раболепного общества. И я принялся за работу с своим прежним жаром. Целый год провел я таким образом в деревенской тиши, среди поэтических впечатлений любимой мною природы, при самой счастливой семейной обстановке.

Но и на этот раз провидению не угодно было продлить эту мирную и уединенную жизнь. Именно в ту пору, когда человек уходит во-свояси, он всеми силами души привязывается к тому, что составляет прелесть и счастие домашнего очага, и здесь-то нежданным ударом у меня вдруг все рушилось. Нас постигло горе, более жестокое, нежели все предыдущие.

Радостью нашей семейной жизни, солнышком, ее озаряющим, была маленькая дочка, родившаяся после смерти первых двух детей. Ей было около семи лет, и чем более она росла и развивалась, тем крепче мы к ней привязывались, тем более мы любовались и ее детскою прелестью и ее душевною красотою. Да простит читатель отцовскому чувству, изливающемуся в этих строках. Поныне еще, по прошествии десяти лет, я не могу об ней вспомнить без жгучей боли и без горьких слез. Чистый ее образ восстает в моей душе в неизгладимых чертах, и я должен его изобразить так, как я его вижу и чувствую [...]*

Вдруг нежданно, негаданно налетела страшная болезнь, которая унесла ее в несколько дней. В начале сентября 1884 года я вернулся из Малороссии, с хозяйственной поездки, которою я остался совершенно удовлетворен. Мне казалось, что можно без особенного стеснения устроить свою жизнь. Жена и дочь были здоровы. Мы втроем делали прогулки по лесу, готовились тихо и мирно провести осенние месяцы. Ни о каких заразных болезнях в окрестностях не было слышно, как вдруг у Улиньки заболело горло: оказался дифтерит! Лечение нашего земского врача не помогало; выписали доктора из Тамбова. Скоро пришлось выписать другого, чтобы сделать трахеотомию. Во время операции я держал ноги своего ребенка. Что я испытывал в эти минуты, пересказать невозможно; они стоят десятка лет жизни. Почувствовав освобожденное дыхание, она приподнялась и, сидя на операционном столике, уже без голоса, но с радостным лицом, указала через окно на любимую собаку, которая лежала на дворе. Ей дали пол рюмки вина, и она с прелестною улыбкой, кивнув головой докторам, сделала знак, что пьет за их здоровье. Луч надежды промелькнул в моей душе. Но это

был только мимолетный луч. Дифтерит пошел вглубь. Доктор вытащил громадную пленку, но и это не помогло. Ее стало душить. Не будучи в состоянии говорить, она попросила бумажку и четкими словами написала: «я умру»! Мать старалась ее утешить, говорила, что если богу угодно будет взять ее к себе, то у него ей будет хорошо, и все мы там соединимся. Она с сияющим лицом кивнула головкой в знак, что она это понимает. Сознательно и спокойно отходило в вечность кроткое дитя. Перед смертью она нас благословила и тихо отдала богу свою душу, напутствуемая прощальными словами и молитвами родителей, пораженных в самом корне жизни, в самых глубоких своих чувствах, в самых святых своих привязанностях.

В третий и последний раз я взял на руки маленький обитый белым атласом гробик и понес его в церковь, а оттуда на семейный погост, где он был опущен в землю с другими детьми, рядом и с моими родителями, в ожидании той поры, когда и нам дано будет успокоиться там непробудным сном. Опять, и на этот раз уже окончательно, мы с женою остались одни на земле [...]*

Этот удар сломил меня окончательно. С тех пор я уже не поднимался. Всякие надежды на счастье, всякое стремление к деятельности исчезли. Душевные силы были подорваны в самом корне. С тех пор я живу, покорно ожидая, когда богу угодно будет призвать меня к себе, продолжая работать по мере сил и стараясь по возможности облегчить наложенный на нас крест с той, которой суждено было делить со мной все радости и горе. Еще в цвете лет я мечтал о старости, как о ясной поре жизни, когда утихают все житейские волнения и страсти и все кругом представляется как бы облитое теплыми лучами заходящего солнца, любуясь которыми, человек тихо и незаметно достигает конца своего земного пути. Такова должна быть старость при нормальных условиях человеческого существования; но она не дана тому, у кого с корнем вырвана живая часть его сердца и кому приходится кончать свой век сторожем кладбища. Можно счастливо жить, не имея детей; но остаться на старости лет без детей, это едва ли не самое тяжелое, что может постигнуть человека на земле.

Все, что я видел вокруг себя, не могло ни ободрить меня, ни утешить. Наравне с семьей, а может быть и более, я люблю отечество, и в каком же положении оно находилось? В молодости я застал его под гнетом Николаевского деспотизма. Давление было страшное, всякая независимость преследовалась неумолимо. Но несмотря на то, в обществе сохранились живые

силы и неугомонные надежды. Лучшие люди того времени верили в мысль, в свободу, в просвещение, и дружными рядами работали для будущего. Ожидания их наконец сбылись: давящий их гнет рухнул в сознании своего бессилия; открылись новые поприща, на которые все ринулись, полные веры, под обаянием совершающихся событий. Нам довелось быть свидетелями величайших преобразований, какие испытывала на себе русская земля: одним законодательным актом дарована была свобода двадцати миллионам крепостных людей; в первый раз со времени ее существования в России водворилось правосудие; организовано было местное самоуправление; явилась неизвестная прежде свобода печати; страна покрылась сетью железных дорог. Россия, можно сказать, обновилась вся, как бы в купели живой воды, бьющей из вечных источников свободы и правды. Вспоминая прежнее время, едва верилось, что живешь в той же земле. И к чему все это наконец привело? Вместо новых, свежих сил для открывшихся всюду новых поприщ, оказалось умственное, нравственное и материальное оскудение. Независимые и образованные люди исчезли; пошлость царит всюду. Печать извратилась и изолгалась в конец; таланты все вымерли или заглохли. Правительство наполняется отребьем общества; все раболепное, низкопоклонное, бездарное лезет вверх и приобретает силу. Ложь господствует во всех сферах. Самые нелепые меры принимаются отуманенною властью, не имеющею ни мысли, ни совести, и расшатанное, опошлевшее общество не только не поднимает против них голоса, а, напротив, готово им рукоплескать. И чем дальше мы идем, тем гуще и безотраднее становится окружающая нас тьма. Что готовит нам будущее,—известно одному богу.

История расскажет поучительную повесть реакционных мер царствования Александра III. Если бы мы не были им свидетелями, мы едва ли бы могли верить, что все это происходило именно так, как это было на деле.

Первый удар постиг университеты. Давно уже Катков вел против них бесстыдный поход, который, наконец, увенчался успехом. Всегда покорный силе, Делянов внес в Государственный совет проект устава, отнимавший у университетских корпораций всякие права как по выборам, так и по экзаменам. Этим университеты низводились на степень чисто бюрократических учреждений. Однако в Государственном совете этот проект встретил сильный отпор: значительное большинство высказалось против. Сам Победоносцев, хорошо понимавший всю нелепость предлагаемой меры и весь вред, который она могла нанести русскому просвещению, ратовал за сохранение старого устава. Даже

настояния Каткова не могли его поколебать. Но Делянов приехал к нему плакаться, и ему, как он сам говорил, стало жаль старика. В сущности, он верно расчел, что ему выгоднее и покойнее быть в союзе с имеющими силу, и он решился изменить делу. Видя колебания государя, он посоветовал ему окончательно обсудить вопрос в совещании, составленном из немногих доверенных лиц. Победоносцеву было хорошо известно, что Государственный совет, как высшее законодательное учреждение в империи, установлен самою самодержавною властью именно для того, чтобы изъять монарха из-под влияния отдельных личностей и мелких стачек. Государь может не согласиться с мнением большинства; его собственные убеждения не связаны постановлениями совета. Но когда у него нет определенного мнения, голос высшего учреждения в государстве служит ему точкой опоры; утвердить его, значит оказать ему уважение. Переносить же дело из Государственного совета на обсуждение немногих лиц есть прямо выражение недоверия; это — публичное оскорбление, нанесенное первому учреждению в государстве. Между тем, именно на это бил Победоносцев, даже вопреки собственным убеждениям. Изменяя себе, жертвуя интересами русского просвещения для чисто личных видов, он бросал тень на самого государя. И дело было подстроено так, что во время совещания все видные защитники старого устава находились в отсутствии. И Бунге, и барон Николаи были в отпуску. Совещание составилось из Делянова, графа Толстого и всегда следовавшего за ним Островского. Мнимым противником нововведения явился только сам предатель Победоносцев. После совещания государь ему прямо сказал, что когда все против его одного, то он, разумеется, должен с ними согласиться. Штука была сыграна; устав был утвержден в том виде, как он был представлен Деляновым. Катков торжествовал полную победу. Безобразнее этой меры ничего нельзя было придумать.

Лишение университетов всяких корпоративных прав не имело ни теоретического, ни практического оправдания. Противники самоуправления представляли выборное начало плодом либеральных стремлений шестидесятых годов: между тем, в действительности, и Александровские уставы 1804 года, и даже Николаевский устав 1835 года предоставляли университетам право выбирать ректора и деканов. Только в 1848 году, в самый разгар реакции, в то время, как русские университеты как бы в наказание за революционые движения Западной Европы были подвергнуты огульной опале и число студентов ограничено тремястами, правительство взяло на себя назначение ректора.

Таким образом, искони корпоративные права присваивались русским университетам, что хорошо было известно тем, которые вели против них кампанию, хотя они намеренно представляли дело в ложном свете. Эти права вытекают из самого назначения университетов, как высших центров науки и преподавания. Профессора не чиновники, исполняющие приказания начальства. Они преподают то, что они добыли собственным трудом и собственными убеждениями. Поэтому за ними всегда признается более или менее независимое положение, которое и выражается в корпоративном устройстве. Конечно, этим можно злоупотреблять. Университеты могут выбирать людей с крайним направлением, враждебных существующему государственному строю. Но само правительство, отменившее все права, позаботилось о том, чтобы устранить подобные нарекания. Предоставив себе назначение ректора и деканов, оно во всех университетах, от первого до последнего, назначило тех же самых лиц, которые были уже выбраны. Спрашивается: зачем же нужно было производить такой коренной переворот? Значит, все выбранные лица были достойны доверия; чем же вызывались чрезвычайные меры?

Другая реформа была еще безобразнее. Вместо факультетских экзаменов введены были государственные экзамены в особых правительственных комиссиях. Такая перемена могла вызываться требованием более образованных чиновников и недоверием к университетским испытаниям. В действительности, однако, ничего подобного не было и не могло быть. Русское правительство вовсе не нуждалось в образованных людях; оно, напротив, оказывало им полное презрение. Любой гвардейский офицер, совершенно непричастный просвещению, мог с успехом претендовать на высшие места в государстве. Совершив такое преобразование, министерство не подумало даже о том, что для государственных экзаменов нужны программы, необходимы учебники, которых у нас не было. Кроме самих преподавателей, некого было даже назначить экзаменаторами. Когда пришлось прилагать новый закон на практике, все стали в тупик. Надобно было опять прибегнуть к всеведущему, всемогущему Каткову. Его клевреты принялись за работу, и после двухлетних недоумений была наконец выработана такая безобразная программа, от которой все университеты пришли в ужас. Со всех сторон посыпались возражения. Сам недогадливый армянин Делянов, как называл его Дмитриев, смутился и нарядил комиссию для рассмотрения дела. Однако, его колебаниям скоро был положен конец. Я слышал по этому поводу анекдот, живо рисующий

лица и тогдашнее положение. Однажды директор департамента Аничков сидит за своим столом в министерстве. Вдруг дверь с шумом отворяется, влетает Катков и, даже не поздоровавшись, поднявши руку, начинает кричать: «Что вы делаете? Вы учредили комиссию для разбора возражений против программы. Это — измена; я доложу об этом государю императору». Напрасно Аничков старался его успокоить, уверяя, что он тут не при чем; Катков продолжал беснователься, до тех пор пока пришли доложить, что приехал Делянов. Тогда он мигом устремился в кабинет министра, запер изнутри дверь на ключ и через четверть часа вышел с торжествующим лицом, неся в руках бумагу, приписывающую отмену комиссии и введение новой программы без изменений. Так у нас управляли русским юношеством и народным просвещением. Мудрено ли, что одно сбивалось с толку, а другое угасало.

Все это, однако, не послужило ни к чему. Пресловутая программа произвела только невообразимый сумбур, в котором ни профессора, ни студенты не могли найтись. Пришлось волею или неволею возвращаться к старому порядку курсовых экзаменов по тетрадкам профессоров. Сначала они введены были для перехода со второго курса на третий, а потом и для перехода с первого на второй. Только студенты третьих курсов остались без испытаний.

Спрашивается: для кого и для чего нужна такая ломка, в жертву которой принесены были несколько поколений учащейся молодежи? Она требовалась единственно затем, чтобы удовлетворить мести журналиста, который не мог простить Московскому университету его оппозиции наглым его притязаниям и хотел из-за журнального стола самовластно управлять министерством. И все это совершалось под омерзительною личиною свободы преподавания и любви к просвещению!

Но всего, может быть, печальнее та покорность, с которою все это было принято обществом и университетами. Протеста, даже самого умеренного, не последовало ниоткуда. Сколько мне известно, из всех профессоров, вновь назначенных в ректоры и деканы, один только бывший ректор Харьковского университета, Цехановецкий, отказался и уехал в отпуск за границу. Остальные все, не обинуясь, приняли новые должности. Для русского человека променять общественное положение на чиновничье, из выборного представителя корпорации превратиться в правительственного агента ровно ничего не значит. Мало того: самая учащаяся молодежь, недавно еще волновавшаяся по пустякам, устроила празднество в честь государя и

после постигшего университеты разгрома сделала ему восторженную овацию. Перед тем царская фамилия ездила, по обыкновению, в Финляндские шхеры и заезжала в Гельсингфорс. Там студенты устроили в честь его концерт, что было совершенно уместно, ибо Гельсингфорский университет, один среди развалин, остался цел и невредим. Мой шурин Капнист, попечитель Московского учебного округа, задумал то же самое учинить в Москве. Как представитель правительства, он думал этим способом показать государю Московский университет в выгодном свете и задобрить его в пользу заподозренного учреждения. Государь, после некоторых колебаний, согласился наконец поехать. Концерт удался как нельзя лучше; овация была громадная, восторг неописанный. Все ликовали, ожидая каких-то необыкновенных благ, которые не последовали, а те немногие, которые считали неприличными подобные демонстрации, после того как университеты лишены были всяких прав и низведены на степень бюрократических канцелярий, признавались озлобленными людьми и врагами общественного порядка. Как собачка, которую хозяин высек без всякой причины, университет приходил лизать руку, от которой он получил незаслуженную кару. После этого, как не сказать, что такое общество заслуживает такого управления? Помнится, однако, что были государи, которые старались общество поднять и облагородить; ныне стремятся единственно к тому, чтобы его опошлить и унизить.

Не менее любопытным примером способов действия нашего управления может служить случившаяся почти в то же время история Московских городских рядов. Она характеризует отношения правительства к городскому обществу.

Вопрос о перестройке старых городских рядов, которые были безобразны и неудобны, возник уже давно. Когда я был головою, об этом был представлен проект в министерство внутренних дел; но там он затормозился. Главное затруднение при ведении этого дела состояло в том, что собственниками лавок были их владельцы; на это они имеют неоспоримые документы. Чтобы совершить перестройку, надобно было всех их привести к соглашению, а это было дело не легкое. Оно тянулось несколько лет; однако удалось наконец составить из них общество, в которое многочисленные пайщики вошли каждый со своим владением. На этом и был основан посланный в министерство проект. Но министерство почему-то вообразило, что собственником земли, находящейся под лавками, непременно должен быть город, и требовало, чтобы он отыскал свои права. В этих

видах проект был возвращен Думе во время моего управления. Мы всячески старались открыть неуловимые документы, рылись в архивах, обращались к Забелину, как главному знатоку московских древностей, и все напрасно. Единственно, на что мы могли претендовать, была собственность проходов. На этом вопрос и остановился, когда я вышел в отставку. Князь Долгорукий, который во всяком деле имел в виду только прославление самого себя, хотел воспользоваться междуцарствием, чтобы двинуть перестройку по собственному почину. Он прислал в Думу бумагу, требуя, чтобы она взяла это дело в свои руки. Дума отвечала, что она не может этого сделать, ибо ряды составляют частное владение, для перестройки которого уже образовалось акционерное общество. Тогда рассерженный генерал-губернатор назначил от своего имени комиссию для осмотра строения; в нее не были даже призваны архитекторы Думы, под ведением которой оно состояло. Комиссия, исполняя данные ей приказания, нашла, что строение опасно, и князь Долгорукий, в силу полномочий, данных ему Положением об охране, приказал его закрыть к 1 октября, а сам уехал в отпуск за границу.

Это было нечто чудовищное во всех отношениях. Ряды состояли в ведении города, и генерал-губернатор не имел ни малейшего права ими распоряжаться. Положение об охране, на которое он ссылался, касалось политических преступников, а вовсе не городских строений, хотя на практике оно нередко применялось в обеих столицах и к мостовым, и к извощикам, и ко всему на свете. Фактически строение вовсе не грозило опасностью и с небольшими поправками легко могло простоять еще лет пятьдесят. Закрытие его через два месяца, без всякой подготовки, не только нарушало самые существенные интересы владельцев, но многим грозило неминуемым разорением.

Московские купцы переполошились. Алексеев, который в то время был уже головой, принялся хлопотать об отмене распоряжения. От рядовых торговцев послана была просьба на имя государя. Найденов, со своей стороны, обратился к Победоносцеву, с которым он был в сношениях по Добровольному флоту. Наконец, Алексеев получил из Петербурга телеграмму от Рихтера с приглашением немедленно приехать. Когда он явился во дворец, Рихтер спросил его, отчего нет просьбы от городского управления для подкрепления прошения торговцев. Алексеев отвечал, что так как Дума здесь в стороне, то они не считали нужным этого делать, но что удовлетворить этому требованию очень легко. Он тут же написал просьбу, а Рихтер

при нем понес ее государю. Вернувшись, он сказал, что дело будет улажено. Алексеев, от которого я слышал весь этот рассказ, возвратился в Москву успокоенный и объявил торговцам о результате своей поездки. Все думали, что этим вопрос и кончится, и никто уже не заботился о приготовлении новых помещений на случай закрытия рядов.

Но хозяин распорядился без своего прикащика, а это в самодержавном правлении бывает так же неверно, как и в частном хозяйстве. В это время граф Толстой был в отпуску. В сентябре он из деревни возвращался в Петербург. Перфильев, который в отсутствии генерал-губернатора управлял Москвою, ожидал его с нетерпением. Положение его было весьма затруднительное. С одной стороны, он вполне понимал все безумие и беззаконие этой меры; с другой стороны, он не мог ослушаться формального приказания генерал-губернатора. Поэтому ему было очень важно заручиться мнением министра. Но и граф Толстой не любил брать на себя ответственности. Сваливать всякое щекотливое дело на подчиненных было одною из главных задач его политики, а когда он хотел ускользнуть, уловить его было трудно. Еще до его приезда в Москву к Перфильеву явился чиновник с извещением, что министр не желает никакой встречи на железной дороге. Перфильев отправился в гостиницу Дрезден, где граф Толстой остановился на одни сутки; ему сказали, что министр не приказал никого принимать. Вторичное посещение имело тот же результат. Тогда Перфильев решился ехать провожать министра при отъезде его в Петербург, пользуясь тем, что на этот счет не было сделано никакого распоряжения. Действительно, он застал графа Толстого, расхаживающего в одиночестве в императорских комнатах. Государственный сановник был застигнут врасплох. Однако он тут же нашелся. Он немедленно послал Перфильева пригласить обер-полицеймейстера Козлова, который находился на дебаркадере, уверяя, что тот обидится, если его не позовут. Когда же оба пришли, министр начал рассыпаться с ними в любезностях, без умолку говорил о разных предметах, не давая им вставить ни слова. В это время послышался звонок; он поспешно пожал им руки и, не давая им опомниться, убежал, оставив Перфильева в полном недоумении. Это была сцена из водевиля. Так решилась судьба многих людей.

Приезд министра в Петербург разом повернул все дело. Поддерживая во всех случаях и во что бы то ни стало авторитет власти, он не мог допустить, чтобы городское управление взяло верх над генерал-губернатором, хотя бы для этого надобно

было пожертвовать и законом, и совестью, и благосостоянием граждан. Из Петербурга послан был техник для осмотра рядов. Я думал, что по обыкновению ему приказано было найти их опасными, и он, как чиновник, исполнил это поручение. Но Алексеев уверял меня, что видел поданное техником донесение; в нем ряды, при небольших поправках, признавались совершенно безопасными. И несмотря на это, вышло высочайшее повеление, которым решение генерал-губернатора признавалось законным и правильным. 1 октября ряды были закрыты. Торговцы, не ожидавшие такой катастрофы, были выброшены на улицу. Многие из них были совершенно разорены; купец Солодовников в отчаянии зарезался в Архангельском соборе. Кровь его вопиет против всех участников в этом возмутительном деле.

Такой исход не мог быть приятен и самим властям, совершившим разгром. Генерал-губернатор вернулся из-за границы мрачнее ночи. Перфильеву и Козлову сильно от него досталось. Вскоре оба оставили свои должности и получили звание почетных опекунов. Тем все и кончилось.*

Когда таким образом поступали с массами ни в чем неповинных людей, то чего же мог ожидать отдельный человек. В этом отношении весьма любопытным эпизодом было дело Дервиза; оно, может быть, яснее всего характеризует нравственный уровень тех, кому вверено было управление Россией.

Известный богач Павел Григорьевич фон-Дервиз, строитель Рязанской, Козловской и Курско-Киевской железных дорог, можно сказать, зачинатель частного железнодорожного дела в России, оставил после своей смерти вдову и двух сыновей, из которых старший был уже совершеннолетний, а младший состоял еще под попечительством. У старика Дервиза был брат, Дмитрий Григорьевич, горбун, имевший репутацию человека очень умного, но лукавого и неуживчивого. Некогда он был видным деятелем в министерстве юстиции, затем был сделан сенатором и, наконец, членом Государственного совета. По близости к брату он участвовал в его железнодорожных предприятиях и давал на них свои значительные капиталы. После смерти старика Дервиза во главе Козловской дороги стоял бывший его правою рукòю И. Е. Ададуров, с которым Дмитрий Григорьевич был в ссоре. Он хотел прижать Ададурова внезапным требованием денег; но у последнего был неисчерпаемый источник в состоянии молодого Дервиза, который, зная его отношения к отцу, поддерживал его против дяди. Потребовалось положить этому конец, взявши племянника под опеку. Сделать это

было не трудно. Дмитрий Григорьевич фон-Дервиз был товарищ по Училищу правоведения и близкий приятель министра юстиции Манассеина, а высшее управление правосудием продолжало, как и встарь, служить орудием всякой неправды. Итти в этом деле законным путем было невозможно. Молодой Дервиз был дворянин Рязанской губернии, а по закону для учреждения над ним опеки, надобно было обратиться в депутатское собрание. Там немедленно обнаружилась бы вся гнусность этой интриги. Но если трудно было провести представителей сословия, то ничего не стоило провести государя и выхлопотать высочайшее повеление. Так и было сделано. Манассеин представил, что молодой Дервиз расточает за границей огромные, приобретенные в России, капиталы и ведет к разорению несовершеннолетнего брата. Были даже намеки, что деньги идут на нигилистов. Однако, государь не решился прямо подписать указ; но вместо обращения дела к законному ходу он приказал рассмотреть его в комитете министров. Собрался весь сонм правителей государства. По высочайшей воле они становились судьями личности и собственности русского гражданина. Всем им и прежде всего сидевшему тут Победоносцеву и представлявшему дело министру юстиции, было хорошо известно, что первое требование правосудия, даже по русским законам, состоит в том, чтобы дать обвиняемому возможность защищаться. Между тем, не только от Дервиза не было потребовано объяснения, но ему не было даже предъявлено обвинение; не было допрошено и ближайшее к нему лицо, его мать, попечительница младшего брата. Из всех присутствующих один Абаза, к его чести, заметил, что следовало бы предварительно допросить обвиняемого. На это остальные возразили, что если министр юстиции представляет о необходимости наложения опеки, то без сомнения он имеет уже все нужные сведения, и ему надобно верить; все, не обинуясь, подписали согласно с мнением министра постановление, которое и было утверждено государем. Русский дворянин лишен был гражданских прав и подвергнут позорному наказанию, не имея даже возможности сказать слово в свое оправдание, притом по такому делу, которое в сущности не составляло никакого преступления, ибо, тратя деньги, унаследованные от отца, Дервиз пользовался только неотъемлемо принадлежащим ему правом собственности. Наложение опеки есть крайний случай, при значительных долгах и разорении семейства, чего здесь не было и в помине. Согласно с постановлением комитета министров, назначен был и опекун, другой товарищ и приятель Манассеина, сенатор Коробьин, которому

совершенно неожиданно свалилось с неба тридцать тысяч рублей в год за опекунское управление колоссальными капиталами. Все поздравляли его с таким радостным событием. Штука удалась, как нельзя лучше; дядя торжествовал.

Между тем, жертва всей этой гнусной проделки преспокойно жил в деревне, не подозревая того, что над ним творится. Вдруг ему объявляют, что он по высочайшему повелению, неизвестно за что, взят в опеку. И он и его родные пришли в полнейшее недоумение и отчаяние. К счастью, его мать, живя в Ницце, была хорошо знакома с моею сестрою, Нарышкиной, которая когда-то проводила там зиму. Она тотчас к ней прискакала и объяснила, что не только сын ничего не растратил, но со времени смерти мужа состояние возросло на несколько миллионов. Сестра советовала ей написать прошение на имя государя и направила ее к Дмитриеву, который бумагу пересмотрел и исправил. Черевин, предупрежденный заранее, передал просьбу государю. Велено было, по открывшимся данным, сызнова пересмотреть дело в комитете министров. Манассеин не приехал в заседание, сказавшись больным, а остальные, также спокойно, как они наложили опеку, решили ее снять. На этот раз дело сорвалось. После того и Победоносцев и сам Манассеин плакались перед государем, уверяя его, что они были введены в заблуждение; как будто можно заблуждаться на счет того, что непозволительно подвергать человека наказанию и лишать его гражданских прав, даже не предъявив ему обвинения и не давши ему сказать слова в свою защиту. Смею думать, что если бы государь приказал рассмотреть дело в собрании самых последних мещан, то и они не решились бы на такой поступок; и между ними нашлись бы люди, которые подняли бы голос против такого возмутительного произвола. Но коллегия русских государственных людей без всякого зазрения совести попирала ногами самые элементарные требования правосудия, и все это им сходило с рук. Гнев государя обратился на дядю, который подстроил всю это интригу. Рассказывали, что он в негодовании воскликнул: „Уж я до этого горбуна доберусь.“ Однако, горбун продолжал преспокойно сидеть на своем месте в Государственном совете, и сам министр, который подвел монарха и обнаружил полнейшее презрение к праву и нравственности, который в этом деле выказал себя совершенным негодяем, продолжал по-прежнему управлять правосудием в русской земле.*

Таковы были люди, которые стояли во главе управления. А между тем, вся забота правительства клонилась к тому, чтобы

поднять обаяние власти. Никто и не думал о том, что власть в государстве держится не одною солдатскою субординацией, но также и, еще более, нравственным авторитетом. Всю вину господствующей неурядицы сваливали на преобразования прошедшего царствования. Пытались доказать, что необдуманные либеральные реформы породили нигилизм, как будто нигилизм, вскормленный николаевским гнетом, не существовал во всеоружии, прежде нежели были предприняты какие-либо реформы. Те скудные права, которые были дарованы русскому обществу, подверглись подозрению; выборное начало старались всячески урезать. По мановению графа Толстого пошла ломка всех учреждений. После разгрома университетов дошла очередь до местного управления.

В одной из предыдущих глав я старался выяснить, каковы были недостатки крестьянского самоуправления и какие требовались против них лекарства. Нужно было связать волостной суд с мировою юстицией и подтянуть волостных старшин, усилив количество и права непременных членов уездных присутствий. Для этого не требовалось никакой ломки. Достаточно было дополнить и исправить существующие учреждения по указаниям практики. Но нашим законодателям, как либералам, так и реакционерам, непременно хотелось все перевернуть вверх дном и только что преобразованную Россию вновь преобразовать по собственным измышлениям. При Лорис-Меликове, под председательством Каханова, учреждена была комиссия, которая сочиняла всесословную волость и задумала установить новую должность волостелей.* С появлением графа Толстого все это разом переменилось, и та же комиссия стала работать в совершенно противоположном смысле. Сперва предлагалось подчинить крестьян начальству помещиков, давши последним право выбирать из себя волостелей. Однако, на такую меру окончательно не решились. Это было косвенное возвращение к крепостному праву и могло возбудить слишком сильное неудовольствие в народе. Помирились на замене дворянства чиновничеством, что всего более приходилось по сердцу новому министру. Вместо выборных непременных членов, которым дотоле принадлежал ближайший надзор за крестьянским управлением, решили учредить назначаемых правительством и подчиненных непосредственно губернатору земских начальников. Но для того, чтобы помазать по губам дворянству, было постановлено, что они должны, по возможности назначаться из местных помещиков, по совещании губернатора с предводителем дворянства.

Инициаторы этого предложения хорошо понимали, что это был чистый обман. Мне довелось читать возражения министра юстиции на этот проект и ответы министра внутренних дел. Первый, считая серьезным делом предполагавшееся возвеличение дворянства, возражал, что если земские начальники, облеченные произвольною властью, лягут тяжелым бременем на сельское население, то все неудовольствие обратится на дворянство, которое через это лишится всякого влияния на народ. На это граф Толстой откровенно отвечал, что дворянство тут ровно не при чем; оно призывается к участию, как поставщик служилых людей, чем оно было искони, но ответственности на него не возлагается никакой: как назначение лиц, так и ответственность за их управление, все это исключительно должно лежать на правительстве. Действительно, когда при Николае Павловиче учреждались становые пристава, точно также велено было по возможности назначать их из местных помещиков, по совещании с предводителями; но никто не думал выдавать это за расширение дворянских прав. И несмотря на такое сознательное отношение к делу высших правительственных лиц, высочайшим манифестом, изданным при введении земских начальников, возвещалось всенародно, что этим дворянству даруется новая милость. Явная ложь изрекалась с высоты престола. Без сомнения, царь был этому непричастен; он искренно думал, что новою мерою возвеличивается первая опора престола. Но это доказывает только, как мало он понимал дело и как легко было ввести его в заблуждение.

Обман был тем возмутительнее, что именно этою реформою дворянство лишилось последних своих прав. Со времен Екатерины оно было, можно сказать, полным хозяином уезда. Оно выбирало и полицию и судей. Крепостное право давало ему почти безграничную власть над сельским населением. С освобождением крестьян все это от него отошло. Помещичья власть была упразднена; полиция всецело поступила в ведение правительства; уездные суды были закрыты и заменены общими судебными местами. Взамен того дворянство получило преобладающее значение в земских учреждениях, которые не только заведывали местным хозяйством, но посредством выбора непременных членов и мировых судей влияли и на все местное управление. Как председатель земского собрания и уездного присутствия, предводитель дворянства был главным лицом в уезде. Можно сказать, что после реформ Александра II все уездное управление, то-есть фундамент всей администрации, лежало на предводителях. Никогда их значение не стояло так высоко. Теперь же все это

изменилось. Место выборных непременных членов заступили назначаемые и увольняемые правительством земские начальники. Подчинением последних непосредственно губернатору устранялось всякое влияние на них предводителя, которого положение в уезде через это существенно умалялось. В первый раз бюрократия внедрялась в самое сердце уезда и забирала все местное управление в свои руки. Наконец, с довершением всей этой реакционной ломки мировые суды были уничтожены.

Эта последняя мера была самым чувствительным ударом, нанесенным земским людям, то-есть, главным образом, живущему на местах дворянству. Если было учреждение, которое вызывало полное сочувствие местных помещиков, которое совершенно приходилось по их нравам и понятиям, то это был мировой суд. В первый раз, с тех пор как существовала Россия, преобразования Александра II водворили у нас правосудие; дотоле, под видом закона, властвовали только лихоимство и крючкотворство. Но учрежденные вновь общие суды были далеки от местных жителей; обращение к ним, сверх хлопот, требовало и более или менее значительных издержек. Мировой суд, напротив, был близок всем; земские люди из среды себя выбирали доверенных лиц, призванных судить несложные, но важные для обыденной жизни дела. Живя у себя дома, помещик являлся вместе с тем представителем всего населения и блюстителем правосудия в своем округе. И в огромном большинстве случаев это делалось добросовестно и беспристрастно. Никаких дворянских поползновений и притязаний, ни малейшего стремления к притеснению низшего народонаселения в этом вверенном земству деле нельзя было заметить. Так же как мировые посредники первого призыва, мировые судьи делают честь местному русскому дворянству. Если и случались промахи и неправильности, то они обыкновенно исправлялись на съездах, где, кроме участковых, заседали избираемые земскими же собраниями почетные мировые судьи. На это лучшие местные люди положили свою душу. И вдруг, совершенно для всех неожиданно, без малейшего к тому повода, все это было выброшено за окно. Начинавшее водворяться на местах правосудие было заменено чистейшим произволом. Россия была отдана на жертву массе набираемых отовсюду молодых людей, которых само правительство науськивало на проявления необузданной дикости. Некоторую сдержку эти начала встречали еще там, где успели упрочиться предания мирового суда. В других местах рукопашная расправа сделалась обычным явлением. Русское юношество развращалось привычкою к полному

произволу относительно низших и раболепной покорности в отношении к высшим.

Эта реформа не была уже делом графа Толстого. Прежде, нежели реакционный проект сделался законом, он, к счастью для отечества, сошел в могилу. Но зловещая его тень царила над его наследием, она внушала решения государю. Уничтожение мирового суда было личным делом царя. Никто об этом даже и не думал, и когда выработанный министерством проект вышел из царского кабинета с собственноручною отметкой, требовавшей отмены мировой юстиции, все были поражены недоумением. Но делать было нечего; надобно было проект переработать в указанном смысле, соединить юстицию с администрацией, распределить дела, подведомственные мировым судьям, между волостными судами, земскими начальниками и другими учреждениями. Все это было состряпано наскоро; закон был редактирован согласно с волею государя. Актом личного произвола зачатки близкого к населению правосудия были уничтожены в русской земле.

Главною побудительною причиною этой ломки было то, что введение земских начальников требовало значительных расходов. Между тем, казна и без того была скудна, а возложение их на местных жителей могло возбудить сильное неудовольствие против новых учреждений. Возвещаемая милость отразилась бы только крупным увеличением податного бремени. Это представлялось самым существенным возражением против новой реформы. Чтобы выйти из затруднения, не нашли ничего лучшего, как уничтожить мировой суд и ассигнованные на него деньги обратить на земских начальников. Этим способом реформа могла быть введена без возвышения налогов. О том, что при такой перемене земству приходилось оплачивать из собственных средств уже не содержание выборных его лиц, а жалованье правительственных чиновников, никто, разумеется, не думал. Еще менее заботились о том, что этим наносится удар правосудию.

Но всего возмутительнее в этом деле было то, что правительство всячески старалось вызвать по этому поводу выражения благодарности со стороны дворянства. В этих видах сыпались на него разные денежные льготы. Перед тем учрежден был Дворянский банк, который выдавал помещикам ссуды за весьма низкие проценты и со всевозможными рассрочками; а так как через это банк разорялся, то для поддержания дворянского кредита были пущены в ход лотерейные займы. Таким образом, справедливому негодованию за умаление прав затыкали рот

медными грошами, добытыми безнравственным путем, и все это представлялось в виде возрождающейся новой дворянской эры, долженствующей поднять российское дворянство из угнетенного положения, в которое оно было повергнуто преобразованиями предшествующего царствования. К умалению прав присоединялось лицемерие и нравственное унижение. О чести благородного сословия давно уже перестали говорить. Самое понятие о ней утратилось.

И надобно к прискорбию сказать, многие дворянские собрания отозвались на эти недостойные приманки. Губернские предводители, наперерыв друг перед другом, старались подслужиться, и дворяне, ожидавшие золотых гор от нового банка, следовали за ними с увлечением. Раболепными адресами наполнялись столбцы газет. В лирических излияниях выражалось, как дворянство возликовало от грошовых подачек и увидело перед собою зарю новой жизни. Я не мог читать их без омерзения. Помнится, черниговское и нижегородское дворянства особенно отличались своими восторгами. Но и московское, некогда столь либеральное, не отставало от других.

Были, однако, немногие почетные исключения. В Полтаве исполнявший должность уездного предводителя Волков объявил, что он не подпишет никакого адреса, в котором не будет упомянуто с благодарностью о преобразованиях прошедшего царствования. Пришлось итти на сделку; написали адрес, в котором выражалась благодарность за то, что царь продолжает преобразования своего отца. Это выходило иронией и многие считали это неприличным; но я находил, что это все-таки лучше, нежели благодарность за умаление прав.

У нас в Тамбове колебания были большие. Еще до издания нового положения я считал полезным представить от дворянства адрес с просьбою сохранить дарованные земству права, составляющие замену тех, которыми дворянство пользовалось со времен Екатерины. У нас предстояло дворянское собрание. Надобно было предварительно заручиться поддержкою более или менее влиятельных людей. Будучи в Москве, я обратился в этих видах к двум молодым уездным предводителям, Соловому и Новосильцеву. Оба они были зятья моего старого друга, князя Щербатова, люди отличные, вполне независимые, либеральные и преданные общественному делу.* Они горячо ухватились за эту мысль, и я позвал их к себе на совещание; а между тем набросал проект адреса. Но когда они на следующий день явились, я нашел их уже в совершенно ином настроении. Семейные влияния, в особенности советы моего старого прия-

теля, который при всех своих гражданских доблестях слишком охотно шел на компромиссы и, в виду самой пользы дела, опасался резких демонстраций, заставили их призадуматься. Они стали говорить, что подобный адрес может произвести наверху дурное впечатление, и пожалуй, даже повредит делу, что при наших условиях лучше действовать осторожнее и подождать, что будет. Сюда примешивалось опасение компрометировать свое положение предводителей, навлекши на себя гнев правительства и не находя надлежащей поддержки в обществе. По-моему, главная наша беда состоит в том, что мы не решаемся мужественно высказывать свое мнение, а предпочитаем действовать уклончиво, что и привело нас к нынешнему положению. Я разорвал проект адреса и не поехал на дворянское собрание. Если так колебались лучшие люди, то чего же можно было ожидать от других? Меня считали каким-то сорванцом, готовым на всякие ужасы.

Случай предъявить некоторого рода протест представился уже по введении новых учреждений. Значительным городам по закону было предоставлено ходатайствовать о сохранении у них мирового суда. Можно было воспользоваться этим постановлением, чтобы предъявить подобное же ходатайство и со стороны земства, тем более, что уже были тому примеры. На губернском земском собрании я сообщил эту мысль многим гласным и в большинстве нашел полное сочувствие. Составленный мною проект ходатайства был следующий:

«Тамбовское губернское земское собрание, имея в виду, что со времени царствования Екатерины Второй местные суды были в руках местного населения; что после освобождения крестьян и введения земских учреждений мировые суды заменили прежние, выборные от сословий; что будучи основаны на началах устного и гласного судопроизводства и на полном отделении судебной власти от административной, мировые суды впервые водворили у нас близкое и доступное народу правосудие, чего не достигало прежнее судоустройство; что, развивая в населении начала и чувство законного порядка, они сослужили добрую службу отечеству; что тем самым они привлекали к себе лучшие местные силы и вполне удовлетворяют потребностям населения, которого самые хозяйственные интересы нуждаются в прочности и охранении права; что существование мировых судов совместно с необходимым улучшением крестьянского управления, о котором Тамбовское земство представляло еще десять лет тому назад, признавая полезным расширение прав и умножение числа выборных от земства непременных членов уездных присутствий; что только при существовании мировых судов возможно действительное улучшение волостных судов, о чем также представляло Тамбовское земство; что наконец многие города и некоторые земства ходатайствовали о сохранении мировых учреждений, опираясь на самый закон, допускающий изъятия и дополнения,—

Тамбовское губернское земское собрание, надеясь на то, что высшее

правительство не оставит без внимания существенных его нужд, ходатайствует о сохранении в губернии мировых учреждений в настоящем их виде».

Это предложение было подписано большинством губернских гласных, так что принятие его земским собранием не подлежало сомнению. Но оно не было допущено к обсуждению. Губернским предводителем был в это время мой родственник, Ф. Д. Хвощинский, человек крайне ограниченный и находившийся под полным влиянием губернатора, которому это заявление было вовсе не по нутру, и который старался его напугать. В частном разговоре со мною он с большою наивностью, указывая на своего маленького сынка, который был полуидиот, говорил мне: «я лично для себя не боюсь никаких демонстраций, но из-за этого мальчугана не могу». Робкие люди охотно ссылаются на детей, когда трепещут за себя. Все, чего можно было добиться, это то, что внесенное мною предложение, подписанное большинством гласных, было прочитано в собрании; но затем предводитель прекратил всякие прения, объявив, что считает такое ходатайство незаконным. Мы не настаивали, ибо ходатайство во всяком случае было чисто платоническое, а подписи большинства гласных заменяли решение собрания. Государь зорко следил за всяким заявлением, и наше, без сомнения, сделалось ему известным, а это все, что требовалось. Успеха мы не ожидали, но нам оно служило облегчением совести и некоторого рода личным удовлетворением. Покоряясь тому, что было не в нашей власти, мы, по крайней мере, высказали гласно свое желание сохранить права и учреждения, дарованные нам преобразованиями Александра II.

В это самое время дворянское депутатское собрание занималось составлением благодарственного адреса по поводу возвещенного манифестом дарования новых милостей дворянству. Оппозиция Соловово и Новосильцева не допустила раболепных излияний и в особенности изъявления благодарности за земских начальников. Адрес, посланный в третьем лице, через министра внутренних дел, вышел краткий и далеко не восторженный. Редакция была следующая:

«Съехавшиеся предводители и депутаты тамбовского дворянства просят Вас повергнуть к стопам его императорского величества чувства глубочайшей верноподданнической преданности и благоговейной признательности за милостивое желание его величества поднять материальное благосостояние нашего сословия и уверения в полной готовности нашей, по завету предков, исполнять предначертания своего излюбленного монарха».

Я не был доволен ни общим тоном, ни в особенности последним выражением. Мне казалось, что, посылая адрес, дворянство могло сказать что-нибудь менее пошлое. Но по крайней мере тут не было явной лжи и лирических восторгов, оскорбляющих чувство человеческого достоинства. Между тем, такой холодный адрес наверху был принят очень неблагосклонно. Со стороны государя не последовало даже обычного выражения благодарности. Тогда все дворянские подлецы, а их везде не мало, всполошились. У нас был сенатор Жихарев, некогда прославившийся зверским следствием над нигилистами, человек, которого репутация была такова, что он не мог даже заседать в Сенате, где никто не хотел подавать ему руки, а жил в деревне в отпуску, но всячески старался подслужиться, в надежде опять всплыть наверх. Он громко кричал, что такой адрес, за который даже не получено благодарности, составляет позор для тамбовского дворянства. Другие ему вторили; губернский предводитель перепугался. На следующем затем дворянском собрании, которое было в январе 1891 года, решено было послать новый адрес, на этот раз уже от всего дворянства. Не замечали, что этим самым наносится оскорбление предводителям и депутатам, пославшим первую редакцию. Пришлось воевать шаг за шагом. Либеральные предводители добились только того, что не было выражено благодарности за земских начальников. В остальном они пошли на компромисс. Новый адрес был написан самым раболепным языком; в нем говорилось, что мы, по примеру доблестных предков, готовы положить свои животы за все предначертания возлюбленного монарха.

Мы с братом Владимиром не были на этом собрании. По обыкновению, мы зиму проводили в Ялте. Когда до нас дошел текст адреса, мы были глубоко огорчены. Нам совестно было за свою губернию, которая дотоле держала себя прилично. Я говорил, что уж если ссылаться на доблестных предков, то надобно было, по их примеру, подписываться: «холоп твой Федька, Ванька и т. д.» Действительно, такая подпись была самая уместная для большинства тех адресов, которые посылались от благородного российского дворянства. Века холопства не внушили нам чувства человеческого достоинства и не научили нас говорить благородным языком. А пока этого нет, тщетно думать о какой-нибудь оппозиции. Беззастенчивое правительство может все себе позволить.

По этому поводу я писал Щербатову:

«Я не виню твоих зятьев, которых люблю и считаю вполне благородными людьми; но не могу не скорбеть глубоко о том

уровне русского общества, который заставляет вполне порядочных людей подписывать подобные адреса. Ты соглашаешься, что он пошл; но в чем состоит его пошлость? Не в том, что он содержит в себе общие места, ничего не значущие фразы, а в том, что он писан языком XVII века, каким ни ты, ни я не обратились бы к власти. Ты сам признаешь, что там есть невозможные выражения. Пока мы не отучились говорить таким языком, думаю, что об общественной пользе не может быть речи. Дело не в материальных улучшениях, а в нравственном уровне. Надобно прежде всего возвысить и облагородить души приниженных многовековым гнетом русских людей, а для этого показывать им пример независимости. В этом состоит первый долг перед отечеством, и это — первое требование, с которым я обращаюсь ко всякому общественному деятелю. Не понимаю, отчего нельзя было воспрепятствовать подаче подобного адреса. Мы имели пример полтавского дворянства, где Волков объявил, что не подпишет никакого адреса, в котором не будет помянуто о реформах прошедшего царствования, и волею или неволею принуждены были согласиться на подачу адреса, который, что о нем ни говори, составляет отрадное явление среди господствующего у нас неизменного уровня. Из Тамбова писали, что предложенный Хвощинским адрес был принят всеобщим молчанием; зачем же нужно было заменять его адресом, который в сущности ничем не лучше? Если бы два предводителя объявили, что они не подпишут адреса, несогласного с их убеждениями и с тем, что они считают достоинством дворянина, то подобного адреса нельзя было бы послать. Подавать в отставку было не за чем; но надобно было сказать своему уезду, что если у них другие понятия о дворянской чести и о дворянском достоинстве, то пусть избирают других предводителей. Нельзя оставаться во главе сословия при таком коренном различии в основных понятиях. Если бы после этого они были выбраны вновь, то это было бы нравственное торжество, с сознанием поданного хорошего примера и действительно принесенной пользы. Тогда бы я с нераздельным сочувствием отнесся к прекрасной речи Василия Михайловича (Соловего), которую я с грустью сравниваю с поданным адресом. — Очень рад, что мне не пришлось быть на тамбовском дворянском собрании. Когда с лучшими людьми так радикально расходишься в мыслях и чувствах, лучше совсем устраниться от общественной деятельности. К счастью, мне 63 года; впереди у меня нет ничего, и мне, вероятно, не долго уже остается быть свидетелем таких явлений, с которыми я, любя свое отечество, никогда не могу примириться».

Но и между вполне независимыми людьми были разногласия на счет образа действий, которого следовало держаться относительно новых учреждений. При уничтожении мирового суда сохранены были почетные мировые судьи с правом заседать в съездах земских начальников. Следовало ли принимать на себя эту должность и тем как бы освящать своим присутствием новые порядки. На этот счет мнения расходились. Брат Владимир думал, что только этим способом можно сохранить в новых учреждениях прежний дух законности, дать им надлежащее направление и воздержать произвол. Мне же казалось, что почетные мировые судьи, при настоящих условиях, будут поставлены в ложное положение, и что устранение себя от насильно навязанных нам учреждений было единственною возможною для нас формою протеста. В этом убеждении я послал председателю Кирсановского мирового съезда, Виктору Михайловичу Тарновскому, письмо, в котором заявлял, что, не желая оставаться почетным мировым судьей при изменившихся условиях, я прошу меня уволить. На это я получил от него следующий ответ:

«Милостивый государь, Борис Николаевич.

С чувством глубокого сожаления прочитали все наличные члены съезда Ваше письмо. Реформа надвигается, и перед нами полная неизвестность: какой след проложит она в жизни нашего уезда. Желалось бы передать молодым силам, выступающим теперь на общественную деятельность, и старый дух наших прежних учреждений, и их старый, крепкий завет. А как это сделать, когда старейшие люди, так сказать, нравственные устои нашего уезда, станут отказываться от участия в общем деле. Нам дорого Ваше имя в списке старейших деятелей уезда и твердая уверенность, что последний в трудную минуту всегда встретит в Вас могучую поддержку.

Передавая Вам общую просьбу всех наличных членов съезда не слагать с себя звание почетного мирового судьи по крайней мере первые два-три года введения реформы, считаю долгом добавить, что если требование Ваше останется неизменным, то для представления в Сенат об увольнении Вас от должности требуется форменное прошение на имя съезда».

На это я отвечал:

«Милостивый государь, Виктор Михайлович.

Письмо Ваше причинило мне многие колебания. Желание мирового съезда, чтобы я остался почетным мировым судьей, выражено в столь лестной для меня форме, что я не хотел бы отвечать отказом. Если, тем не менее, я решаюсь остаться при

прежнем намерении, то я делаю это в силу соображений, которые предоставляю на усмотрение Ваше и Ваших товарищей.

Когда вводится преобразование, которому не сочувствуешь, честный человек может избрать двоякий путь: либо устраниться совершенно от дела, в его глазах вредного для отечества, и не делаться орудием зла, против которого он бессилен; либо, преклоняясь перед неизбежною необходимостью, стараться из этого зла извлечь возможную пользу и не дать ему, по крайней мере, принять слишком большие размеры. Я лично всегда склонен к первому способу действия. Если бы я решился от него отступить, то сделал бы это единственно вследствие сознания, что я действительно могу принести существенную пользу. Но именно этого сознания у меня в настоящем случае нет. Кирсановскому мировому съезду известно, что я в мировом суде никогда не принимал участия. Когда я в первый раз был выбран почетным мировым судьей, брат мой был председателем съезда и я по закону не мог в нем участвовать. Вследствие этого я тогда же вышел и с тех пор не выбирался вновь. Только на последнем земском собрании меня выбрали в моем отсутствии и без моего ведома. Таким образом, я опытности в деле не имею вовсе и не могу принести какую-нибудь серьезную пользу. К этому присоединяются отдаленность моего имения от города и лета, которые делают для меня передвижение затруднительным. При таких условиях мое участие в новых учреждениях было бы только номинальным; но именно этого я не желаю. Дать свое имя в учреждение, которым нарушаются самые дорогие для меня интересы отечества, не имея при том возможности принести в нем какую-нибудь существенную пользу, это противоречило бы всем тем правилам жизни, которыми я постоянно руководствовался в своей деятельности. Надеюсь, что съезд оценит мои побуждения и не посетует на меня за прилагаемое при сем прошение об отставке».

Привожу всю эту переписку, чтобы показать, с каким настроением встречали эту возвещенную в виде милости ломку самые бескорыстные и преданные отечеству русские люди. Правительство беспощадно било по самым заветным нашим чувствам, по самым лучшим стремлениям, поддерживая и возбуждая в обществе только раболепство и произвол. Многих эта реформа поразила в самое сердце. В Полтаве председателем мирового съезда был родственник моей жены восьмидесятилетний старик Белуха-Кохановский. Когда пришел указ о закрытии мирового суда, он отслужил молебен, взял на руки икону и торжественною процессиею, в сопровождении всего съезда, понес ее через

весь город и поставил в собор, как священный памятник прошлого. Хороня учреждение, которому он отдал последние свои годы, он как бы хоронил самого себя. Вскоре он скончался.

Вопрос поднялся вновь при реформе земских учреждений. Но на этот раз я не стоял за уклонение. Произведенные перемены не полагали существенных преград деятельности собраний и не ставили гласных в стеснительные условия. В это время граф Толстой сошел уже со сцены, а преемник его Дурново, дряблый и ничтожный, не решился проводить начало власти во всей его резкости. Слухи о том, что управы будут назначаться правительством, оказались неверны. Права губернатора были расширены: он мог производить ревизии и по усмотрению не утверждать выборных лиц; члены управы получили права государственной службы и таким образом сделались чиновниками; но в хозяйственном управлении самостоятельность земских учреждений не была умалена. Самое крупное изменение произошло в составе избирательных съездов: они были построены на сословном начале. От дворян землевладельцев отделены были купцы и другие лица, владеющие землею на личном праве, что оскорбляло последних и нарушало единство интересов. Можно было спорить о том, следовало ли при введении земских учреждений придерживаться господствующего в России сословного деления или нет; но после того как они действовали в течение двадцати пяти лет, возвращаться к сословному началу было неуместно и неполитично. Тем не менее, так как в значительной части русских губерний громадный перевес среди личных землевладельцев имели дворяне, то этим состав собраний, в сущности, не изменялся. Гораздо более существенным являлось преобразование сельского представительства. Число гласных от крестьян было сокращено на половину, и губернатору было предоставлено назначение их из числа выборных от волостей кандидатов. Через это они становились чистыми орудиями власти. Такое положение было, впрочем, неизбежно при учреждении земских начальников. Так как последним был открыт доступ в земское собрание, то они в гласных от крестьян получали такую же покорную команду, какую некогда имели мировые посредники. С введением этой реформы, сокращение числа сельских гласных было даже желательно. Однако и этим мало изменялось положение дел. И прежде гласные от крестьян составляли более или менее безмолвную массу, которая следовала за указаниями более образованной части общества. Только при раздорах среди последней они могли получить решающий голос. У нас к этому не было повода: уезд, вообще, действовал

дружно; враждующих между собою партий не было, и самые земские начальники подчинялись общему направлению.

При таких условиях я не считал нужным устраняться от преобразованных учреждений. Пока независимые местные жители имеют возможность собираться и решать местные дела по своему разумению и совести, я думаю, что они должны пользоваться своими правами. Частные стеснения имеют тут второстепенное значение. К этому присоединялось и чисто личное чувство. Из всех общественных сфер, которые я видел в России на своем веку, дворянских собраний, городского управления, университетов, ученых и промышленных обществ, наконец, высших правительственных слоев, земские собрания, несмотря на все их недостатки, оставили во мне самые приятные воспоминания. Это не был хаотический шумный сброд, как дворянские съезды; я не встречал тут преобладания личных целей и бесконечного сплетения интриг. Земство представляло цвет местных независимых помещиков, собирающихся для обсуждения общих интересов, без большого запаса сил, но с искренним отношением к делу; это была среда с детства мне близкая и родная, где я чувствовал себя своим человеком, где я со всеми находился в дружелюбных отношениях. Мне хотелось кончить свой век с теми людьми, с которыми я жил и действовал в зрелую пору своей жизни. Потому, несмотря на то, что передвигаться становится для меня уже трудным, я остался гласным, как уездного, так и губернского собрания.

Но были люди, которые решились пожертвовать и этими связями для своих убеждений. Брат Сергей, один из самых чистых и вместе мягких людей, каких я встречал на своем веку, не мог примириться с искажением любимых им учреждений. После долгих мытарств по самым разнообразным службам, после многих путешествий, даже кругом света, он наконец уселся в своем родном городе и всею душою предался земскому делу. Долго он был председателем Тамбовского мирового съезда; после смерти Вышеславцева его громадным большинством выбрали председателем губернской управы. Все его ценили и любили. И, несмотря на то, когда последовали реакционные реформы, он не только не хотел оставаться почетным мировым судьею, но вышел даже из гласных. По этому поводу он писал мне:

«У нас были выборы в уездные гласные, и я от баллотировки отказался. Я заявил, что вот уже более двадцати лет я служу своему старому земству и не хочу переживать его, и потому, исполнивши до конца последнее данное мне поручение, я удаляюсь в частную жизнь. Я остался один при своем мнении и

прослыл за это упорным чудаком, а между тем я все-таки чувствую, что я прав. Все эти новые преобразования местного управления суть не что иное, как реакция против лучших учреждений прошлого царствования. И кто верил в пользу и будущность этих учреждений и дорожил дарованными ему тогда правами, тому кажется унизительным так легко мириться с новыми условиями нашей общественной жизни. Новые преобразования разрушают самые коренные основы этой жизни и наше самоуправление заменяют правительственной опекой. Здесь основной принцип уже другой, и никакое примирение между этими двумя началами невозможно. Быть же слепым орудием в руках этой реакции и собственными руками помогать разрушать то прошлое, которое нам до сих пор дорого, я не хочу и не могу. Это нравственно невозможно. Пусть же я, как председатель управы, останусь последним представителем старого земства. Я исполню свой долг до конца и затем удалюсь в частную жизнь».

Такой возвышенный пуританизм убеждений так, к сожалению, у нас редок, что его нельзя не отметить. Но что сказать о правительстве, которое без всякого повода и без всякой нужды оскорбляло до глубины души самых благородных и бескорыстных русских людей.

Постигшие нас беды были, однако, ничто в сравнении с теми гонениями, которые воздвигались на иноплеменников. Самодержавие в самом грубом его виде, выставлялось исконно неотъемлемою принадлежностью великорусского племени, и все должно было подводиться к уровню этого племени. Исторические предания, местные особенности, родной язык, все подвергалось неутолимому преследованию со стороны не знающей никаких нравственных сдержек власти. Даже то, что щадила железная рука Николая, было раздавлено неосмысленною рукою его внука.

Остзейский край подвергся полному разгрому. Без сомнения, тут необходимы были некоторые преобразования. Надобно было ограничить феодальные права баронов и устаревшие привилегии городов, дать гарантии подвластному населению, сделать правосудие независимым от интересов владычествующего сословия. Подобные меры не могли не встретить общего сочувствия. Но при этом надлежало поступать с большою осторожностью. Остзейский край имел свои исторические права и учреждения, которыми он дорожил и сохранение которых было неоднократно обещано ему русскими царями. В течение полутора столетий он оставался верен России. Русское правительство находило в остзейских немцах самых верных слуг; они наравне с природными русскими проливали свою кровь за отечество и оказали

немалые услуги на гражданском поприще. Самые эти местные права, которые обеспечивали их самостоятельность, содействовали благосостоянию края; страна была цветущая и просвещенная более, нежели какая-либо иная часть русского государства. Все бывшие там беспристрастные наблюдатели свидетельствуют о таком материальном уровне массы, не только хозяев, но и батраков, какой неизвестен в наших деревнях. Школы были многочисленные и отлично поставленные; гимназии, наполненные настоящими немецкими педагогами, стояли несравненно выше наших. Дерптский университет давал видных деятелей не только России, но и Европе, и сам он, в свою очередь, пользуясь преподаванием на немецком языке, вызывал из Германии выдающихся ученых для занятия кафедр. И вдруг все это, без малейшего повода, потребовалось низвести к однообразному уровню русской бюрократии и русского раболепства.

Назначенный в Ревель губернатор, князь Шаховской, который был одним из главных деятелей в этих реформах, рассказывал мне, что, когда его вызвали в Петербург для этото назначения, он сперва отказывался, ссылаясь на незнание немецкого языка. На это ему отвечали, что это вовсе не нужно: он посылается именно затем, чтобы вводить русский язык и не допускать другого. Тогда он просил, чтобы ему, по крайней мере, дали закон, которым бы он мог руководствоваться. Ему отвечали, что и это не нужно: «вы действуйте, а мы вас будем поддерживать». Таким образом, всеобщая ломка веками сложившихся учреждений должна была производиться путем губернаторского произвола. Это характеризует воззрения наших правителей.

И точно, пошла беспощадная ломка. Старые учреждения пали. Те лица, которые оказывали противодействие произвольным требованиям и распоряжениям, предавались суду, и Сенат был в недоумении, не зная, как осуждать людей, которые действовали по закону. Немецкий язык преследовался не только в официальных актах, но и в преподавании и даже в частной жизни. Медиков, выставлявших на своих дверях дощечки на родном наречии, отдавали под суд, и назначенные правительством новые мировые судьи штрафовали их, как ослушников высочайшей воли. Многие школы закрылись; десятки лучших преподавателей вышли из гимназий. Дерптский, ныне Юрьевский университет, некогда столь высоко стоявший, превратился в помойную яму, куда посылалось отребье русских университетов. Я сам слышал отзывы из Ярославля и из Москвы о радости профессоров по поводу избавления от негодных лиц, которые сбывались в Дерпт. Число студентов сразу значительно убавилось. Желающие служить

в России предпочитают учиться в русских университетах; другие отправляются в Германию. Некогда Катков, ратуя против мнимого сепаратизма остзейских провинций, признавал, что введение русского языка в тамошних школах было бы преступлением против просвещения; это преступление было совершено. Ко всему этому присоединились, наконец, религиозные гонения. Данное в прошедшее царствование разрешение при браках лютеран с православными крестить детей по воле родителей было отменено. Сотни почтенных пасторов подверглись преследованиям и ссылке за исполнение самых священных своих обязанностей. Одним словом, не знающая сдержек власть всюду проявлялась в выражениях самого дикого произвола. Неистовая пропаганда Каткова и злобные памфлеты Самарина* принесли желанные плоды.

Преследования языка и религии не ограничились Остзейским краем. Малороссийское наречие подверглось тому же гонению. Недавно (1894), в бытность мою в Малороссии, мне рассказывали анекдот о посещении одной сельской школы попечителем Киевского учебного округа, человеком, которого я считал образованным и порядочным, известным ориенталистом Вельяминовым-Зерновым. Все было найдено в отличном порядке. Попечитель был в восторге и всем обещал награды. На беду, при его отъезде, образованные учителя и ученики вздумали проводить его пением. Дети хором затянули малороссийские песни. Тогда разгневанный начальник с неистовством вернулся назад и разнес всех так, что не знали, куда деваться. Самое близкое и родное человеку считается у нас политическим преступлением.

Еще возмутительнее гонения, воздвигнутые на совесть. В начале царствования, перед коронацией, когда все трепетали за жизнь царя, и правительство старалось задобрить население разными льготами, дозволено было сектам, отделившимся от православия, собираться беспрепятственно в молитвенных домах. Но скоро пришедшая в сознание власть подняла знамя нетерпимости, и гонения возобновились с новой силой. Распространяющийся на юге штундизм в особенности подвергся неумолимому преследованию. Еще горшая участь постигла польских униатов, насильственно присоединенных к православию и упорствующих в своей вере. Сотни несчастных по целым годам томятся в тюрьмах; дети остаются некрещеными, а те, которые, ставя божественное повеление выше человеческого, осмеливаются крестить их тайно, с помощью проезжих ксендзов, подвергаются всей суровости закона и всей беспощадности административного произвола, посягающего на совесть.

Но всего ярче характеризуют современный дух правительства возобновившиеся гонения на евреев. Самые низкие народные страсти снизу и самая узкая нетерпимость сверху, все соединялось для отягчения судьбы этих несчастных. В начале царствования произошли на юге избиения и грабежи, позорные для благоустроенного общества, и как бы в ответ на этот вызов черни, со стороны правительства последовал целый ряд мер, которыми не только подтверждались, но и установлялись новые. Даже в чертах оседлости евреям воспрещается не только покупка, но и арендование земель; воспрещается содержание питейных заведений; ограничивается для них доступ в гимназии и в университеты. Теснимые отовсюду, они нигде не видят исхода. И все эти меры проводятся с неумолимою строгостью. Мягкая политика прошедшего царствования, не отменяя стеснительных законов, смотрела сквозь пальцы на их нарушение. Множество евреев поселилось в разных великорусских городах. Москва ими наполнилась, и князь Долгорукий пользовался этим для своих денежных дел, как вдруг последовало повеление об изгнании всей этой массы. Поводом, как говорят, послужила жалоба священника того прихода, где жил богач Лазарь Поляков. Он заявил, что у него не остается почти прихожан, ибо все наполнено евреями. Его предшественник получал от Полякова деньги, но вновь назначенный настоятель не хотел их принимать и обратился к правительству. Это открытие повело к отставке князя Долгорукого и к замене его великим князем Сергеем Александровичем. Но перед приездом нового генерал-губернатора велено было Москву очистить от евреев. И вдруг в несколько дней произошло повальное изгнание всех, кто по закону не имел права жительства в столице. Семьи, давно поселенные в Москве, имевшие в ней свои занятия и торговли, ученицы консерватории, учителя и учительницы, ремесленники и антиквары, люди самые безобидные и полезные, получили приказание в самый короткий срок выехать в черту оседлости. Никакие просьбы и настояния не помогали. Мера была исполнена с беспощадной суровостью, несмотря на вопли бедных семей. Это был Исход, напоминавший времена фараонов. И так поступали не язычники, для которых иноверец и иноплеменник был чем-то в роде отверженного; это делали христиане относительно племени, от которого они получили все свое нравственное достояние, и которого единственная вина заключалась в том, что оно в течение веков, рассеянное и гонимое, крепко держалось переданного ей предками священного завета, между тем как гонители попирали ногами и требование справедливости, и

всякие человеческие чувства, и всего более начала христианской любви.

Результат был плачевный для самого русского населения. Проживавшие в Москве евреи были посредниками между русскими фабрикантами и юго-западным краем. Изгнанные из центра России, они завели сношения с Лодзью, и русские фабрики потеряли сбыт. Убыток Москвы от выселения евреев рассчитывали в двадцать миллионов, но так как вред нанесен был постоянный, то, конечно, он не ограничился этой цифрой. Любопытно было и другое явление. Евреи, по своему обыкновению, завели в Москве множество ссудных касс. Они брали непомерные проценты: до трех в месяц, за что и подвергались жестоким нареканиям. Добрые граждане ликовали, когда все эти кассы были закрыты, и сосавшие кровь бедных иноплеменники подверглись позорному изгнанию. Но что же вышло? Остались русские ростовщики, которые, не имея конкурентов, стали брать по пяти процентов в месяц.

И точно, всякий, кто соприкасался с местною жизнью, знает, что русский кулак в десять раз хуже всякого жида. Оборотливый еврей довольствуется малым барышом, а русский всегда старается схватить как можно больше, без малейшего зазрения совести. Эту привычку имеют не только мелкие деревенские ростовщики, но и самые крупные торговцы. Русским помещикам известно, какое благодеяние составляет появление в крае еврейских комиссионеров, избавляющих производителей от монополии местных хлебных торговцев. Управляя двумя имениями, одним в Тамбовской губернии, где нет ни одного еврея, и другим в Малороссии, где все ими полно, я могу засвидетельствовать, что не только торговая деятельность евреев не разоряет крестьян, а напротив, существенно содействует их благосостоянию. Несмотря на то, что великороссиянин, вообще, деятельнее, оборотливее и предприимчивее малороссов, последние имеют больше денег в руках и лучше уплачивают свои аренды. Мне доводилось говорить об этом и с малороссийскими помещиками, не отуманенными предрассудками, и даже с отличными священниками, проводившими всю жизнь свою среди евреев. И те и другие считали присутствие их в деревнях не только не вредным, но и весьма полезным для населения. Обыкновенно вопиют против разных практикуемых ими мошеннических проделок; но когда людям преграждаются все законные пути, что мудреного, что они приучаются прибегать к средствам косвенным? Виноваты в этом не гонимые, а гонители. Во всяком случае русские купцы в этом отношении нисколько им не уступают,

а потому нет ни малейшего повода ставить их в привилегированное положение, устраняя конкуренцию. Напротив, можно утвердительно сказать, что как государственная мера, беспрепятственное допущение евреев в великороссийские губернии было бы лучшим средством для оживления местной торговли и для противодействия деревенскому кулачеству. Этого требует не только справедливость, воспрещающая притеснять людей, не совершивших ничего преступного, но и самая польза страны. Только признанием гражданской равноправности всех вероисповеданий Россия может стать в ряды образованных государств. Но мы, в непостижимом ослеплении, угнетаем деятельное и оборотливое население, поставленное провидением под охрану русской державы, стесняем торговлю, выживаем капиталы, которые могли бы оживить нашу промышленность, и отдаем производителей и потребителей в руки монополистов. Мы одинаково выказываем себя и близорукими политиками и людьми, презирающими самые священные требования нравственности, человеколюбия и религии.

Русское общество, вообще, смотрело равнодушно на это позорное гонение. Масса пошляков даже рукоплескала суровым мерам правительства. Однако нашлись люди, которые задумали предъявить протест. Живя в деревне, я получил от Владимира Соловьева письмо с составленным им заявлением, которое было подписано некоторыми видными людьми, между прочим Львом Толстым и Герье. Меня просили тоже дать свою подпись, но я в этом отказал, считая коллективные протесты в журналах пустою демонстрациею и питая к ним даже некоторое отвращение. Вместо того я написал Владимиру Соловьеву письмо, в котором высказывал свой взгляд, уполномочивая его делать из него то употребление, какое он вздумает. Все это дело было ведено довольно гласно, а потому не могло укрыться от правительства. Результат был тот, что журналам воспрещено было помещать какие бы то ни было заявления по еврейскому вопросу. Пришлось печатать протест за границею. Там появилась брошюра, которой я не видал. Мне говорили, что она рассматривалась в Комитете министров, и что в ней, между прочим, были выдержки из моего письма, к большому негодованию Победоносцева. Разумеется, все это делалось только для очищения совести. Практической пользы это не могло принести.

Неумелый произвол, тяготевший над внутренними нашими распорядками и искажавший все лучшие преобразования прошедшего царствования, проявился и во внешней политике. Он повел к потере для нас Болгарии. Наше положение в освобо-

жденной нами стране было куплено русской кровью и русскими деньгами. Это был главный результат последней победоносной войны. Из-за него мы отдали Австрии Боснию и Герцеговину; из-за него мы возбудили против себя и сербов и греков. Болгария вполне находилась под нашим влиянием. Наши офицеры командовали войском; наши генералы были министрами посаженного нами князя, близкого родственника русской царской семьи. Но привыкши к раболепной покорности у себя дома, мы хотели также властвовать и в освобожденной стране; мы наложили на Болгарию медвежью лапу, и она от нас ускользнула.*

Началось с того, что, желая оказать поддержку князю, мы перессорились с болгарскими партиями, а затем, не помирившись с партиями, перессорились с князем. Конституция, данная нами болгарскому народу, была самая либеральная и демократическая, какую только можно было изобрести. Любопытно, что она писалась петербургскими чиновниками и исправлялась чуть ли не во Втором отделении собственной его величества канцелярии; затем она вновь была пересмотрена и исправлена в еще более либеральном смысле Тырновским собранием, с согласия и утверждения русского же сановника, князя Дундукова-Корсакова, который здесь, как и везде, показал себя образцом легкомыслия.

Поставленный нами князь был связан по рукам и по ногам. Испробовав все средства и не видя исхода, он задумал наконец совершить переворот, на что получил согласие нашего правительства. Под руководством состоявшего при нем русского генерала Эрнрота, дарованная нами конституция была ниспровергнута, и князь получил почти неограниченную власть. В сопровождении русского генерального консула он разъезжал по Болгарии и всюду водворял повиновение. Но способный Эрнрот вскоре ушел, и на место его князь выхлопотал себе двух других генералов, Соболева и Каульбарса. На этот раз поставленные нами министры выказали себя настоящими русскими генералами: они хотели командовать самим князем, а так как последний не поддавался, то они вступили в интриги с оппозиционными партиями. Князю стало невтерпеж, и он настойчиво просил, чтобы его избавили от этих опекунов. На беду он в это время успел насолить и государю и министру иностранных дел. Государю он надоел денежными просьбами, а министра он восстановил против себя перехваченною телеграммою, в которой он сообщал своим родственникам: «Giers feiger als je»*. От него потребовали, чтобы он своих опекунов оставил при себе еще на два года. Он обещал, но не выдержал и решился во что бы то ни стало от них отделаться. С этой целью он сам вступил

в соглашение с оппозиционными партиями. В силу тайного договора, Тырновская конституция была восстановлена, а генералы спущены по представлению вновь выбранного собрания. Тогда нашему ставленнику была объявлена непримиримая война. Русские агенты всеми силами хлопотали о его низвержении. Я сам на вечере у Аксакова слышал рассказ управлявшего в Болгарии путями сообщения князя Хилкова о том, как в его присутствии, на обеде у русского генерального консула, последний уговаривал созванных им вождей партии Каравелова и, кажется, Панкова, соединиться для низвержения князя.

Положение последнего становилось опасным. Окруженный и внутренними и внешними врагами, он решился для поддержания своей популярности стать во главе давно подготовлявшегося Румелийского восстания. Соединение Румелии с Болгарией было давнишним желанием России. Оно было постановлено Сан-Стефанским договором; разделение этих областей было самою крупною уступкою, которую мы сделали по Берлинскому трактату. С тех пор, со стороны наших агентов, шли неустанные интриги в смысле соединения; восстание было ими подготовлено. Но когда оно, наконец, вспыхнуло и князь Александр стал в его главе, русское правительство не только отказалось его поддерживать, но в знак протеста отозвало всех русских офицеров из болгарской армии, к крайнему изумлению последних, которые ожидали, что им прикажут выступить в Румелию. Это значило отречься от всей прежней политики и покинуть завоеванную нами позицию на произвол судьбы. Вдобавок: эта демонстрация не привела ни к какому результату: Румелия осталась за Болгарией, а последовавшая затем победоносная война с Сербией еще более укрепила положение князя.

Тогда начались козни другого рода. Под руководством русского агента на законного, нами поставленного князя, произведено было ночное нападение, к которому призваны были не только заранее подговоренные солдаты, но и кадеты военного училища. С пистолетом в руках от князя потребовали отречения, которое немедленно было послано русскому министру иностранных дел. Сам он был тайно отвезен в Россию, но по приказанию русского правительства вывезен за границу и отпущен на свободу.

Однако и это возмутительное дело не послужило ни к чему. Весь этот гнусный заговор, ровно ничем не вызванный и колебавший самые основы государственного строя, был делом ничтожной шайки, которая не могла продержаться и двух дней. Верные болгары, со Стамбуловым во главе, подняли знамя за-

конного порядка, и насильно вывезенный князь возвратился при общем ликовании подданных.

Но тут он показал непростительное легкомыслие. Устрашенный заговором, не доверяя никому, он вздумал прибегнуть к великодушному покровительству русского царя и послал ему телеграмму, прося прислать доверенное лицо, с которым бы он мог уладить дело. Для нас это было самое лучшее средство восстановить утраченное положение; русское правительство снова являлось решителем судеб Болгарии. С осторожностью и умением можно было провести все, что угодно. Но личная неприязнь взяла верх над самыми элементарными требованиями политики. В ответ на телеграмму князя Александра, по личной воле государя, была послана телеграмма, начинавшаяся словами: «Я не одобряю вашего возвращения». Просьба о поддержке и примирении отвергалась самым грубым образом. Все сколько-нибудь способные думать и понимать были поражены изумлением. Законный государь, самодержавный властитель великого народа, с высоты престола осуждал возвращение законного же, самою Россиею поставленного князя, подвергшегося наглому насилию и вновь призванного своими верными подданными! Стало быть, он одобрял ночные разбойничьи нападения на законных князей, отречение, подписанное под дулом пистолета! Это было нечто невиданное и неслыханное. Сам Катков приходил в отчаяние, хотя он считал нужным печатно поддерживать царское слово. Но вся бессмысленная и раболепная масса ликовала. Везде с восторгом говорили о твердой воле государя, о благородном достоинстве его речи. Даже тошно было слушать.

Это забвение всяких приличий не прошло безнаказанным. Отвергнутый Россией, на которую он думал опереться, князь Александр отрекся от престола и уехал во-свояси; но и Болгария от нас отшатнулась. Для восстановления русского влияния был послан Каульбарс, который хотел командовать от имени царя, издавал приказания, разъезжал по стране — и потерпел полнейшее фиаско. Власть, привыкшая к беспрекословному повиновению подданных, встретила в недавно поставленном ею на ноги народе неожиданное сопротивление. Тогда с Болгарией порваны были всякие сношения. Надеялись, что предоставленная самой себе, она, вследствие внутренних неурядиц, принуждена будет снова пасть к ногам России и оказать ей полную покорность. Козни и заговоры продолжались через посредство болгарских эмигрантов, которых русское правительство снабжало и деньгами и оружием; они пытались то здесь, то там производить возмущения и не гнушались даже тайными убийствами.

Все было напрасно. Предводимый Стамбуловым, болгарский народ твердо стоял на своем. Помимо нас, был призван новый князь, который, вопреки трактатов, уже семь лет сидит на престоле, не признанный формально Европою, но поддержанный сочувствием других держав и издеваясь над нашим бессилием. Избавленная нами от мусульманского ига Болгария нашла в Турции опору против русских притязаний. Пролитые русским войском потоки крови, истраченные миллионы пропали даром. Упроченное со времен Екатерины влияние России на Балканском полуострове исчезло совершенно. Туземные племена, которым мы помогали оружием, которых мы поставили на ноги, Румыния, Сербия, Болгария, одна за другою обратились против нас. Приобретенное вековыми усилиями и жертвами было потеряно вследствие безрассудной политики, которая, отвергнув предания осторожности в международных сношениях, пыталась замашки русского самовластия проявить и в отношении к освобожденным нами народам.

При всяком другом правительстве Россия не вынесла бы такого оскорбления. Чувство своего достоинства, сознание униженной чести и утраты положения, купленного кровью, заставили бы ее взяться за оружие. В прежнее время войны возгорались и по несравненно меньшим поводам. Но на этот раз желание мира взяло верх, и мы проглотили обиду. Видев вблизи войну, со всеми ее ужасами, испытав всю неверность военных соображений, в которых всегда есть значительная доля риска, государь решительно не хотел воевать. И этого нельзя не одобрить, ибо кто знает, что принесла бы с собою новая война при тех горючих материалах, которые накопились в Европе и при той неспособности, которая царствует у нас? Можно скорбеть о том, что мы поставили себя в такое унизительное положение, но лучше было его снести, чем стараться из него выйти путем новых неисчислимых жертв. Все это чувствуют, а потому так единодушно прославляют миролюбие монарха, твердою решимостью которого спокойствие Европы было сохранено в течение тринадцати лет. Иностранцы могут быть за это даже более благодарны, нежели мы, ибо им не пришлось за сохранение мира платить умалением своих прав и своего влияния.

Неудачи на Балканском полуострове имели для нас одно благодетельное последствие: они дали новое направление нашей европейской политике. Обманутые в своих надеждах на поддержку Германии, мы сблизились с Францией. Противоестественное присоединение к направленному против нас союзу

двух соседних империй, за которое стояли самые видные наши дипломаты, к счастью для России было порвано. Восстановлено единственно возможное при существующих условиях равновесие сил, которое хотя и не обещает Европе долгого периода мира, но по крайней мере не дает возгореться страшной войне, которой исхода нельзя предвидеть.

Каким образом совершился этот дипломатический поворот, об этом я слышал разные рассказы. Самое, повидимому, достоверное то, что сообщали мне братья моей жены, которые занимали или занимают видные места в министерстве иностранных дел. Утверждают, что в царствование Александра II велись только дипломатические переговоры на счет союза с Германией и Австрией; первый же формальный документ, которым мы присоединились к союзу двух императоров, был подписан уже при Александре III. * Затем, когда вследствие болгарских дел, положение на Востоке совершенно изменилось и продолжение союза с Австрией сделалось невозможным, возобновлен был на два года союз с одной Германией, которая, в свою очередь, заключила отдельный договор с Австрией. Так состояло дело до падения Бисмарка. Но когда вслед за тем наступило опять время возобновить трактат, то новый имперский канцлер, Каприви, как честный немец, объявил, что, заключив союз с Австрией против России, он не может в то же время заключить союз с Россией против Австрии: такая двуличная политика могла входить в виды его предшественника, но он ей следовать не может. Вследствие этого договор с Россией не был возобновлен. Оказалось, следовательно, что Бисмарк все время нас кругом надувал, и если мы вышли из этого унизительного положения, то единственно благодаря честности немцев, а отнюдь не по собственной прозорливости. Мы были покинуты Германией, и тогда союз с Францией остался для нас единственным исходом. К чести русского правительства следует сказать, что оно решительно вступило на этот путь. Так мне рассказывали это дело. Будущий историк восстановит по документам все эти события, знаменательные для Европы. Я мог записать только то, что я слышал из, повидимому, вполне достоверных источников.

История произнесет и свой окончательный приговор над царствованием Александра III. В ту минуту, как я пишу эти строки, в Ливадии происходит потрясающая душу драма. Смертельная, повидимому, болезнь уносит государя, окруженного любящей семьей, при напряженном внимании всего народа, привыкшего обоготворять своих царей. В эти минуты с груст-

ным взором обращаешься на эти печальные тринадцать лет, в течение которых все, что было лучшего в России, подверглось гонению и разгрому. Перед торжественною кончиной стараешься быть беспристрастным и помянуть добром, если не дела, то намерения.

Сводя к общему итогу все, что происходило на наших глазах, нельзя не признать, что нынешний государь имел добрые душевные качества. Он был не только хороший семьянин, но и честный человек, с нравственными стремлениями с чистою любовью к отечеству. Но лишенный от природы способностей, с натурою несколько грубою и необтесанною воспитанием, получив образование самое скудное и совершенно неприготовленный к делу, он вступил на престол после страшного события, которое помутило все его мысли и перевернуло всю его душу. В этом растерянном состоянии он отдался людям, в которых ожидал найти опору колеблющейся власти, а они опутали его кругом, отдалили от него все живое, внушили ему самые ложные понятия и о состоянии общества и о задачах правительства. Самодержавие довершило остальное. Власть, не знающая сдержек, естественно развивает все дурные наклонности человека. Тем более она укреплялась, чем более приобреталась привычка всюду встречать раболепное повиновение, тем более личное самовластие становилось руководящим началом деятельности, тем более преследовалась всякая независимость и тупой произвол становился на место законного порядка. Я слышал от вполне достоверных людей, которые сами видели бумаги и снимали с них копии, поистине ужасающие рассказы о тех заметках, которые делались государем на представляемых ему донесениях. При всяком представлении о противозаконном сечении, например, георгиевского кавалера или купца второй гильдии, с боку ставилась надпись: «и прекрасно!» На донесении орловского губернатора Неклюдова о том, что, подвергнув телесному наказанию мужиков, оказавших сопротивление начальству, он не трогал баб, хотя они были главными зачинщицами дела, государь надписал: «с них-то и следовало начать». Природная наклонность к грубой силе, с привычкою к безграничной власти, проявлялась в более и более беззастенчивой форме. Это не был подавляющий и всеохватывающий гнет Николая; после великих реформ Александра II это было уже притупленное орудие, которое обращалось на мелкие притеснения и уродливые искажения того, что было сделано предшественником. Но дело свое оно совершило. Россия выходит из этого царствования внутренно расстроенною, нравственно приниженною, умственно недоумевающею. Что сулит ей будущее?

Оно покрыто непроницаемым мраком. Не только Россия, но и вся Европа стоит перед какими-то зловещими призраками, которые грозят разрушением всему существующему строю человеческих обществ. Настоящее положение невыносимо. Страшное напряжение военных сил, истощение средств, повсюду внутренняя разладица, впереди ожидание нескончаемых потрясений и кровавой борьбы, невежественные массы, которые дружными фалангами сплочаются под знаменем демагогов и грозным натиском идут на завоевание государственной власти, с тем, чтобы сделать ее орудием для ограбления зажиточных и образованных классов, вот что мы имеем перед глазами. Последний великий государственный человек, который ныне гложет свою узду в вынужденном бездействии, Лизандр нового времени, * как я назвал его в другом месте, сделал голую силу высшим решителем судеб человечества. И право, и нравственность, все было попрано ногами без малейшего зазрения совести. Мы были свидетелями того, как в одно прекрасное утро несколько тысяч невинных польских семейств, издавна поселенных в северных провинциях Пруссии, без малейшего повода были выброшены за границу, и вся Европа безмолвствовала перед этими «проделками милой Фанни», как выражался об этом событии «Таймс». Это было нечто вроде изгнания у нас евреев. Чего же мы могли ожидать в своем отечестве, когда среди самых просвещенных народов Европы правительства действовали с таким возмутительным произволом? В Англии другой государственный человек, в течение многолетней жизни стяжавший и славу и уважение современников, вдруг, на старости лет, из личного честолюбия отрекся от всех прежних своих убеждений, оттолкнул от себя лучших своих сподвижников и протянул руку тем, которых накануне еще и совершенно справедливо обзывал грабителями, разбойниками и убийцами, отдавая им на жертву полтора миллиона своих соотечественников и повергая свое отечество в такую бездну зол, из которых не предвидится исхода. * Италия, которой возрождение мы приветствовали в молодости, ныне напрягает все силы в безумных и бесполезных военных тратах; разоренная, недовольная, потерявшая всякие нравственные устои, она управляется ловким фигляром, меняющим, как перчатки, свои цели и убеждения, и считающимся между тем необходимым человеком. * Во Франции демократия, оставшись одна на развалинах постыдно павших монархий, представляет только зрелище полной внутренней неустойчивости и беспрерывных денежных скандалов. В обществе, развращенном до самых глубоких слоев и потерявшем всякую веру в

высшие идеалы, нет ни зрелой мысли, ни выдающихся деятелей. Монархические партии покрыли себя позором низкими интригами и союзом с проходимцем *, которого они, жертвуя всеми интересами отечества, выдвигали на первый пост в государстве; а умеренные республиканцы, принужденные для сохранения правительственного большинства делать постоянные уступки легкомысленному и наглому радикализму, шатаются из стороны в сторону, не зная, за что ухватиться. Всюду, во всех европейских странах, как возрастающая, неотразимая сила, выдвигается социализм, бессмысленный в своих основах, но грозящий разрушить весь сложившийся трудами человечества общественный порядок и в самом корне подавить человеческую свободу, подчинив ее всецело всеохватывающему деспотизму масс. Невольно вспоминаешь слова старика Пасси, приведенные в одной из предыдущих глав: «Европе придется пройти через страшные потрясения, прежде нежели она путем горького опыта придет к более или менее нормальному порядку вещей».*

Некогда я воображал, что если демократия и не принесет того, что ожидают ее поклонники, то все же, приобщая к политическому праву самые глубокие слои общества, она вызовет из глубины народного духа новые, непочатые силы и внесет в дряхлеющую европейскую жизнь свежие элементы. В действительности, она не принесла ничего, кроме разве усиления разрушительных стихий.

При таком состоянии общества, иногда невольно спрашиваешь себя: точно ли сохранение мира составляет благо для современного поколения? Не требуется ли всеобщая война для того, чтобы выйти наконец из напряженного состояния, очистить наполненный миазмами воздух, поднять человеческие силы и вывести Европу на правильный путь. Но когда сообразишь с другой стороны те страшные бедствия, которыми сопровождается война при современных орудиях разрушения, когда подумаешь, что нет в современном мире той силы, которой можно было бы пожелать успеха, что на чьей бы стороне ни осталась победа, она, пожалуй, может породить еще большее зло, тогда невольно преклоняешь голову в покорном ожидании того, что пошлет нам высшая воля, невидимо руководящая судьбами народов. Кто из людей дерзнет взять на себя такой почин? Разве ни в чем не сомневающийся германский император. *

Тяжело при таких условиях доживать свой век. Еще тяжелее, когда от удручающей общественной жизни нельзя уйти в счастливую семейную жизнь, когда и тут есть рана, которая точит

сердце, не давая ему успокоиться в конце своего земного поприща. В таком положении человеку остается одна отрада: переноситься мыслью в прошлое, воскрешать в себе милые, дорогие сердцу образы, память прожитых дней, все радости и страдания жизни. В этом он находит утешение, которого не дает настоящее.

Стариков обыкновенно обвиняют в том, что они восхваляют прошедшее в ущерб настоящему. Я не думаю, чтобы это было вообще справедливо. Я хорошо знал предшествовавшее мне поколение; я был к нему, может быть, даже ближе, нежели к своему. Но я от людей того времени не слыхал восхваления прошлого. Напротив, они видели в молодежи зачинателей того, что им было недоступно; они от полноты сердца поддерживали ее на новых путях; они с радостью приветствовали открывающуюся перед их взорами зарю новой жизни и сошли в могилу в ожидании лучшего будущего. А между тем, за исключением немногих избранных натур, которых высшие требования не находили удовлетворения, они собственною жизнью не тяготились; они бодро наслаждались всеми радостями, которые дает человеку земное существование, и желали своим детям прожить свой век также счастливо, как жили они. Таково нормальное отношение поколений. Нам оно не дано, ибо условия жизни иные. Нас в пору зрелости, после пылких надежд, постигло разочарование, а на склоне дней, вместо теплых лучей заходящего солнца, обещающего на завтра ясный восход, перед нами воздвигается темная завеса, скрывающая от нас будущее. Стоя на пороге могилы, обращаешь взор кругом и на всем умственном горизонте не замечаешь ни одного явления, на котором можно бы остановиться с надеждой и любовью.

В таком настроении я в 1887 году решил помянуть старину, отпраздновав пятидесятилетний юбилей приобретения Караула. В первой главе * я описал, как отец мой праздновал это семейное событие: сперва съездом друзей и родных на именины матери, а затем осенью угощением крестьян. Для нас семейных праздников уже не было. Все домашние радости были похоронены в могилах детей. Но с крестьянами я хотел соединиться в общем чувстве и помянуть прежних владельцев. По окончании полевых работ я задал им пир. К этому дню случайно подъехал мой старый друг Щербатов; приехал зять его Соловой с своею женой. Из братьев был только Андрей. Двое в это время уже сошли в могилу; * Владимир был болен; Сергей где-то странствовал за границей, а Петр, кажется по рассеянности, забыл число. Сестра была далеко.

После обедни, на которую сошелся весь мир, мы отслужили торжественную панихиду на могиле моих родителей. Затем все собрались у дома к парадному крыльцу, и я держал им следующую речь:

«Я собрал вас сегодня, чтобы вместе с вами помянуть пятидесятилетие перехода Караула во владение нашей семьи и нашего постоянного жительства здесь. В 1837 году мой отец купил Караул и основался в нем. Тогда было угощение крестьянам. Я был еще маленьким мальчиком, но живо это помню. Вероятно ваши старики также хорошо это помнят. Сегодня мы вместе с вами отслужили панихиду по моим родителям. Их следовало помянуть с благодарностью. Старики могут сказать, как отец мой, при крепостном праве, управлял Караулом: справедливо и разумно, не требуя лишнего, прилагая строгость, где нужно, заботясь о благосостоянии всех. При нем Караул процветал. Даже те, которые нищенствовали прежде, зажили в довольстве.

После него управлял мой брат, Владимир Николаевич, которого также нельзя не помянуть добрым словом. Жалею, что нездоровье не позволило ему присутствовать здесь сегодня. При нем вы получили от царя свободу; он устроил ваш новый быт и устроил безобидно, соблюдая выгоды не только помещика, но и крестьян. Всякий из вас скажет, что он, так же, как отец, управлял справедливо и разумно. Оттого и отношения не изменились. Крепостное право было упразднено, власть помещика исчезла; но связь с крестьянами осталась прежняя, дружеская, семейная.

Затем мы разделились. Желание матери было, чтобы я, как старший, остался хозяином в Карауле. Я не забуду той минуты, когда я в первый раз приехал сюда с молодою женой. Слепая мать встретила нас с иконою на этом самом крыльце. Вся деревня была тут, и мать представила нас миру, как новых хозяев Караула. С тех пор прошло шестнадцать лет, и мы всегда жили с вами в мире и согласии. Вы делили мои радости; вы делили и мое горе. Когда богу угодно было послать нам величайшее несчастие, какое может постигнуть человека на земле, когда мы хоронили своих детей, вы также были тут. Сторонние люди были тронуты тем участием, которое выражалось во всех. И это я не забуду.

Теперь я стар и удручен горем. Детей у меня не осталось. Вероятно не долго уже мне придется с вами пожить. Но кто бы ни были мои наследники, я желаю одного: чтобы они жили с вами в мире и любви, как жил мой отец, как жил мой брат,

как жил и я. И если через пятьдесят лет, бог даст, хозяином в Карауле будет кто-нибудь из нашего рода, я заказываю тем из молодых, которые здесь присутствуют и которые будут тогда живы, чтобы они пришли к нему и сказали, что в 37-м году отец мой купил Караул и задал угощение крестьянам, что в 87-м году я устроил также угощение в память истекшего пятидесятилетия, в память отца и матери и в ознаменование постоянных дружеских отношений между караульскими помещиками и караульскими крестьянами, и при этом заказал, чтобы через пятьдесят лет было опять такое же угощение, в память всего прошлого и всех прежних владельцев Караула.

Теперь я выпью с вами чарку водки. За процветание Караула и за сохранение добрых, сердечных, семейных отношений между караульскими помещиками и караульскими крестьянами из рода в род!»

Все мои гости выпили вслед за мною. Крестьяне были, видимо, тронуты моею речью. Каждый из них по очереди подходил к приготовленной тут бочке вина и выпивал чарку, затем получал кусок мяса и пирог; детям раздавались булки и пряники. Вдоль широкой въездной аллеи были расставлены столы и скамейки. Каждая семья садилась за свой стол и обедала. Мы ходили между рядами. Многие старики подходили к нам со слезами и говорили, что видно бог нас наставил, чтобы устроить такое угощение. После обеда все опять получили по чарке, а охотникам давали и больше. Крестьяне разгулялись. День был чудесный, воздух мягкий; солнце сияло в полном блеске. Песни и пляски продолжались до самой ночи. Многих развезли по домам.

Но редко в человеческой жизни к радости не примешивается горе. И тут общее веселье омрачилось печальным происшествием. Один из крестьян, который уже прежде был болен и которого доктор предостерегал от вина, напился допьяна и на следующий день умер, не пришедши в себя.

Погружаясь душою в прошлое, я решился писать свои воспоминания. В течение шести лет, от 88-го года до нынешнего 94-го, я почти каждую осень, в деревенском уединении, принимался за эту работу. Она доставила мне много хороших часов. С особенною любовью писал я первые главы, которые воскрешали передо мною давно минувшее время, золотые сны детства, пылкие надежды и все обаяние молодости, все, что похоронено в душе и как бы заплыло житейскими наносами, но что на закате дней восстает из заветной ее глубины и является воображению в виде поэтической картины, отошедшей в туманную

даль, но полной и гармонической жизни. Как живые возникают передо мною дорогие лики: отец с его серьезным, но мягким характером, с его разумным и просвещенным взглядом на жизнь, любящая и заботливая мать, все старые друзья нашей семьи, величавая фигура Кривцова, неиссякаемый блеск Баратынского, Жемчужникова с его тонким умом и вечною нерешительностью, веселый и сердечный Петр Андреевич *, все, что окружало мои ранние годы, кроткий и ясный образ Катерины Петровны *, чудак-гувернер, которому я стольким обязан *, чистый и восторженный учитель истории Сумароков, Василий Григорьевич*, в течение многих лет неизменный член нашей семьи, который в детстве был нам и товарищем и учителем, а затем Московское литературное и университетское общество, умный, живой и участливый Павлов, который ввел нас в эту сферу, возвышенный образ Грановского, который, как светлый идеал, озарял мою молодость и оставил неизгладимые следы на всей моей жизни, увлекательная борьба славянофилов и западников, то умственное упоение, которое носилось в тогдашней атмосфере и зажигало огонь в молодых сердцах*. Люблю повторять эти имена; они будят во мне целый рой воспоминаний; они примиряют меня со всеми невзгодами и разочарованиями, которые составляют удел человека. Памятуя их, я верю, что на земле есть место для счастья, для поэзии и для увлечений.

Ныне, когда мы с женою, на старости лет, одинокие живем в Карауле, посещая дорогие могилы и взаимною любовью поддерживая свое земное существование, мне сдается иногда, при этих воспоминаниях, что здесь опять когда-нибудь возродится полная и счастливая жизнь, что эта пышная местность снова сделается приютом цветущей семьи, что в обширном доме будут раздаваться детские голоса, и новое поколение, наслаждаясь настоящим, вспомнит о тех радостях и горе, которые пали на долю их предшественников. Поэзия прошлого проливает свой тихий свет на будущее.

И теперь еще, когда в нем царит неисцелимая скорбь, Караул не перестал быть центром, куда порою стекаются родные и друзья. Живой и общительный характер моей жены, ее сердечное участие ко всем, не только близким, но и посторонним, ее возвышенный нравственный строй, воспитанное горем глубокое, но чуждое всякой исключительности религиозное чувство, ее образованный ум и неизменная деликатность привлекают к ней и старых и молодых. У нас подолгу гостят и ее и мои родные. Так мы проводим большую половину года, летом

в небольшом дружеском обществе, осенью большей частью одни. А на зиму мы обыкновенно отправляемся в Крым.

В первый раз мы посетили Южный берег после смерти дочки, мыкая свое горе. Очарование южной природы, безбрежное море, впечатления живописной местности Ялты благотворно подействовали на жену. Мы решили туда возвращаться. Несколько зим сряду мы занимали господствующую над Ялтою дачу Дондукова, с громадным парком, где на каждом шагу открываются прелестные виды. Любил я в зимнее ясное утро выходить в галлерею и, открывши окно, впивать в себя благоухание южного воздуха, видеть кругом густую зелень лавров, миртов, кипарисов, а вдали бесконечный горизонт сизого моря, сверкающего под солнечными лучами. Но еще очаровательнее Крым весною, когда горы покроются зеленью, луга усеются весенним первоцветом, а в садах и лесах зацветут деревья, белые миндали, розовые персики, густо облепленное красно-лиловыми цветами иудейское дерево, ниспадающий золотым дождем гибкий ракитник, наконец в начале мая миллион роз, украшающих и цветники и дома. В первые годы нашего пребывания в Ялте мы с женою совершали большие прогулки пешком: ходили на развалины Генуэзской крепости Исар, в живописнейшей местности, где грозные скалы и вековые сосны напоминают ландшафт Швейцарии и Тироля; спускались по каменистым тропинкам в красивое ущелье Ай-Василя и оттуда поднимались на дорогу в Массандру. С годами эти пешие прогулки прекратились; стариковские ноги не носят так далеко. Остались поездки в очаровательные и разнообразные окрестности, какими изобилует Ялта: в величественную Массандру с громадными кипарисовыми рощами и пиннами, переносящими воображение в волшебные края Италии; в живописную Орианду, где по скалам и ущельям среди моря зелени вьются игривые тропинки, в Алупку, украшенную всем, что могла изобрести человеческая роскошь, на водопад Учан-Су, низвергающийся с высокой скалы среди громадного соснового бора, на вздымающийся над ним Пендикюль, откуда восхитительнейший вид простирается на всю лежащую у подножия долину, покрытую густою зеленью сосновых и буковых лесов, на скалистое ущелье с низвергающимся водопадом, на панораму гор, на извилистый берег с окаймляющим его городом, наконец на безбрежное Черное море.

В Ялте собралось небольшое дружеское общество, которое видалось почти ежедневно. Наше пребывание там привлекло сестру моей жены, замужем за Василием Аркадьевичем Кочубеем; они купили участок в парке Дондукова и построили себе

дачу. Над ними построился старый мой приятель Петр Федорович Самарин. Брат Владимир стал ежегодно ездить в Ялту для поддержания здоровья; постоянно приезжал и брат Петр, который селился у нас, вполне наслаждаясь тамошнею привольною жизнью. Первые годы жила там и наша деревенская соседка и добрая приятельница, старушка Наталья Андреевна Соловая. Жила также княгиня Черкасская, вдова князя Владимира Александровича; с нею мы перечитывали переписку ее мужа с Милютиным по польским делам и вспоминали прежние годы. В Крыму я видаюсь и с старым своим приятелем, Дмитрием Алексеевичем Милютиным, который после жизни, посвященной славе отечества, кончает дни свои в деревенском уединении Симеиза. В прошлом 1893 году мы праздновали золотую свадьбу этого достойного и почтенного человека, оказавшего России незабвенные услуги. Его ялтинские друзья поднесли ему медный щит, символ защиты отечества, и в нем пятьдесят роз, в знак юбилейного торжества. При этом я написал ему письмо, вылившееся из души, которое, повидимому, его тронуло. Он напоминает мне не только хорошие дни моей молодости, но и лучшее время для русской земли, эпоху пробуждения и преобразований, которых он был одним из крупных участников. И после всех почестей он остался все тем же, каким я знал его сорок лет тому назад, скромный, мягкий, сердечный, с живыми интересами, с искренней любовью к просвещению, чуждый всего мелочного, что так часто прилепляется к человеку, призванному действовать в высших правительственных сферах.

Среди этого маленького общества господствовала полная простота отношений. Все жили в мире и дружбе. Жена говорила, что в Ялте все друг друга любят. Приятно приезжать туда на пароходе и на дебаркадере найти дружеские лица, которые собрались встретить вас, как членов семьи, возвращающихся из дальних стран. И у нас там основался постоянный приют: старший брат моей жены, Дмитрий Алексеевич, построил великолепную дачу для себя и для нас. Совместное наше жительство продолжалось недолго. Ему, отставному дипломату, неожиданно было предложено место директора Азиатского департамента, которое он и принял; мы же помещаемся в просторном и уютном доме, где живется удобно и спокойно. Когда меня спрашивают, что меня притягивает в Ялту, я говорю, что это лучшая в России богадельня для стариков.

И несмотря на все эти услаждения старости, которой русская зима становится уже не в мочь, несмотря на всю прелесть южной природы, на величавые впечатления моря, я все-

таки с сердечным умилением возвращаюсь к своей родной русской равнине, к низким холмам, к далеким горизонтам, к прозрачным водам едва струящихся рек, к полям, покрытым обильною жатвой. Те впечатления, которые лелеяли рассвет жизни, остаются до конца дней самым дорогим достоянием души. Когда мы, в нынешнем 1894 году, решились не ехать на зиму в Крым, а вернуться в деревню и встретить там весну, может быть в последний раз, я испытал такое глубокое наслаждение, какого не дают самые великолепные картины юга. Все, что пленяло меня с детства, все окрыляющее душу обаяние весны, ее постепенные переходы и пышный расцвет, все опять было передо мной: сначала мягкий мартовский воздух, с тающим снегом, с катанием на санках по реке, первые проталины с пробивающейся на них травкой, затем появление желтых и синих цветков, которыми устилается отходящая земля, первый полет бабочек, шум ручьев, сбегающих по холмам, веселое пенье жаворонка в небесной лазури, широкое половодье, леса, одевающиеся зеленою дымкой, гул лягушек, звонкое, неумолкающее пение птиц под развернувшейся листвой, наконец роскошное цветение вишен, яблонь и упояющей воздух сирени, а в лесной тени белых ландышей и душистых фиалок. Все это переносило меня в мои ранние годы, все будило сердечные воспоминания; настоящее и давно минувшее сливалось в одно поэтическое впечатление. Покорная вечным законам природа и молодым и старым дарует те же утешения; за глубоким сном зимы следует пробуждение к новой жизни, которое могучим дыханием уносит человека в горный мир и вселяет в него смутное чаяние чего-то светлого и радостного, ожидающего его возрождения. Не в городском шуме, а в деревенской тиши, и главным образом среди северных снегов, сменяющихся быстрым обновлением природы, это отрадное чувство ниспадает в душу и дает ей крепость для довершения своего жизненного пути.

Особенно сильно действуют эти впечатления в весенний праздник светлого христова воскресенья. В этом году он приходился на половину апреля. Ночь была тихая и теплая. Мы с женой пошли в церковь, вокруг которой народ стоял уже в безмолвном ожидании торжественного благовеста. При первом ударе колокола все благоговейно перекрестились; подняли хоругви и иконы; зажглись свечи и вокруг храма двинулось символическое шествие. Когда оно остановилось перед закрытыми дверями и хор запел: «Христос воскресе из мертвых», душу охватил глубокий и таинственный трепет, возносивший

ее в невидимый мир. Среди сельской тишины ночное богослужение приобретало какое-то особенное, простое величие. Красивая караульская церковь, с высоким куполом, сияла огнями; наполнявший ее деревенский люд смиренно сливался в общей молитве; незатейливые хоры поочередно пели радостные пасхальные напевы. Когда по окончании заутрени священник вышел с крестом и снова торжественно возгласил: «Христос воскресе»; когда за ним весь народ с верою повторил: «Воистину воскресе!» и это слово запечатлелось братским лобзанием, чувствовалось, что это слово есть истина, возвещающая спасение человечеству. Мы вышли из церкви, и нас охватило обаяние прелестного весеннего утра; птицы радостно щебетали; первые лучи восходящего солнца играли на едва распускающихся листах. Мы пошли в контору, где приготовлено было розговенье для служащих и рабочих. Все были тут собраны, и мы со всеми братски похристосовались и отведали пасхи. Оттуда мы пошли в школу, где было такое же розговенье для учеников; и там, после молитвы, мы облобызались со всеми. После этого мы долго еще сидели в саду на скамейке любуясь чудным видом, рекою, освобожденною от зимних оков и текущею широким потоком, вдыхая все упоение ранней весны. Потом пришла вся деревня похристосоваться со старым помещиком. Все приносили красные яйца; лобзаниям не было конца. Целую неделю звонили в колокола, празднуя великий день возрождения. А в небе пели жаворонки; солнце сияло полным блеском; в воздухе носилось весеннее благоухание. Это было одно из самых поэтических впечатлений моей старости.

Много светлых воспоминаний сохранила для меня и Москва, где я прожил столько лет. Обыкновенно мы между Ялтой и деревней проводили там месяц, другой. И там у меня осталось уже немного, но близких сердцу людей. Остался Щербатов, неизменный товарищ со студенческой скамьи; ныне он овдовел, но среди постигшего его горя сохранил всю живость впечатлений и интересов, всю свежесть чувств, весь сердечный пыл, отличавшие его в молодости. Остались Станкевичи, которых дружба составляет одно из драгоценнейших благ, дарованных мне провидением. Давно уже дом их перестал быть центром литературного кружка. Один за другим ушли старые друзья и собеседники. Громкий голос Кетчера не раздается уже в изящной гостиной. Только совсем побелевший Забелин, как обломок старины, приходит иногда разделить гостеприимную трапезу. Но для меня уютное, окруженное красивым садиком жилище в Чернышевском переулке составляет святыню, где и все там

похороненное и то, что поныне осталось, одинаково согревает сердце и возвышает душу. Задушевный привет хозяев, их горячее участие ко всему, что касается их друзей, свидетельствуют, что там горит еще сердечный огонь, около которого и старику становится тепло и отрадно. Туда всегда тянет меня внутреннее влечение; там я нахожу удовлетворение и умственным своим потребностям. Станкевич один из немногих оставшихся в живых людей старого поколения, с которым можно говорить и о философских, и об общественных, и о литературных вопросах, встречая глубокое понимание и живое сочувствие. Это поколение почти все вымерло, и мы с ним остались одинокие, и часто, когда приходится свидеться, ведем грустную беседу о настоящем и прошлом. Одинаково мы смотрим на вещи, все еще негодуем на то, что совершается у нас перед глазами, и с тем большею любовью возвращаемся к светлым образам давно минувшего времени, к высокой личности Грановского, который обоим нам близок и дорог, вспоминаем огненную и благородную натуру Герцена, всю блестящую плеяду славянофилов и западников. Станкевич многих из них ближе меня видел и знал, живя с ранней молодости в кружке своего брата. Мы вспоминаем горячие, неумолкающие споры, живую журнальную полемику, затем пробудившиеся с новым царствованием надежды, великие преобразования, которых мы были свидетелями, и последовавшее затем умственное и нравственное отупение общества. Состарившись, мы о многом горюем; но связывающая нас дружба остается нам великим утешением в конце предназначенного нам земного пути. Я благодарю провидение за то, что оно даровало мне такое сокровище. На склоне лет, еще более нежели в молодости, я глубоко чувствую, каким существенным и высоким элементом является дружба. Она составляет необходимое дополнение, а для иных и замену семьи. Счастлив тот, кто на своем веку обрел искренних, верных, горячих друзей.

Но не одни воспоминания прошлого и остатки дорогих старых связей наполняли мои последние годы. Я и в старости продолжал заниматься наукою, которая всегда была моим главным призванием в жизни. Правда, от многолетней своей деятельности я не видал осязательных плодов. Писать ученые сочинения составляет в России самое неблагодарное ремесло, особенно когда не отдаешься современному течению, а стараешься сохранить требуемое наукою беспристрастие. Книга выходила за книгою, не встречая ни отзыва, ни признательности. Я не замечал, чтобы высказанные мною, частью совершенно новые

мысли были кем-нибудь усвоены или развиты. Я говорил себе, что если так мало действия, несмотря на многолетний, добросовестный труд, значит талант не велик, а потому нечего обольщать себя надеждой на будущие плоды. Тем не менее я продолжал работать усердно. Меня лично сильно занимали умственные, в особенности философские вопросы, и я старался их себе выяснить. Были целые области знания, мне почти неизвестные. Из естественных наук, которые в современном мире имеют преобладающее значение, я изучал отчасти зоологию, и тут я пришел к некоторым общим выводам. Но физика, химия, высшая математика оставались для меня закрытою книгой. Теперь я за них принялся.

Поводом послужила небольшая книжка Вюрца об атомистическом учении, которое занимало меня с философской точки зрения. Из нее я узнал теорию Менделеева о химических периодах и рядах. Размышляя об этом предмете и сопоставляя числовые отношения, я пришел к убеждению, что тут должен быть общий математический закон, который только нужно раскрыть и формулировать. Видя, что в каждом ряде объем каждой единицы материи, входящей в состав атома, уменьшается по мере увеличения массы, я спросил себя: не будет ли это уменьшение пропорционально количеству соединяющихся атомов? Преследуя эту мысль в приложении к первому ряду, заключающему в себе щелочные металлы, я действительно нашел искомую пропорциональность. Это открытие чрезвычайно меня обрадовало. Оно послужило исходною точкой для дальнейших изысканий. Более года я все занимался разными математическими выкладками, с помощью которых у меня выработалась цельная, последовательная система химических отношений. Однако, я видел, что этого далеко не достаточно. Я стал втупик перед уравнением третьей степени, которое элементарною алгеброй не решается. Я решился изучить высшую математику. Один, без руководителя, живя в деревне или в Ялте, где не у кого было даже спросить объяснения встречающихся трудностей, я сперва возобновил в своей памяти тригонометрию, которую порядочно знал при вступлении в университет, затем прошел аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления, высшую алгебру, наконец механику и физику. Для разработки системы химических элементов пришлось, разумеется, подробнее познакомиться с химией.

Усвоить себе целую обширную область новых наук, приближаясь к седьмому десятку, дело нелегкое. Но для меня оно было в высшей степени увлекательно. Передо мной открывался

целый новый мир; каждый шаг был приобретением нового знания. Математика в особенности приводила меня в восторг. Для ума, стремящегося к точной истине, иметь опору в науке, в которой все совершенно рационально и безусловно достоверно, было необыкновенно важно. Перед этим все колебания, все недомыслие, все неверные выводы, все фантастические построения, которыми изобилуют другие отрасли знания, казались мне жалкими и ничтожными. Это изучение утвердило, вместе с тем, непоколебимую мою веру в силу человеческого разума, ибо не может быть, чтобы в одной только области ему доступна вполне достоверная истина, а в остальных она для него покрыта непроницаемою тайной.

Результатом моей пятилетней работы была выработанная мною система химических элементов, которую я изложил письменно. Но так как это было дело для меня совершенно новое, то я предварительно хотел иметь совет человека, сведущего в математических науках. С этою целью, будучи в Москве, я обратился к профессору Слудскому, с которым давно был в хороших отношениях. Он познакомился с первыми главами моего сочинения, оценил мой труд, сделал некоторые замечания, но, не будучи химиком, советовал обратиться к Менделееву. С последним я был слегка знаком еще с Гейдельберга, а затем опять встретился в Москве на Техническом съезде, когда я был головою. Я послал ему первую главу моего исследования, с письмом, в котором говорил, что он вероятно очень удивится, увидев, что юрист берется за химические исследования, но что на старости лет, имея досуг, я занялся этими вопросами и пришел к некоторым выводам, которые и подвергаю его суду. Несколько дней спустя, я пошел к обедне в домовую церковь дома князя Голицына, где мы квартировали. При выходе смотрю: стоит Менделеев. «Я к вам приехал прямо с железной дороги, — сказал он.—Я получил ваше письмо перед самым отъездом из Петербурга на юг и в тот же вечер сделал о нем сообщение в заседании Русского физико-химического общества. Все этим заинтересовались, и теперь ваше открытие занесено в протокол. Но я успел пробежать только первые страницы, и вот я приехал к вам, даже не переодевшись, чтобы просить у вас дальнейших разъяснений. Возьмите карандаш и покажите мне все, что вы вывели». Я объяснил ему весь ход своей мысли. Он слушал с величайшим интересом, расспрашивал толково и подробно обо всем и настаивал на том, чтобы я непременно напечатал свою статью в журнале Русского физико-химического общества. Сам он тут же написал редактору записку, в которой

вместе с тем предлагал меня в члены общества. Позавтракав у нас, он отправился к Столетову, которому с восторгом говорил о моем исследовании.

Это был один из хороших дней моей жизни. Результат нескольких лет усидчивой работы был оценен одним из самых видных деятелей современной науки. Я думал, что попал наконец в такую область, где можно работать не в полном одиночестве, как я делал доселе, а находя поддержку, критику и оценку. Но эта была только мимолетная мечта. Менделеев вскоре после нашего свидания упомянул о моей работе на происходившем в Англии юбилейном празднестве в память Фарадея; при этом он заявил, что надобно дождаться окончания исследования, прежде нежели произнести о нем настоящее суждение. Но окончания не вышло, а он молчал. Я писал ему, прося дать какой-нибудь отзыв, говоря, что я, человек новый в этой области, зажег свой собственный светильник и иду во тьме кромешной по никем еще не пробитому пути, а потому нуждаюсь в освещении со стороны; он ответил, что теперь занят другим, что прежде всего надобно есть, но что, когда ему будет досуг, он непременно займется этим делом и выскажет свое мнение. Впоследствии он при свидании подтвердил, что я стою на совершенно научном пути; но критики я все-таки не дождался. Несчастное увлечение промышленными вопросами и в особенности тарифной системой отвлекло его от научных занятий.

Другие дали и того менее. В Москве меня просили изложить свою теорию в Обществе любителей естествознания, которого я, даже без моего ведома, был выбран действительным членом. Я прочел лекцию в течение двух часов, но не услышал в ответ ни одного дельного замечания. Химики говорили, что судить об этом должны математики, а математики говорили, что судить об этом должны химики. Основательно познакомиться с вопросом никто не взял на себя труда. Немного об этом потолковали, и дело кануло в воду. Так я до сих пор и не знаю, сделал ли я важное открытие, бросающее новый свет на науку, или это только остроумная фантазия, которая, блеснув мгновенно, предается забвению. А между тем, нельзя не сказать, что затронутые мною вопросы составляют предмет величайшего интереса для всякого научного деятеля. Если только отворена дверь в область, куда еще никто не заглядывал, если указана возможность подступить к вопросам, доселе покрытым непроницаемой тайной, то и это уже немаловажная заслуга в науке.

Таково безотрадное положение русских ученых, в особен-

ности тех, которые не пишут в иностранных журналах и не проповедывают модный идей. Они принуждены работать в полном одиночестве, не встречая ни сочувствия, ни оценки и не видя плодов от своего многолетнего труда. Хорошо еще, если их не забросают грязью за то, что они осмеливаются восстать против господствующего течения. У нас это дело самое обычное. Серьезная критика исчезла; уважение к мысли и труду утратилось совершенно; но хватить человека, который не носит на себе модного ярлычка, на это способен всякий нахал и невежественная публика рукоплещет этой журнальной расправе.

По своим прежним работам мне приходилось испытать это не раз; но я мог убедиться, что и в области естествоведения дело обстоит не лучше. Изучив на своем веку разнообразные отрасли человеческого знания, правоведение, историю: философию, политику, наконец математику и естественные науки, я хотел в конце жизни свести к общему итогу результаты своих исследований и размышлений. Поводом послужила премия на заданную Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным тему о вытекающем из положительной философии единстве науки. Столыпина я давно знал. Он был человек очень недалекий, но ревностный последователь Огюста Конта, с поклонением которому у него странным образом сочетался другой конек, именно, пропаганда хуторного хозяйства. Он думал содействовать разработке мыслей, высказанных Контом; мне же, напротив, хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы при обзоре результатов современной науки показать всю несостоятельность господствующей ныне положительной философии и необходимость метафизических начал для утверждения истинного знания.

Мое сочинение было представлено на конкурс в Психологическое общество, которому поручено было присуждение премии. На беду, в комиссии, выбранной для рассмотрения представленных рукописей, оказался ярый дарвинист, зоолог Иванцов, который возмутился моими нападками на современного кумира. Мне впоследствии сообщили его отзыв; он был писан тоном газетного фельетона и совершенно бессмыслен по содержанию. Попытка установить в зоологии рациональную классификацию была учтена за ученое преступление, как будто научная классификация составляет неоспоримую истину, которой касаться непозволительно. Покойный профессор Усов, которому я давно уже в рукописи сообщал свой опыт, отнесся к нему с большим сочувствием, что и побудило меня изложить в сочинении главные его основания. Несмотря, однако, на совершенное скудоумие означенного возражения, на неспециалистов оно произвело

впечатление. Я получил половинную премию. По этому поводу я вспомнил, что в начале своего ученого поприща я точно также получил половинную Уваровскую премию за диссертацию об Областных учреждениях России в XVII веке, на основании отзыва Калачова, который, поддаваясь возгласам славянофилов, усмотрел в ней отрицательное направление. Еще до этого Соловьеву было совершенно отказано в премии за диссертацию о родовых отношениях великих и удельных князей, которая составила эпоху в русской историографии. Такова у нас строгость суждений при всей скудости нашей ученой литературы.

Сочинение о единстве науки* обсуждало самые крупные вопросы современного значения. Но русская журналистика не проронила о нем ни слова. Только в одном из иностранных философских журналов меня разругал позитивист де-Роберти, который представлял сочинение на конкурс вместе с моим, но которому вовсе было отказано в премии.

Я утешал себя отзывами немногих существующих у нас компетентных людей. Станкевич писал мне, что он не знает книги, которая бы более отвечала потребностям его ума и его души. Я говорил ему, что в сочинении есть один существенный пробел: нет ни логики, ни метафизики, которых я не коснулся, потому что их нет и у разбираемого мною автора. «Если бы я был моложе, — прибавлял я, — я принялся бы за пополнение этого недостатка. Пока нет выработанной метафизики, нет и философии. Но в мои лета взять на себя такую работу слишком тяжело». Однако, поразмыслив хорошенько, я увидел, что в сущности на это много работы не потребуется, так как главное было уже в моей голове. Я принялся за дело, и в шесть месяцев были готовы «Основания логики и метафизики», которые я затем и издал*.

Личное мое влечение побуждало меня итти еще далее в изучении естественных наук. Мне хотелось основательно познакомиться с сочинением Максвелля об электричестве и магнетизме, хотелось также выяснить себе основания механики, доселе еще не разработанные и в новейшее время подвергающиеся странным извращениям. В особенности я задавался мыслью свести к единству различные потенциалы, которых ныне расплодилось великое множество. Через это я думал дать высшее логическое и математическое основание самой выработанной мною системе химических элементов. Но все это требовало такой работы, которая 65-летнему старику уже не по силам. А между тем, у меня в портфеле лежал написанный, но не изданный курс государственного права, который я некогда

читал в университете. Он нуждался в некоторых исправлениях, сообразно с новыми данными современной истории; а после меня никто уже не мог бы их сделать. Мне казалось, что лучше всего завершить свое ученое поприще изданием лекций*, читанных в самую зрелую пору жизни. На этом я и остановился.

Принесут ли мои труды какую нибудь пользу? Что нужды? Человеческая мысль никогда не пропадает даром. Я верю, что добросовестно взрощенное семя когда-нибудь попадет на благоприятную почву и принесет плоды, может быть, невидимые для сеятеля, но полезные для отечества. Каждый труд, по выражению поэта, составляет едва заметную песчинку в многовековом здании человечества. Эта мысль утешает русского ученого, работающего в пустыне.

Лично мне занятия наукою не только помогали затыкать на старости лет тяжие пробелы времени, но они возводили меня в такую область, из которой человек может спокойным и беспристрастным взором оглядывать окружающие его житейские смуты, оценивая настоящее и, насколько возможно, предвидя будущее. Наука дала мне непоколебимое убеждение в развитии человечества, в силу мысли, в существовании высших начал, которые невидимо для современников ведут человеческий род к конечной цели его существования. Историею руководит дух, ей присущий, изнутри действующий, установляющий согласие там, где для поверхностного взгляда есть только беспорядок, и окончательно все направляющий к высшему совершенству. В этом преемственном пути поколений человечество, как я выразился в другом месте, идет через долы и горы. Есть эпохи, когда оно нисходит в низменности, надеясь найти обильные сокровища в непочатых еще недрах земли. И точно, оно упорным трудом добывает в них богатый умственный материал. Но в этой работе человеческий ум суживается и затемняется; перед ним исчезают далекие горизонты, а с тем вместе глохнут высшие силы души. Таково наше положение в настоящее время; отсюда то неустройство, тот умственный и нравственный хаос, который царствует всюду. Тяжело жить в такую пору людям, носящим в себе высшие потребности; но сомневаться в исходе нет основания. Настанет время, когда, окрыленное мыслью, новое поколение опять взойдет на горную высоту и озаренное высшим светом увидит простирающиеся перед ним бесконечные горизонты, когда буйная борьба сил сменится свободным согласием и для человеческих обществ снова наступят светлые дни. Это время, конечно, не для нас. Еще солнце не озарило горных вершин; еще не видать луча света, который рассекал бы

окружающий нас мрак. Нам, состарившимся среди волнений и смут, остается только с верою в лучшее будущее терпеливо ожидать той вожделенной минуты, когда, передавая творцу усталую душу, человек может от полноты сердца сказать:

«Ныне отпущаеши раба твоего».

22 октября 1894 г.

Село Караул.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 19.

I часть «Истории политических учений» вышла в 1868 г., II — в 1872 г., III — в 1874 г., IV — в 1877 г. и V — в 1902 г.

Стр. 20.

См. «Записи прошлого». Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университет. Изд. М. и С. Сабашниковых. М. 1929.

Стр. 21.

О лицах, упоминаемых здесь, см. статью Б. Н. Чичерина, напечатанную в «Русском архиве» 1890 г., т. I: «Из моих воспоминаний».

Стр. 22.

Григорий Федорович Петрово-Соловой (1806—1879). О нем Б. Н. Чичерин подробно пишет в I главе своих Воспоминаний (подготовляется к печати). Он был одним из крупнейших землевладельцев Тамбовской губ., где ему принадлежало в 1878 г. 25 000 дес.

Стр. 23.

Для избрания мирового судьи требовался определенный имущественный ценз (в уезде—недвижимая собственность, оценивавшаяся я в 15000 руб.); земским собраниям предоставлялось право избирать лиц, не имевших такового, но обязательно единогласно.

Стр. 28

Князь М. С. Волконский был сыном князя Сергея Григорьевича Волконского и Марии Николаевны Раевской.

Стр. 29 строка 14 снизу.

Григорий Борисович Бланк (1811—1889), сын «неистощимого», но бездарного поэта Бориса Карловича Бланк (1769—ок. 1826), крупный землевладелец, владевший свыше 2 500 дес. в Тамбовской губ., пробовал свои силы в публицистике. По словам Венгерова (Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. III, стр. 368—369), «в 50-х и 60-х годах имя его пользовалось очень громкой известностью, как одного из наиболее рьяных застрельщиков лагеря крепостников; сам Бланк, как сообщалось в некоторых некрологах, был человек очень мягкий и добродушный, что не мешало ему, однако, быть очень решительным в своих воздыханиях по старым порядкам и проповедывать обуздание мужицкой дерзости и распущенности. В своей знаменитой статье о русском помещичьем крестьянине, появившейся в первый момент толков об освобождении, Григ. Бланк пресерьезно утверждал, что «крепостное состояние есть совершенно оригинальное и составляющее исключительную собственность нашего отечества», потому что у нас единственная забота помещика — заботиться о «благополучии, здоровьи и счастии своих крестьян» Статья «Русский помещичий крестьянин» появилась в «Трудах Вольного экономического общества», 1856, № 6, и вызвала

отповедь со стороны В. П. Безобразова в № 17 «Русского вестника» за тот же 1856 г. С своей стороны Бланк разразился ответной «антикритикой» в № 1 «Трудов Вольного экономического общества» за 1857 г., в которой неосторожно сослался на статью Чичерина «О несвободных состояниях в древней России». («Русск. вестник», 1856, № 10), исказив ее содержание. В № 6 «Русского вестника» 1857 г. Чичерин язвительно высмеял «совершенно оригинальные воззрения» Бланка и легкость, с которой он делает «в науке открытия, неведомые остальному миру». «Изумительно,—пишет он,—что г. Бланк несколькими почерками пера решает важнейшие вопросы об историческом значении крепостного права у нас и на Западе, между тем как в самой статье его сказывается полное отсутствие всяких сведений об этом предмете». Называя его с иронией, на основании его собственных слов, «учеником природы», он высказывает догадку, что его воззрения «внушены ему природою... Он со свойственным ученикам природы практическим смыслом черпает мысли из всей окружающей его среды — и от остряков-помещиков, и от образованных молодых людей, и даже от дворовых людей своих знакомых. Понятно, какая бездна незнакомых Западу идей возникает из этого блестящего сочетания столь разнообразных источников ведения». Сам Григорий Борисович относил себя к числу людей, «которые, не получив блестящего воспитания, при здравом своем смысле и благонамеренности, практически приобрели о России ясные и точные понятия».

Стр. 29, строка 3 снизу.

Петр Борисович Бланк (род. 1821), по словам Венгерова (там же, стр. 369—370), «отнюдь не должен быть смешиваем с своим братом, в котором маниловское недомыслие и рабовладельческие инстинкты соединились в такое несимпатичное целое. Если Петр Борисович и «консерватор», то во всяком случае консерватор европейского, скорее всего — английского пошиба; он, действительно, хотел бы создать русское руководящее джентри, но по крепостному праву он не вздыхает, вне самоуправления спасения не видит и требует решительных мер к поднятию умственного уровня народа». Он тоже пробовал выступать в печати, как публицист и даже как историк.

Стр. 30.

Александра Николаевна Чичерина.

Стр. 34.

Приказы общественного призрения, учрежденные при Екатерине II (Учреждение о губерниях 1775 г.), ведали в губерниях в дореформенное время народное образование, общественное призрение и народное здравие; на них же лежала забота об устройстве и содержании работных домов. После реформы 1864 г. большая часть их функций перешла к земствам.

Стр. 36.

Подушной податью назывался установленный при Петре I (с 1718) денежный сбор, взыскивавшийся с податных сословий: крестьян, мещан, цеховых и рабочих, от которого были освобождены привилегированные сословия, т. е. дворянство и верхи городской буржуазии. За единицу обложения принималась «душа» мужского пола; число податных душ было установлено при Петре специально проведенной переписью и затем проверялось путем периодически производившихся ревизий. Разорительность подушной подати для крестьян уже вскоре после смерти Петра I обратила на себя внимание правительства, но серьезно вопрос о замене ее обложением земель, капиталов и промыслов стал только

в 1857 г. и особенно остро после реформы 1861 г.; с 1868 г. над ним работала особая комиссия. Окончательно подушная подать была отменена для Европейской России в 1887 г.

Дореформенный «Государственный земский сбор» предназначался на покрытие расходов на местные нужды, но в значительной мере расходовался на «земскую» полицию и другие государственные надобности. Он был отменен в 1874 г.

Стр. 37.

За единицу обложения двор был принят окончательно в 1670 г., причем общая сумма податных платежей для каждого округа вычислялась по числу дворов, а внутри округа она распределялась между дворами самими плательщиками, сообразно с платежными средствами каждого двора. Подворное обложение являлось переходом от обложения «посошного», при котором единицей обложения была «соха», заключавшая в себе определенное количество дворов в городах и известное пространство пашни в деревне—к обложению подушному, при котором единицей служила «персона» плательщика.

Стр. 41.

До 1762 г. права дворян на землю и на крестьянский труд ставились в связь с обязательной службой, военной или гражданской; 18 февраля 1762 г. указом Петра III дворянство было освобождено от обязанности служить, при чем вотчинные права дворян были оставлены неприкосновенными. Указ этот был встречен ликованием в дворянских кругах и рассматривался ими как освобождение «благородного» сословия от крепостной зависимости. Жалованная грамота Екатерины II, изданная в 1786 г. и составленная под сильным давлением дворянства, подтвердила за ним как свободу служить или не служить, так и неприкосновенность его вотчинных прав.

Стр. 44.

См. Сочинения Капниста, изд. А. Смирдина, СПБ., 1849, стр. 477—482. Здесь читаем стихи, цитируемые Чичериным;

«Приютный дом мой под соломой
«По мне ни низок, ни высок;
«Для дружбы есть в нем уголок,
«А к двери, знатным незнакомой,
«Забыла лень прибить замок».

Стр. 52.

Будущий Александр III.

Стр. 53, строка 2 сверху.

К. Головин в своих записках («Мои воспоминания», т. I, СПБ.—М.) дает не лишенное юмора описание салона гр. Н. Д. Протасовой-Бахметевой, вдовы обер-прокурора Синода: «Графиня Наталья Дмитриевна, в качестве гофмейстерины императрицы, считалась первой дамой в городе, и на ее вторниках всегда бывала толпа. А между тем она сама до того походила на истукана, что можно было усомниться, жива ли она. Огромная бородавка на совершенно бледном лице, глаза без всякого выражения и слова почти бессознательные, еле звучавшие, спадая с мало подвижных уст,—вот каков был светский идол, к которому весь Петербург ездил на поклонение К ней подходили, целовали поблекшие руки, она что-то пробормочет в ответ, и начнется салонное богослужение, то среди обширного круга гостей близ хозяйки, то у чайного стола, где гостепри-

имно занимали молодежь ее только что выпущенные племянницы Оболенские. Душою всего дома графини, разумеется, была не она, а ее племянница, кн. Д. П. Оболенская, мать обеих только что названных барышень... Дом графини Натальи Дмитриевны был настоящим местом священнодействия. И обедни в ее крошечной церкви, и ее утренние приемы по вторникам, и дававшиеся у нее балы — носили полурелигиозный характер. Здесь был свет по преимуществу, и его центральная точка, главный алтарь ее культа. В заключительной сцене своего «Дыма» Тургенев, кажется, намекал именно на этот дом, называя его «храмом». (Стр. 141—143).

Стр. 53, строка 12 сверху.

Петр IV — прозвище всесильного в описываемые годы шефа жандармов графа П. А. Шувалова. Известна эпиграмма Ф. И. Тютчева, опубликованная Г. И. Чулковым («Тютчевиана», М., 1922, стр. 13):

«Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой —
Петр, по прозвищу Четвертый,
Аракчеев же — второй».

Стр. 53, строка 4 снизу.

Дочь Б. Н. Чичерина, Екатерина Борисовна, умерла в конце декабря 1874 г. или в первых числах января 1875 г., как видно из его переписки с А. В. Станкевичем, хранящейся в Публ. библиотеке им. В. И. Ленина. 22 декабря 1874 г, Станкевич пишет ему: «Вчера получил Ваше письмо. Будем ждать Ваших строк о совершенном выздоровлении Кати». 10 января 1875 г. он же пишет: «Я возвратился из Петербурга и застал Ваше горькое письмо, дорогой Борис Николаевич. Не знаю,—что и говорить. Могу только крепко обнять Вас». На письме пометка карандашом, повидимому, А. А. Чичериной: «Кончина Кати».

Стр. 56, строка 1 сверху.

Василий Григорьевич Вязовой. О нем см. Указатель.

Стр. 56, строка 1 сверху.

Василий Николаевич Чичерин был женат на баронессе Жоржине (Каролине) Егоровне Мейендорф.

Стр. 62, строка 9 снизу.

«Буль»—особый стиль художественной мебели, названный по имени французского столяра-художника Андрие-Шарля Буль (1642—1732), создавшего этот стиль.

Стр. 62. строка 8 снизу.

Villeneuve de Trans — старинная французская баронская фамилия, одному из членов которой, Луи де Вильнев де Транс (1451—1516), за военные заслуги был дарован в 1506 г. титул маркиза; это был первый случай обращения бароната в маркизат. Из числа маркизов Вильнев де Транс один — Луи-Франсуа (1784—1850) получил некоторую известность, как литератор и историк.

Стр. 63.

Алексей Борисович Чичерин.

Стр. 65.

В настоящее время в доме, где жил Б. Н. Чичерин, помещается Коммунистическая академия.

Стр. 67, строка 6 сверху.

Анна Федоровна Аксакова, ур. Тютчева.

Стр. 67, строка 8 сверху.

В 1878 г. И. С. Аксаков выступил в Славянском комитете в Москве с речью, заключавшей в себе критику действий русских дипломатов на Берлинском конгрессе, за которую был выслан из Москвы и поселился в Варварине, имении сестры его жены Д. Ф. Тютчевой.

Стр. 68, строка 17 сверху.

«Русский дилетантизм и общинное землевладение. Разбор книги кн. А. Васильчикова «Землевладение и земледелие» М. 1878. Б. Н. Чичерину принадлежат главы II, IV и V; В. И. Герье — главы I и III.

Стр. 68, строка 21 сверху.

Евдокия Ивановна Герье, урожд. Станкевич.

Стр. 69.

В магистерской диссертации М. М. Ковалевского: «История полицейской администрации (полиции безопасности) и полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III» Прага, 1876, стр. 48, действительно, читаем: «Бароны, восставшие в 1215 г. против короля Иоанна под предводительством Симона де Монфор» и т. д. Как известно, в 1215 г. восставшие бароны заставили короля Иоанна Безземельного подписать так называемую «великую хартию вольностей», подтверждавшую феодальные права его вассалов, которая легла в основу парламентского строя Англии. Симон де Монфор переселился из Франции значительно позже (1236), уже после смерти Иоанна (1216). Восстание баронов, во главе которого он стал, относится к 1263 г. и было направлено против Генриха III, сына Иоанна Безземельного. Таким образом, у Ковалевского здесь явная описка.

Стр. 70, строка 11 сверху.

В № 2 «Критического обозрения» за 1879 г. Ковалевский поместил рецензию на книгу Е. Нассе: «О средневековом общинном землевладении» в которой, между прочим, писал: «Еще недавно кн. Васильчиков высказывался в том смысле, что одним славянам известно существование общинной пахоты. С своей стороны, проф. Чичерин, не приводя никаких новых данных для подкрепления своей, по меньшей мере устаревшей теории, усиленно убѐждал читателей, что русскому народу общинное землевладение на первых порах не было известно»... и т. д.

Стр. 70, строка 16 сверху.

«Критическое обозрение» 1879, № 4. В том же № помещен ответ Ковалевского.

Стр. 70, строка 20 сверху.

«Обзор истории развития сельской общины в России» («Русск. вестник», 1856, I, стр. 373—386, 579—602).

Стр. 70, строка 29 сверху.

«О родовом быте германцев» (Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачевым, кн. II, пол. 2) М. 1855.

Стр. 70, строка 7 снизу.

«Русские ведомости», 1879, 3 марта № 54.

Стр. 71.

«Русские ведомости», 1879, 5 марта № 56.

Стр. 72.

Княгиня Мария Павловна Щербатова, рожд. Муханова.

Стр. 73, строка 5 сверху.

О литературном кружке, собиравшемся в 50-х годах в доме Станкевичей, см. в «Записях прошлого» Воспоминания Б. Н. Чичерина: «Москва сороковых годов». М. 1929, стр. 199—201.

Стр. 73, строка 20 сверху.

«Разлива замка», подразумевается замка Лафит (в департаменте Жиронды во Франции), прославившегося еще в XVIII в. своими виноградниками; здесь выделывалось первоклассное красное бордосское вино; среди любителей считалось особым шиком выписывать вино непосредственно от владельцев знаменитого замка.

Стр. 73, строка 12 снизу.

Галлерея гр. Андрея Федоровича Растопчина состояла из предметов, собранных в 1817—1823 гг. в Париже и помещалась в его доме на Лубянке; в 1836 г. А. Ф. перевез ее в Петербург и значительно пополнил ее в 1846—1847 гг.; в 1849 г. он перевез ее обратно в Москву, где отделал для нее дом на Садовой и открыл ее в 1850 г. для обозрения публики; тогда же он выпустил «Catalogue des portraits, tableaux, marbres et objets d'art de la gallérie du comte Rastaptchine», в который вошло более 280 картин и портретов и 26 статуй и других предметов искусства, как иностранных, так и русских мастеров. После его смерти собрание распродано.

Стр. 75.

В 90-х годах, когда писались «Воспоминания», в доме кн. Голицына помещалось частное реальное училище Хайновского, позднее в нем был Народный университет имени Шанявского (до постройки им собственного здания на Миусской площади), сейчас — Коммунистическая Академия. Голицынский музей, созданный кн. М. А. Голицыным, был открыт публике в 1865 г.; директор музея Карл Марк. Гюнцбург издал «Catalogue des livres de la bibliothèque du prince M. Golitzine» (М., 1866), «Московский Голицынский Музей в 1866 г.» (М., 1867) и «Указатель Голицынского музея» (М. 1869). Сын кн. М. А. Голицына—кн. С. М. Голицын продал собрание отца в 1886 г. за 800 000 руб. в Петербург Эрмитажу и Публичной библиотеке. См. Воспоминания П. П. Щукина (Щукинский сборник, вып. X., М., 1912, стр. 372—374.).

Стр. 76.

Театр Медокса стоял на берегу р. Неглинки, на месте теперешнего здания 2-го МХАТ'а; он был построен в 1780 г. и существовал до 1808 г.

Стр. 84, строка 12 сверху.

Берлинским трактатом 13 июля 1878 г. для введения нового порядка в Болгарии, освобожденной от турецкого владычества, был установлен 9-месячный срок со дня ратификации трактата. Собранное 19 февраля 1879 г. в Тырнове болгарское народное собрание вотировало так называемую Тырновскую конституцию значительно более радикальную, чем того желало русское правительство, и избрало, под давлением России, князем принца Александра Баттенбергского, сына принца Александра Гессенского, брата императрицы Марии Александровны. 9 июля 1879 г. принц Александр присягнул соблюдать конституцию, но первое время продолжал до известной степени зависеть от России, поскольку организация болгарской армии оставалась в руках русского командного состава и портфель военного министра в Болгарии, по соглашению с русским правительством, он должен был предоставлять русским генералам

Отношения между Россией и Болгарией очень скоро приняли ненормальный характер. С одной стороны, русский капитал смотрел на Болгарию, как на объект эксплоатации, что особенно ярко выразилось в стремлении русских капиталистов завладеть железнодорожными концессиями в Болгарии; эти притязания встретили энергичную поддержку царского правительства, которое явно стремилось поставить Болгарию в вассальное положение и, в случае дальнейшего наступления на Балканы, использовать ее как плацдарм. Такая позиция не могла не вызывать враждебного недоверия в Болгарии; тем не менее партии, боровшиеся между собою, и сам князь в своем стремлении избавиться от ограничений, наложенных на него Тырновской конституцией, одинаково искали поддержки России. Так сложилась очень сложная политическая конъюнктура, при которой князь одновременно делал усилия стряхнуть с себя «медвежью лапу» России и вместе с тем обращался за помощью к русскому царю в борьбе с оппозицией и просил у него присылки министров; как болгарские консерваторы, так и либералы одинаково хотели и справиться со своими противниками через посредство русских генералов, и самим избавиться от их опеки, а русские генералы, в качестве министров распоряжавшиеся в Болгарии, вели свою собственную политику, то в лице генерала Эрнрота поддерживая самодержавные вожделения князя, то в лице Соболева заигрывая с оппозицией и выступая в защиту конституционных начал. Вопрос о железнодорожном строительстве в Болгарии разрастался в международный вопрос, ввиду столкновения интересов австрийских с русскими, а внутри Болгарии вызывал озлобление местных капиталистов, не желавших уступать этот лакомый кусок чужим. При жизни Александра II русское правительство, руководимое Д. А. Милютиным, строго держалось соблюдения Тырновской конституции, но после его смерти князь, убедившись в отсутствии к тому препятствий со стороны нового царя, 27 апреля 1881 г. произвел переворот и приостановил действие конституции, поручив составление временного кабинета ген. Эрнроту, при содействии которого был совершен и самый переворот. Собранное в Систове, под сильным давлением, «великое народное собрание» предоставило князю на 7 лет самые широкие полномочия. Чтобы укрепить свое положение, Александр пытался опереться на русское офицерство; в его правительстве первую роль играли русские — сперва полковник Ремлинген и генерал Крылов, потом генералы Соболев и Каульбарс. По вопросу о железных дорогах, где были задеты русские интересы, Соболев и Каульбарс разошлись с князем и, не доверяя ему, вступили в союз с его врагами - либералами и стали требовать восстановления Тырновской конституции. Припертый к стене князь вступил в тайные переговоры с обеими враждовавшими партиями, успевшими к тому времени столковаться между собою, и 7 сентября 1883 г. от собственного имени добровольно восстановил конституцию и призвал к власти лидера умеренных либералов Цанкова. Это был ловкий шаг, заставивший Каульбарса и Соболева подать в отставку, и с этого момента прекратилось прямое вмешательство русских во внутренние дела Болгарии. Присоединение Румелии к Болгарии в 1884 г., в результате восстания, организованного при содействии болгарского правительства, дало повод отозвать русских офицеров, состоявших на службе в Болгарии. Это было, в итоге. полное поражение политики Александра III и отказ от тех надежд, которые связывались с созданием вассального княжества на Дунае; с таким положением было не легко примириться, и когда 8 сентября 1886 г. Александр Баттенбергский был свергнут софийским гарнизоном, то тут нельзя не видеть руки России. Свергнутого князя

отвезли в Одессу и сдали русским властям; получив свободу, он поехал в Австрию, где нашел своих сторонников, звавших его обратно в Болгарию, и 17 августа, заручившись поддержкой Англии и Австрии, высадился в Рущуке, откуда послал телеграмму, Александру III, испрашивая его санкцию на этот шаг. Александр III ответил резким выражением недовольства и опасения за будущее. Убедившись в непопулярности своего имени в стране, принц сложил с себя княжеское достоинство и покинул Болгарию. Последовавший затем захват власти руссофобом Стамбуловым привел к разрыву дипломатических отношений с Россией, продолжавшемуся 10 лет. См. М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России. Сборник статей, М., ГИЗ. 1923, стр. 345—355. С. Сказкин. Конец австро-русско-германского союза, т. I., 1879—1884, стр. 212—232. Ср. общий очерк болгарских дел, который Чичерин дает ниже.

Стр. 84, строка 20 сверху.

Записку Чичерина по восточному вопросу Победоносцев переслал наследнику, будущему Александру III, при письме от 29 октября 1878 г. (Письма, т. I, стр, 147—148). «Считаю нужным прибавить,—писал он при этом,—что, хотя многое в этой записке справедливо, но вся она мне не нравится и мне, как и многим другим, даже неприятно было читать ее. Душа не принимает. При всем моем уважении к Чичерину, я не разделяю многих его взглядов и есть предметы, в которых никогда не могу с ним сговориться». Победоносцев, несомненно, выражал тут взгляды шовинистически настроенных славянофильских кругов. Е. Ф. Тютчева, находившаяся под влиянием И. С. Аксакова, женатого на ее сестре, писала ему 12 декабря 1878 г.: «Здесь Чичерин, он написал свое воззрение на русское общество в отношении к восточному вопросу. Высокомерно и тупо до-нельзя. Какое-то раздражение на Россию, отсутствие своего взгляда, своего критерия—непереваренные элементы, отягощающие и помрачающие ум». (Не издано. Подлинник в Публичной библиотеке им. В. И. Ленина. Копия любезно сообщена Ю. В. Готье, которому редакция приносит глубокую благодарность).

Стр. 85, строка, 13 сверху.

Книга «Наука и религия» напечатана в Москве в 1876 г. Характерно, что тотчас по напечатании, она была через Победоносцева преподнесена наследнику, будущему Александру III. «Борис Николаевич Чичерин — писал ему Победоносцев 17 апреля 1879 г.,—просил меня представить вашему высочеству книгу только что им изданную «Наука и религия». Эта книга замечательная и верно обратит на себя общее внимание. Она написана против новейших материалистов и доказывает всю нелепость учения их с философской точки зрения. («Письма Победоносцева к Александру III» т. I, стр. 196—197). Наоборот, даже среди друзей Чичерина далеко не все были в восторге от его книги. Известный острослов и автор многочисленных юмористических стихотворений, ходивших в рукописи, П. В. Шумахер, отозвался на нее эпиграммой:

«Наука и религия!
Наш друг Борис хитренек.
Тут вижу нет интриги я
Для почестей и денег.
(Иль жеребец иль мерин).
Читать такие книги я,
Любезнейший Чичерин,
Ей богу не намерен»

(Щукинский сборник, т., VII, стр. 260).

Впрочем философско-религиозные взгляды Б. Н. Чичерина не вполне совпадали и с взглядами Победоносцева, как это видно из неизданного письма последнего к Ек. Фед. Тютчевой от 26 января 1879 г.: «Чичерин здесь на неделю и заходил ко мне не раз. Он мне приятен, но я не могу говорить с ним свободно, — плыву рядом в мелких местах, но обхожу глубокие, потому что на глубоких мы не сходимся: у него один центр, у меня другой. Его негодование и восторги меня не волнуют или волнуют отрицательно. Теперь он печатает большую книгу: «Наука и религия». Судя по тому, что он мне рассказывал о плане и содержании книги, это меня очень интересует, и я жду ее выхода. Но знаю наперед: он решает в ней такие задачи, которые для меня останутся неразрешенными». (Подлинник в Публичной библиотеке им. В. И. Ленина).

Стр. 86, строка 17 снизу.

«Барановская комиссия» возникла в результате записки, представленной царю в апреле 1876 г. военным министром Д. А. Милютиным о несостоятельности наших железных дорог в деле передвижения войск и грузов. По докладу министра путей сообщения И. С. Посьета 22 июня того же года состоялось повеление «об учреждении Высшей совещательной из представителей разных министров комиссии для подробного исследования: в какой степени существующая в империи сеть железных дорог отвечает потребностям государства в экономическом, политическом и стратегическом отношениях, и для определения главных оснований, долженствующих служить руководящими началами при дальнейшем развитии этой сети», под председательством гр. Э. Т. Баранова. В октябре 1876 г. Баранов представил план работ комиссии, предлагая «основать все работы Высшей комиссии на сведениях, добытых на месте, путем опроса заинтересованных в деле лиц и исследования специалистов». По его плану «вся совокупность местностей, по коим пролегают ныне железные дороги, будет разделена районами. В каждый из районов имеет быть отправлена подкомиссия, состоящая из: а) председателя, б) одного инженера путей сообщения, избранного по соглашению с министром путей сообщения, в) одного из представителей торгового сословия, избранного преимущественно из лиц, жительствующих на одной из линий районов, и г) чиновника от министерства финансов». Вследствие вспыхнувшей в 1877 г. войны, к выполнению этого плана приступлено только в 1879 г. Подкомиссии обследовали в общей сложности «сеть протяжением в 21 260 верст». На основании собранных данных был разработан и 25 августа 1882 г. внесен в Государственный совет проект «Общего устава паровых российских дорог», получивший утверждение 12 июня 1885 г., после чего комиссия была закрыта (7 ноября). См. В. Салов: «Исторический очерк учреждения под председательством генерал-адъютанта гр. Баранова комиссии для исследования железнодорожного дела в России», СПБ., 1909 и «Краткий исторический очерк событий, предшествовавших учреждению Особой высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России». СПБ, 1909.

Стр. 86, строка 2 снизу.

Авгуры — римские жрецы, на обязанности которых лежало совершать гадание при разрешении государственных вопросов.

Стр. 90.

Юзовскими назывались чугуноплавильные заводы «Новороссийского металлургического общества», построенные в 1869 г. с субсидией от казны Дж. Юзом в Бахмачском у. тогдашней Екатеринославской губ. (ныне город Сталин в Донбассе).

Стр. 91, строка 10 сверху.

Воспетый Пушкиным Гурзуф в то время принадлежал Ив. Ив. Фундуклею, впоследствии он был приобретен П. И. Губониным, который превратил его в роскошный, но безвкусный и пошлый курорт.

Стр. 91, строка 16 снизу.

Б. Н. Чичерин говорит о до сих пор существующих железных воротах под церковью Воскресенья, ведущих в ростовский Кремль. На них сохранилась роспись средины XVIII в. на аллегорические сюжеты; изображения заимствованы из современной книги «Емвлемы и символы»; среди них имеется и то, о котором говорится в тексте. Если верно мнение, что роспись произведена по заказу известного ростовского митрополита Арсения Мациевича (вступил на кафедру в 1741 г.), не побоявшегося вступить в открытую борьбу с светской властью и подвергшего анафеме Екатерину II за секуляризацию монастырских имений, за что был лишен сана и умер узником в Ревельской крепости (1775), то знаменательная аллегория, привлекшая внимание Чичерина, приобретает особенный смысл.

Стр. 92.

Кн. Ек. Мих. Долгорукова, получившая в 1880 г. после брака с Александром II титул светлейшей княгини Юрьевской, еще до смерти имп. Марии Александровны в течение ряда лет была приближена к царю и с необыкновенным цинизмом пользовалась своим положением для обогащения, торгуя концессиями и т. п. Об этом см. Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы, Л., 1929, стр. 308—312.

Стр. 95.

2 февраля 1875 г. сгорела работавшая на военное ведомство паровая мельница Ст. Тар. Овсянникова на Измайловском проспекте. Владелец был привлечен к суду по обвинению в поджоге и присяжными заседателями признан виновным и приговорен к ссылке в Сибирь. См. А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. I, СПБ, 1912, стр. 12.

Стр. 98, строка 10 сверху.

Записка Б. Н. Чичерина о деле Веры Засулич напечатана целиком в издании «Academia»: А. Ф. Кони. Воспоминания о деле В. Засулич. М.—Л., 1933.

Стр. 98, строка 7 снизу.

В 1878 г. в Астраханскую губ. была занесена, повидимому с азиатского театра военных действий, чума. Главным очагом эпидемии было селение Ветлянка.

Стр. 99.

Мария Аггеевна, рожд. Абаза.

Стр. 100.

«Выстрел Каракозова был сигналом для свержения совершенно неповинного Головнина». — пишет Чичерин в другом месте (Московский университет, стр. 12). «Он считался главным виновником общей разнузданности молодежи и пал жертвою возбужденного против либералов общественного мнения». На его устранении настаивал ведший следствие по делу Каракозова М. Н. Муравьев; он же выдвинул на его место прокурора Синода гр. Д. А. Толстого. «По достоверным сведениям, — пишет хорошо осведомленный Е. М. Феоктистов в своих Записках,—обязан он [Д. А. Толстой] был столь счастливым для себя событием Муравьеву,

который остановился на нем, вероятно, потому что знал его образ мыслей, знал, что граф Толстой — непримиримый враг вел. князя Константина и Головнина, а затем ожидал очень многого от взаимодействия светской власти и духовенства в вопросах народного образования». (Воспоминания Е. М. Феоктистова под ред. Ю. Г. Оксмана, 1929, стр. 171).

Стр. 103.

Екатерина Александровна Победоносцева, рожд. Энгельгардт.

Стр. 104.

Победоносцев письмом от 29 апреля 1883 г. обратился к Александру III с ходатайством о прекращении дела его тестя. «Время коронации,—писал он, — время милостей чрезвычайных — единственный случай к прекращению этого несчастного дела по высочайшей милости в административном порядке». 27 мая он имел уже возможность благодарить царя за исполнение этой его «усердной просьбы» (Письма, т. II, стр. 29—31, 37).

Стр. 105.

О роли Победоносцева в истории с опекой, наложенной на П. П. фон Дервиза, пишет и А. В. Богданович в своем дневнике под 5 января 1888 г., со слов своих информаторов, «что Победоносцев противится снятию опеки, что он представил всем министрам цыфры, где оказывается, что Дервиз почти все состояние промотал, называет Ададурова злодеем». «До чего доходит подлость Победоносцева, — добавляет она от себя, — прямо невероятно и непостижимо! Вот низкий в полном смысле слова человек!» 18 января она снова записывает: «Завтра разбирается в комитете министров дело об опеке Дервиза». Тут же передается известие, «что государь очень недоволен, что его подвели» и что Дурново «открыто выступил против Победоносцева». (Дневник А. В. Богданович. Три последних самодержца. М.—П., 1924, стр. 65). К этому эпизоду Чичерин возвращается ниже с большими подробностями.

Стр. 107, строка 3 сверху.

Отношение Победоносцева к Чичерину в описываемую эпоху определяется в письме, написанном им 14 декабря 1878 г. Е. Ф. Тютчевой: «Чичерин мне приятель, но того тона, которым он пишет, я переносить не могу, и наши отношения от того портятся, что он наивно ждет сочувствия своим мыслям, а во мне нет его, и спорить с ним я не берусь, зная наперед, что его не убедишь и толку не выйдет. Я желаю только от души, чтоб Чичерин не попал в люди, власть имущие». (Не издано. В Публичной библиотеке им. Ленина).

Стр. 107, строка, 12 сверху.

Елизавета Владимировна Сабурова, рожд. графиня Соллогуб.

Стр. 108, строка 6 сверху.

часть вышла в Москве в 1882 г., II ч. — в 1883 г.

Стр. 108, строка 15 снизу.

В подлиннике отрывок из письма приводится на французском языке.

Стр. 114.

Записку Б. Н. Чичерина об университетском вопросе Победоносцев отослал наследнику при письме от 22 ноября 1880 г. (Письма Победоносцева к Александру III, т I, стр. 305). От себя Победоносцев добавляет о деятельности Сабурова: «Можно судить о впечатлении, когда от Чичерина, бывшего всегда ожесточенным врагом гр. Толстого, я слышал такие слова: «Придется, пожалуй, пожалеть о гр. Толстом».

Стр. 118.

Т. И. Филиппов был назначен государственным контролером в 1899 г.

Стр. 122.

Изложенные в тексте события подробно рассказаны в «Дневнике статс-секретаря Перетца (изд. Центрархива, М., 1927, стр. 31—41, заседание 8 марта 1881 и записи 22 апреля, стр. 62—66), 24 апреля — 4 мая (стр. 64—71).

Стр. 132.

Подробно обсуждение вопроса о понижении выкупных платежей в Государственном совете в 1881 г. изложено в Дневнике Перетца, записи 7 апреля (стр. 59—60) и 27—28 апреля (стр. 66—69); о дальнейшей судьбе законопроекта там же, записи 10—11 мая (стр. 73—74), 15 мая (стр. 74—75) и 20 мая (стр. 75—80).

Стр. 134.

Записку Б. Н. Чичерина о выкупе Победоносцев представил Александру III при письме от 15 апреля 1881 г. (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 325).

Стр. 137.

Намек на известный анекдот про афинского полководца Фемистокла. При обсуждении плана действий против персов накануне Саламинской битвы (в 480 г. до н. э.), он так увлекся, что прерывал всех несогласных с ним. Председательствовавший на совещании спартанский царь Эврибиад замахнулся на него палкой. «Бей, но выслушай», отвечал будто бы Фемистокл. В конечном итоге Фемистокл добился осуществления именно своего плана, в результате чего была одержана блестящая морская победа над персами.

Стр. 140.

Намек на разговор, о котором говорится выше.

Стр. 142, строка 3 сверху.

«Общий друг» — имеется в виду Победоносцев.

Стр. 142, строка 23 сверху.

В подлиннике по-французски.

Стр. 148, строка 7 сверху.

«Земство» — ежедневная политическая и общественная газета, издававшаяся в Москве с 3 декабря 1880 г. по 3 июля 1883 г. на средства А. И. Кошелева под редакцией В. Ю. Скалона.

Стр. 148, строка 11 сверху.

Статьи В. П. Безобразова по земскому вопросу собраны в книге: «Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть». СПБ., 1882. Здесь, повидимому, имеется в виду его статья: «Земские учреждения и самоуправление». Взгляды А. Д. Градовского на земское самоуправление изложены в его трудах: Начала русского государственного права, т. III, ч. I, СПБ., 1883 и Системы местного управления на Западе Европы и в России (Сборн. госуд. знаний, т. V и VI).

Стр. 157.

Положение о земских учреждениях 1 января 1864 г. было разработано в комиссии под председательством министра внутренних дел П. А. Валуева.

Стр. 165.

I ч. книги Чичерина «Собственность и государство» вышла в 1882 г. в Москве, II часть — в 1883 г.

Стр. 166.

1881 г.

Стр. 168.

Победоносцев в письмах к Александру III, в бытность его наследником (1876 г.), и к Николаю II (1895 г.) тоже отзывается об А. А. Пороховщикове, как об «известном в Москве прожектере, спекулянте и человеке весьма сомнительной репутации». «Этот человек,—говорит он,— давно известен своим нахальством и привычкой добывать деньги всякими средствами... Он промышлял в Москве постройками, извлекая из того свою выгоду в ущерб предприятию. Он построил на земле Синодальной типографии «Славянский базар» [гостиницу], который действительно приносит доход, но никак не по милости его, а именно с тех пор, как его исключили из Компании, заведывавшей этим предприятием, которое он разорял и грабил. С тех пор он занимается мелкой интригой и сделками, близкими к шантажу. В Москве местом интриг его в последнее время [писано в 1895 г.] была Дума, где он стремился быть головою, возбуждая в обществе и печати всякие сплетни и клеветы... Пороховщиков человек без всякого образования, но наглости непомерной, доходящей до того, что иной раз можно было спросить: в уме ли он?» (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 50—51; т. II, стр. 305—306).

Стр. 175, строка 11 снизу.

Вступительная речь Чичерина в Московской городской думе была произнесена 26 января 1882 г., и уже 28 января «речь московского городского головы, хорошо сказанная и достойная внимания» была переслана Победоносцевым Александру III. (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 372). Несмотря на лестный отзыв в письме к царю, Победоносцев был недоволен речью Чичерина. 8 апреля 1882 г. он писал про него своей неизменной корреспондентке Е. Ф. Тютчевой: «Боюсь, что он скоро зарвется далеко; первые шаги его неверны и не ладны. Он начал речью, в которой изложил свое profession de foi [символ веры], и поместил в ней фразы, по моему мнению, неловкие и могущие иметь двоякий смысл для слушателей. Я ему сказал, что если бы видел его до произнесения речи, посоветовал бы ему выпустить эти фразы. Кн. Долгорукий вымарал их в печати. Здесь Чичерин настаивал, чтобы разрешили напечатать речь сполна. Ему разрешили, замарав лишь несколько строк. Теперь Долгоруков считает себя обиженным и, конечно, озлоблен на Чичерина» (Подлинник в Публ. Библиотеке им Ленина).

Стр. 175, строка 6 снизу.

20 марта 1862 г. в Москве было введено Городовое положение, по образцу петербургского Положения 16 февраля 1846 г. (Из других городов Одесса получила новое Положение 30 апреля 1863 г.) По Положению 1862 г. Московская городская дума делилась на пять обособленных отделений по сословиям: в первое входили потомственные дворяне, во второе — дворяне личные и потомственные почетные граждане, в третье — гильдейское купечество, в четвертое — ремесленники и в пятое — мещане. Первые три отделения имели значительные преимущества; в частности они избирали 9 членов из 12, входивших в «Распре-

делительную думу», выделявшуюся из состава «Общей думы». Такая организация городского управления, дававшая значительную долю власти в городе дворянству, не могла удовлетворить буржуазию. 17 июня 1870 г. было опубликовано новое Городовое положение, которым вводилась куриальная система, основанная на цензе, по которой избиратели распределялись без разделения по сословиям на три курии по размерам уплачиваемых ими налогов, причем каждая курия избирала равное количество гласных. Иначе говоря, небольшая по числу участников курия крупных плательщиков, включавшая 2,2% избирателей, назначала столько же гласных, сколько и многолюдная курия мелких плательщиков (87,1% избирателей). Таким образом, Положение 1870 г. отдавало город всецело в руки крупной буржуазии. Эта куриальная система была отменена Городовым положением 11 июня 1892 г., которое сохранило ценз для участия в выборах, но заменило выборы по куриям выборами по территориальным участкам. Положение 1892 г., составленное в эпоху реакции, еще сильнее, чем предшествовавшее Положение, подчиняло городское управление контролю администрации; самая реформа избирательной системы была, повидимому, вызвана не столько заботой об интересах мелких плательщиков, сколько опасением тех политических притязаний, которые начали проявляться в среде крупной буржуазии.

Стр. 176, строка 23 снизу.

Воспоминания Б. Н. Чичерина, Москва 40-х годов. «Записи прошлого». Изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1929, стр. 257—258.

Стр. 176, строка 18 снизу.

Эпизод с московским адресом 1870 г. подробно рассказан в дневниках А. Ф. Тютчевой; «При дворе двух императоров», вып. II «Записи прошлого». Изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1929, стр. 207—219. Там же см. текст адреса.

Стр. 177.

Объективные данные о деятельности М. П. Щепкина в Московском городском управлении можно найти в издании «М. П. Щепкин», М., 1910. О том, как расценивалась эта деятельность в думских кругах, показывает заявление председателя финансовой комиссии Д. Д. Шумахера в заседании думы 15 июля 1863 г., в связи с обсуждением первой городской сметы, что труды комиссии «в этом деле разделял помощник городского секретаря Щепкин, который, обладая основательными знаниями городского хозяйства, весьма способствовал обработке росписи, и что им же были собраны все материалы, сообщившие росписи ту отчетливость, которую отметил министр»; по его предложению М. П. Щепкину была выражена Думой «признательность». Перед закрытием первой сессии Городской думы по Положению 1862 г. известный московский профессор М. П. Погодин, в то время состоявший гласным, опять счел нужным публично отметить в речи работу Щепкина по финансовым и сметным вопросам.

Стр. 178.

Коммерческий ссудный банк возник в период банковской горячки, наступившей после 1870 г. и сделался жертвою, как и ряд других банков того времени (скопинский, кронштадтский и др.), недобросовестной биржевой спекуляции его заправил. Первое время председателем правления банка состоял Д. Д. Шумахер, а председателем совета — Вас. Мих. Бостанджогло, а затем Никан. Мартин. Борисовский; избранный в городские головы, Шумахер уступил место своей креатуре П. М. Полянскому,

но продолжал принимать участие в деятельности банка в качестве члена правления. 5 октября 1875 г., вследствие неудачных операций, в которые правление дало себя втянуть известному аферисту Струсбергу, банк внезапно прекратил платежи, причем выяснилось, что накануне краха Шумахер вынул из банка свои вклады. Последнее обстоятельство дало повод для следствия и возбуждения уголовного преследования против членов правления, так и совета: «На скамье подсудимых,— горестно восклицает Н. А. Найденов,—сидели лица, занимавшие высокое положение в обществе, в том числе двое бывших городских голов, никогда не представлявшие себе возможности попасть в такое положение!» Прокуратура повела дело очень энергично; дело было назначено к слушанию уже 29 мая 1876 г. и вызвало громадный интерес в обществе и в прессе, но защите удалось добиться его отсрочки. В промежуток значительная часть претензий была удовлетворена, и когда 3 октября открылся суд, дело утратило некоторую долю своей остроты. 21 октября состоялся приговор, по которому Струсберг, как иностранный подданный, был выслан за границу, члены правления Ландау и Полянский были приговорены к ссылке, а Борисовский и Шумахер в конечном итоге оправданы. Ландау удалось скрыться до приведения в исполнение приговора. Подробно об этом деле, хотя и не вполне беспристрастно, говорит Найденов в своих «Воспоминаниях», вып. II, М., 1905.

Стр. 179.

В начале 80-х годов в правительственных сферах Петербурга В. И. Герье трактовался как «известный московский агитатор и оратор». (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 319).

Стр. 180, строка 7 сверху.

Николая Михайловича Пржевальского.

Стр. 180, строка 11 снизу.

Подробное описание владений Найденова на р. Яузе см. у Н. А. Найденова: «Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном», вып. I 1903, стр 29—44. В настоящее время в этом владении устроен санаторий «Высокие горы». Про Найденова Победоносцев пишет: «очень умный человек и очень влиятельный на бирже, притом страстный любитель археологии». (Письма к Александру III, т. I, стр. 240).

Стр. 182.

Елизавета Михайловна, жена Александра Владимировича Алексеева (1821—1882), была дочь Мих. Ив. Бостанджогло (1826—1891) и сестра видных московских негоциантов, членов московского отделения совета торговли и мануфактур, Бостанджогло Василия Михайловича (1826—1876), занимавшего с 1867 г. должность старшины московского купеческого сословия, председателя совета Московской практической академии, и Николая Михайловича (1826—1891).

Стр. 183, строка 22 сверху.

Один современник Б. Н. Чичерина по Московской городской думе в своих неизданных записках так характеризует Н. А. Алексеева: «Молодой Алексеев как по фамильной традиции, так и по властолюбивому темпераменту свыкся с призванием руководить людьми. Образованием он не стоял высоко, в обращении был резок, а иногда даже дерзок, но он был умен и способен войти в круг идей, которые ему были чужды».

Стр. 183, строка 7 снизу

Николай Васильевич Рукавишников с 1870 г. по 1875 г. был директором основанной в 1864 г. в Москве «Обществом распространения

полезных книг» школы, на содержание которой он тратил значительные средства. После его смерти школа пришла в упадок. Тогда братья Николая Васильевича, Константин и Илья Васильевичи, внесли в кассу городской управы специальный капитал на содержание приюта, с тем, чтобы город принял его в свое ведение и чтобы ему было присвоено название Рукавишниковского. Переход приюта в ведение города состоялся 1 января 1879 г.; приют существовал до недавнего времени. Впоследствии Рукавишников был городским головой. «Время Рукавишникова было эпохой тихого и спокойного преуспеяния городского хозяйства», говорится в цитированных выше мемуарах.

Стр. 184, строка 15 сверху.

По несколько ехидному замечанию современника, И. Н. Мамонтов «был предприимчив и не умел сообразоваться с своими силами и средствами».

Стр. 184, строка 13 снизу.

Текинцы (теке) — воинственное туркменское племя, населявшее Ахал-Текинский оазис на север от гор Копет-Даг, в Средней Азии; текинцы промышляли разбоем и своими набегами (аламанами) постоянно тревожили соседние области Персии. С 1879 г. началось военное наступление на Ахал-Текинский оазис русских войск, завершившееся взятием крепости Геок-Тепе 12 января 1883 г. В устах думской интеллигенции насмешливое прозвище «текинцы» означало то же самое, что «разбойники».

Стр. 184, строка 11 снизу.

Жадаев — «человек невысокого роста, в чуйке, говоривший очень бегло, но малограмотный, чрезвычайно рьяно, хотя и не всегда кстати, врывавшийся в прения», — как характеризует его автор неизданных записок.

Стр. 192.

Ответ Н. А. Найденова (от 18 окт. 1882 г.) на письмо К. П. Победоносцева (от 15 окт.) с уведомлением о ходе дела с кандидатурой Корфа напечатан в издании Ленинской библиотеки: «К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки», т. I, Novum Regnum, стр. 294—296 (№ 265). Знакомство Победоносцева с Найденовым началось с 1879 г., когда он приезжал в Москву между прочим для переговоров с московскими чаеторговцами о перевозке грузов на судах Добровольного флота. (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 240).

Стр. 193.

Дом гр. С. Д. Шереметева на б. Воздвиженке (ул. Коминтерна); в собственное здание (на площади Революции) Городская Дума перешла при Н. А. Алексееве. Впоследствии в доме Шереметева помещался так называемый Охотничий клуб; после революции в нем был устроен Музей Красной Армии; сейчас в нем Кремлевская диэтическая столовая.

Стр. 200.

Первый проект московского водопровода, составленный инженером Бауэром при Екатерине II, использовал для водоснабжения старой столицы Мытищенские ключи под Москвою; он был утвержден еще в 1779 г., но работы приостановились вследствие начавшейся войны с Турцией, возобновились после смерти императрицы и завершены были только в 1805 г. Этот первый водопровод действовал чрезвычайно плохо, и самые сооружения очень скоро обвалились и требовали непрерывных исправлений и ремонта; поэтому в конце 40-х годов было приступлено к перестройке всего водопровода и увеличению водоснабжения,

причем решено было воспользоваться водою Москва-реки. В 1850—1853 гг. было построено два новых водопровода при Бабьем городке и при Красном Холме в черте самого города (проект генерала Максимова). Но в виду полной их непригодности, уже в 1853 г. вновь назначенный директором водопроводов, известный инженер барон А. И. Дельвиг предложил восстановить и увеличить снабжение водою из Мытищ, что и было осуществлено в 1858 г. Однако, Мытищенский водопровод, дававший до 500 000 ведер в сутки, не удовлетворял всей потребности Москвы в воде. Поэтому, начиная с 60-х годов, строились дополнительные водопроводы, использовавшие колодцы ближайших московских пригородов: в 1867—1871 гг. Ходынский водопровод (130 000 ведер), в 1882 г.— Преображенский (60 000 в.), в 1885—1888 гг. Андреевский (150 000 в.), и, наконец, в 1888 г. устроен был артезианский колодец для снабжения водою новых городских боен, причем воспользовались буровой скважиной, заложенной горным инженером Бабиным в 1865 г. на Покровском бульваре (до 200 000 ведер). Эти работы производились Московским городским управлением преимущественно концессионным способом. Вместе с тем, в виду недостаточности всех этих частичных мероприятий, с 1876 г. производились изыскания для выяснения возможности усиления водоснабжения Москвы из Мытищенских источников; исследование показало, что эти источники могут давать втрое больше воды, чем давали до тех пор (1 500 000 ведер вместо 500 000). Новый проект бы утвержден в 1889 г. при городском голове Н. А. Алексееве, и к работам было приступлено в 1890 г., причем Городская дума, отказавшись от концессионного способа, постановила строить новый водопровод на городские средства и прибегла в этих целях к выпуску облигационного займа. Когда и новый Мытищенский водопровод перестал удовлетворять потребности Москвы, то в 1899 г. Городским управлением было приступлено к составлению нового проекта московского водопровода «для постепенного доведения водоснабжения Москвы до 14 млн. ведер в сутки»; проект этот был одобрен в следующем 1900 г., и в 1903 г. было приступлено к сооружению так называемого Рублевского водопровода.

Стр. 208, строка 11 сверху.

См. издававшийся кн. П. В. Долгоруковым за границей «Листок» № 7, 19 мая 1863 г.

Стр. 208, строка 20 сверху.

«Это величайшая каналья, какую я когда-либо встречал».

Стр. 209.

Магазин Андрея Михайловича Постникова помещался на Кузнецком мосту в так наз. Поповском пассаже, позже известном по имени нового владельца под названием Джамгаровского. После Октябрьской революции в нем одно время помещался Городской Районный совет.

Стр. 219.

«За» и «против».

Стр. 226.

Гр. Мария Дмитриевна Милютина (род. 1854) и Елена Дмитриевна Гершельман, рожд. гр. Милютина (род. 1857) скончались в 1882 г.

Стр. 227.

Роль кн. В. А. Долгорукого в истории с речью Б. Н. Чичерина выясняется из «Копии с конфиденциального письма г. московского генерал-губернатора к г. министру внутренних дел от 20 января 1883 г.»,

напечатанной в Трудах Госуд. Румянцевского Музея, вып. II (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Том I, Novum Regnum, полутом I, М. 1923, стр. 344—346). Письмо это было доложено Толстым императору, в результате чего последовало распоряжение Долгорукову «пригласить к себе г. Чичерина и объявить ему, что е. в-во находит эту речь совсем неуместной и не соответствующей званию городского головы» (там же, стр. 344). По этому поводу Катков писал Победоносцеву: «чтобы судить о слабости правительства, должно знать, что самым энергичным деятелем в нем является кн. Долгорукий, который решился писать о бывшем в Москве скандале и теперь, однако, чувствует себя в ложном положении, потому что городской голова с пренебрежительной улыбкой выслушал его скромное, келейное замечание, заявив, что он действовал (а стало быть и впредь действовать будет) по своему убеждению». (Письмо Каткова напечатано там же, стр. 343—344. В датировке письма — 2 января — опечатка).

Стр. 232.

«Читали ли вы сегодняшний рескрипт?» — «Нет еще». — «Прочтите. Здесь все-таки что-то есть».

Стр. 237.

Знаментый полковник Богданович, староста Исаакиевского собора и издатель елейно-холопских брошюр, которыми впоследствии, вымогая себе субсидии от правительства, он усердно и широко отравлял самосознание русского народа», — так характеризует Богдановича А. Ф. Кони, тоже навлекший на себя доносы и клевету с его стороны за недостаточное почтение. (А. Ф. Кони, Воспоминания о деле В. Засулич, под ред. М. Ф. Теодоровича, М.—Л., 1933, стр. 327—328).

Стр. 239.

«Дворцовое село Измайлово служило в XVII в. летней резиденцией царской семьи. При Алексее Михайловиче здесь был выстроен укрепленный дворец с садами, искусственными озерами, зверинцем и проч. и заведено обширное сельское хозяйство. От усадьбы сохранились двое въездных ворот и церковка «Иоасафа, царевича индейского» и Покрова (1679). При Николае I, в 1837 г., в Измайлове, была устроена «богадельня» для военных инвалидов.

Стр. 240.

Александр Баттенбергский приезжал на коронацию.

Стр. 245.

Чичерин намекает на эпизод, описанный им в VIII главе своих Воспоминаний, напечатанной в «Записях прошлого» под заглавием «Московский университет», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 77—78. Когда Леонтьев в знак примирения поцеловался с Чичериным, то приятель последнего проф. Дмитриев уверял даже, что он видел, что Леонтьев воспользовался этим случаем, чтобы «ужалить... (Чичерина) прямо в щеку».

Стр. 246.

Речь Б. Н. Чичерина, московского городского головы, 16 мая 1885 г. Эпизод из истории коронации в Москве. С предисловием Р. Р., Берлин, 1883.

Стр. 247.

Н. А. Найденов в своих «Воспоминаниях», вып. II, М., 1905, стр. 31—32, характеризует Юнга, в бытность его гласным, как человека низкопоклонного и всегда присоединявшегося к мнению влиятельных

гласных, «чем и достиг выбора его в начальники торговой полиции... а затем членом Управы».

Стр. 248.

Александр Владимирович Станкевич.

Стр. 249, строка 13 сверху.

См. выше, примечание к стр. 180.

Стр. 249, строка 17 сверху.

«Монетчики», район между Пятницкой и Кузнецкой улицами, заселенный в XVII в. мастерами монетного дела. Здесь «в приходе церкви Воскресения Славущего» в Монетчиковском пер. («Пятницкая часть, 5 квартал»), как видно из «Книги адресов жителей Москвы, 1863. 2-я часть. Лица неслужащие». М., 1862, стр. 4, и «Адрес-календаря разных учреждений г. Москвы на 1881 год», М., 1881, стр. 283, 334, находился «собственный дом» братьев Василия, Ивана, Сергея и Николая, Дмитриевичей Аксеновых.

Стр. 249, строка 17 снизу.

«Всеобщего голосования».

Стр. 257.

Мария Алексеевна Кочубей, рожд. Капнист.

Стр. 258.

При введении мировых учреждений 17 мая 1866 г. Москва была разделена на два мировых округа, в каждом из которых был особый съезд. Но уже 15 января 1867 г. на соединенном совещании судей обоих округов постановлено ходатайствовать о соединении всех мировых судей г. Москвы в один мировой округ с одним мировым съездом. Соответствующее постановление Сената состоялось 11 сентября 1872 г. С. А. Тарасов был председателем I округа в течение трехлетия с 1866 по 1869 гг.

Стр. 262.

Известная басня Ж. Лафонтена (1621—1695): «Le rat qui s'est retiré du monde» (Крыса, удалившаяся от мира), впервые напечатанная в 1678 г.

Стр. 263, строка 17 сверху.

Ульяна Борисовна Чичерина родилась в 1877 г., умерла в 1884 г.

Стр. 263, строка 24 сверху.

Пропускается характеристика дочери Б. Н. Чичерина, как не имеющая общего интереса.

Стр. 264.

Пропускается абзац, заключающий в себе лирическое отступление.

Стр. 272.

В 1860 г. Московским генерал-губернатором был возбужден вопрос о сносе пришедшего в ветхость Гостиного двора, построенного в 1805 г. по плану Гваренги; дело тянулось до 1886 г., когда на общем собрании лавковладельцев Верхних торговых рядов, созванном по инициативе городского головы Н. А. Алексеева, избран был особый комитет, которому была поручена выработка устава, имеющего образоваться акционерного общества и финансового плана постройки. Когда О-во Верхних торговых рядов сконструировалось, 20 сентября 1889 г. началась сломка прежних

рядов, а 21 мая 1890 г. состоялась уже закладка новых, которые окончательно были отстроены к 1893 г., когда временные железные ряды, в которых производилась торговля во время стройки, были перенесены на Болотную площадь.

Стр. 274.

См. примечание к стр. 105.

Стр. 275.

В 1880 г., при М. Т. Лорис-Меликове, было приступлено к собиранию материалов для выяснения необходимых улучшений в системе местного управления и в законоположениях о крестьянах. Уже при его преемнике, Н. П. Игнатьеве, была организована (4 сент. — 20 окт. 1881 г.) под председательством статс-секретаря М. С. Каханова. «особая комиссия для составления проекта местного управления», с участием «местных сведущих людей», которая должна была разработать план местной реформы. Из недр комиссии вышел проект «волости», как мелкой территориальной административной единицы, обнимающей все население местности; во главе «волости» должен был стоять «волостель», по выбору уездного земства. Проект этот вызвал сильную оппозицию со стороны экспертов, набранных из состава губернаторов и предводителей дворянства, относившихся отрицательно к идее бессословности и не сочувствовавших усилению земства. В результате 1 мая 1884 г. Комиссия была закрыта до окончания ее работ. Данными, собранными Комиссией, министерство внутренних дел воспользовалось для реакционных мероприятий по местному управлению 90-х годов (новые положения — земское 1890 г. и городское 1892 г., положение о земских начальниках). И по составу, и по задачам Кахановская комиссия является как бы слабой попыткой продолжить реформы 60-х годов в эпоху уже наступившей реакции; ее плачевный исход знаменовал полное торжество самой темной дворянской реакции и окончательный отказ шедшего на поводу у нее правительства от бюрократического либерализма первых лет царствования Александра II.

Стр. 279.

Дочери кн. А. А. Щербатова были замужем: княжна Мария Александровна за темниковским уездным предводителем дворянства Ю. А. Новосильцевым (род. 1859), а кн. София Александровна за тамбовским уездным предводителем В. М. Петрово-Соловым (1850—1908).

Стр. 290.

Б. Н. Чичерин имеет в виду известное сочинение Ю. Ф. Самарина, вышедшее в 5 выпусках в Берлине в 1868—1876 гг.: «Окраины России», посвященное вопросу о Прибалтийском крае.

Стр. 294, строка 10 сверху.

О болгарских делах см. примечание к стр. 89.

Стр. 294, строка 4 снизу.

«Гирс трусливее чем когда-либо».

Стр. 298.

Договор трех императоров (русского, германского и австрийского) был подписан 6/18 июня 1881 г. Подробно об этом см. в исследовании С. Д. Скаскина: Конец австро-русско-германского союза. Том I, М., 1828 (Кн. 1, Восстановление союза трех императоров).

Стр. 300, строка 13 сверху.

Б. Н. Чичерин имеет здесь в виду Бисмарка, государственного канцлера Германской империи с 1871 по 1890 г. В главе, посвященной

«Путешествию за-границу» (Воспоминания Б. Н. Чичерина. М. 1922, стр. 97) Чичерин характеризует его как «деятеля, который, идя по стопам Фридриха II и сочетая коварство с железною волею, умел перевернуть всю Европу и сделать Пруссию могущественнейшею державою в мире, не возбуждая впрочем сочувствия в тех, которые не поклоняются силе, а ищут удовлетворения высших потребностей человека».

Стр. 300, строка 10 снизу.

Надо полагать, что автор имеет в виду Гладстона, который в августе 1892 г., после победы либералов на выборах, образовал свой четвертый кабинет с весьма радикальной по тому времени программой. Уже в феврале 1823 г. Гладстон внес билль о гомруле (автономии) для Ирландии, намечавший учреждение специального ирландского парламента. Борьбе ирландцев за автономию Чичерин, очевидно, не сочувствовал, видя в ней проявление классовой борьбы массы ирландского населения (католиков) против протестантов-землевладельцев; его пугали террористические акты, которыми она сопровождалась и против которых в свое время (в начале 1880-х годов) тот же Гладстон прибегал к самым суровым мерам, вплоть до смертных казней.

Стр. 300, строка 5 снизу.

Криспи, итальянский премьер с 1887 до 1890 г.; при помощи самых циничных приемов на выборах 1890 г. он добился незначительного большинства в новой палате, но не удержался у власти и в 1891 г. уступил свой пост Джиолитти; в ноябре 1893 г. ему удалось снова занять место премьера. Типичный ренегат, начавший свою политическую деятельность как революционер, член революционного сицилийского правительства в 1848 г. и сподвижник Гарибальди, он в качестве премьера усмирял военной силой восстания в Сицилии и в Ломбардии, проводил исключительные законы, замешан был в банковской панаме 1892—1894 г. и энергично развивал империалистическую политику колониальных авантюр своих предшественников, завершившуюся разгромом итальянского экспедиционного корпуса в Абиссинии.

Стр. 301, строка 3 сверху.

Намек на ген. Буланже, кумира французской армии, пользовавшегося громадной популярностью во Франции, кандидата в диктаторы, человека совершенно беспринципного, который одновременно пытался в своих целях опираться и на радикалов, и на монархистов и, запутавшись в двойной игре, в решительную минуту бежал 1 апреля 1889 г. из Парижа в Бельгию.

Стр. 301, строка 17 сверху.

См. Воспоминания Б. Н. Чичерина, «Путешествие за границу». М., 1932, стр. 115—116, 128.

Стр. 301, строка 4 снизу.

Вильгельм II.

Стр. 302, строка 12 снизу.

Первая глава Воспоминаний Б. Н. Чичерина подготовляется к печати и выйдет отдельным выпуском.

Стр. 302, строка 3 снизу.

Василий Николаевич Чичерин, умерший в 1882 г., и Аркадий Николаевич Чичерин, умерший в 1875 г.

Стр. 305, строка 7 сверху.

Петр Андреевич Хвощинский, двоюродный брат матери автора.

Стр. 305, строка 9 сверху.

Екатерина Петровна Кривцова, жена Н. И. Кривцова.

Стр. 305, строка 9 сверху.

Голландец Теккат.

Стр. 305, строка 11 сверху.

Василий Григорьевич Вязовой. О нем и обо всех упоминаемых выше лицах Б. Н. Чичерин подробно говорит в первых двух главах своих «Воспоминаний», которые подготовляются к печати.

Стр. 305, строка 19 сверху.

Об этом периоде жизни Б. Н. Чичерина и о лицах, с которыми он тогда встречался, см. его «Воспоминания, «Москва в 40-х годах».

Стр. 315, строка 11 сверху.

Сочинение Б. Н. Чичерина «Положительная философия и единство науки» печаталось в «Вопросах философии и психологии» (кн. IX—XIII), после чего вышло в 1892 г. отдельной книгой, с приложением «Опыта классификации животных». Статьи по химии печатались в «Журнале физико-химического общества» в 1887—1892 гг. и вышли книгой уже по смерти Б. Н. Чичерина в 1911 г. под заглавием «I. Система химических элементов. II. Законы химических элементов».

Стр. 315, строка 14 снизу.

Основания логики и метафизики», М. 1894.

Стр. 316.

«Курс государственной науки» (в 3-х томах) был напечатан Б. Н. Чичериным в 1894, 1896 и 1898 гг.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* Редакция приносит глубокую благодарность *Н. П. Чулкову* за содействие при составлении настоящего указателя.

сии (Барановская). и он сам назначен членом и управляющим этой комиссией; ему поручалась неоднократно постройка стратегических железных дорог в Ср. Азии и в Польше—87.

Астафьев Федор Васильевич статский советник, член тамбовского губернского присутствия—21, 30, 33.

Бабаев Николай Иванович (ум. 1896), член Московской городской управы (с 11 июля 1882 г.); заведывал городскими недвижимыми имуществами (III Отделение управы); в 1887 г. избран секретарем Московской городской думы, в каковой должности умер—187, 188.

Бабин Виктор Алексеевич, инженер, д. ст. советник, член правления Козлово - Воронежск -Ростовской жел. дороги—200, 241—242.

Бабст Иван Кондратьевич (1824—1881), профессор политической экономии в Казанском ун-те в 1851—1857 гг. и в Московском—в 1857—1874 гг. О нем см. Воспоминания Б. Н. Чичерина „Московский университет", Записи прошлого, М., 1929,—102

Бакланов Иван Козьмич, коммерции советник; член Московского отделения совета мануфактур и торговли; старшина Московского биржевого комитета; гласный Московской городской думы в 1867—1871 гг. состоял товарищем старшины купеческого сословия по думе по Положению 1862 года; почетный мировой судья—87, 167, 181, 216.

Баранов Алексей Павлович, товарищ прокурора—215.

Баранов Николай Михайлович (1837—1901), капитан-лейтенант, с 1871 г. флигель-адъютант; в 1881 г. назначен и. д. губернатора Ковенской губ., после убийства Александра II по рекомендации Победоносцева назначен петербургским градоначальником, на каковом посту проявил полную несостоятельность, ввиду чего перемещен губернатором в Архангельск, а оттуда (в 1885 г.) в Н.-Новгород—120, 121.

Баранов Эдуард Трофимович, граф (1811—1884), генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии, генерал-губернатор Прибалтийского края (с 1866 г.), позже—Северо-Западного края; в 1874 г. временно управляющий министерством двора; член Госуд. совета и с 1881 г, председатель департамента экономии Гос. совета; председатель так наз. „Барановской" комиссии, имевшей целью выработки проекта законоположения для ограждения интересов казны и публики от злоупотреблений железнодорожных обществ, в результате работ которой явился Устав железных дорог—86, 87, 92.

Баратынский (правильнее — Боратынский) Михаил Сергеевич (1833—1881), племянник поэта, доктор медицины—21, 23, 30, 305.

Баратынский (Боратынский) Сергей Абрамович (1807—1866), помещик Кирсановского уезда Тамбовской губ., брат поэта—21.

Бари, инженер—201.

Басистов Павел Ефимович (1823—1882), видный педагог, по происхождению мещанин; окончил историко-филологический факультет Московского ун-та в 1843 г., затем преподавал русский язык и словесность в Твери и в Москве; незадолго до смерти избран в члены Московской городской управы и заведывал Училищным отделением. Ему принадлежит ряд критических статей в „Отечественных записках" за 1856—1860 гг. и сочинение по методике; издавал также учебные руководства—188.

Бахметева Александра Николаевна (рожд. Ховрина, 1823—1901), писательница, автор популярных книжек „для народа и для детей" с религиозным направлением. О ней см. Воспоминания Б. Н. Чичерина: „Москва 40-х годов", стр. 110,—105, 106.

Бахрушин Василий Алексеевич (ум. 1906), гласный Московской городской думы; вместе с братьями Петром Алексеевичем (1819—1894) и Александром Алексее-

стал во главе так называемой нелегальной оппозиции; чтобы обезвредить его, правительство инсценировало в 1892 г. процесс против него и добилось приговора к тюремному заключению. Амнистированный в 1895 г., он в 1901 г. составил кабинет с либеральной программой, но неудача в деле заключения займа заставила его подать в отставку—295.

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), известный революционер, стрелял в Александра II 4 марта 1866 г.—94, 100.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), публицист; с 1851 г. редактор „Московских ведомостей"; с 1856 г. издатель „Русского вестника"; первоначально умеренный либерал, он с 1863 г. занял резко реакционную позицию, на которой и оставался до смерти. О нем см. Воспоминания Б. Н. Чичерина „Москва сороковых годов", стр. 173—182, и „Московский университет"—66, 86, 101, 105, 114, 115, 175, 223, 240, 241, 261, 265, 266, 267, 268, 290, 296.

Каульбарс Александр Васильевич (род. 1844), генерал, исследователь Средней Азии (издал „Материалы по географии Тяньшаня"); участник Хивинского похода 1873 г; в 1877—1878 гг. принимал участие в Турецкой войне; в 1882 г. был по указанию русского правительства назначен военным м-ром в Болгарию и реорганизовал болгарскую армию, в 1901 г. участвовал в подавлении боксерского восстания в Китае; позже был командующим Одесского военного округа; в войне с Японией (1904—1905 гг.) командовал одной из армий, действовавших в Манчжурии. Подробнее о его деятельности в Болгарии см. примечания—294, 296.

Каханов Михаил Сергеевич (1833—1900), статс-секретарь, управляющий делами комитета министров в 1872—1880 гг., в 1880—1881 гг. товарищ министра внутренних дел (гр. Лорис-Меликова); в 1881—1885 гг. председатель „особой комиссии для составления проектов местного управления", получившей название „Кахановской" (см. Примечания); с 1881 г. член Госуд. совета—275.

Каченовский Дмитрий Иванович (1827—1872), профессор международного права в Харьковском ун-те—69.

Кетчер Николай Христианович (1808—1856), врач, начальник московского врачебного управления; известен как переводчик Шекспира, Шиллера и др.; принадлежал к кружку Станкевича. О нем см. Воспоминания Б. Н. Чичерина „Москва сороковых годов", стр. 195—197 и „Московский университет",—43, 73, 309.

Киселев Гавриил Егорович, московский цеховой; товарищ старшины ремесленного сословия; гласный московской городской думы—184.

Кишкин Михаил Семенович, член Тамбовской губернской управы—22, 29.

Кноп, немецкий банкир—196.

Коваленков Александр Петрович, предводитель дворянства Балашевского уезда Саратовской губ.; гласный Балашевского уездного земского собрания и Саратовского губернского земского собрания; председатель балашевского съезда мировых судей—50.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), профессор государственного права и сравнительной истории права в Московском ун-те (1877—1887); был удален с кафедры за „неблагонадежность", после чего читал курсы в Стокгольме и в Оксфорде. В 1914 г. избран членом Академии наук. Важнейшие из его научных трудов: „Опыты по истории юрисдикции налогов во Франции с XIV в. до смерти Людовика XIV" (М., 1877); „История полицейской администрации в английских графствах... до смерти Эдуарда I" (Прага, 1877), „Полиция рабочих в Англии XIV в. (Лондон, 1878). „Общественный строй

Михайлов, инженер—87.

де-Монфор Симон, граф Лейсестерский (1206—1265), знаменитый вождь английских баронов в их борьбе против короля Генриха III; разбил его в 1264 г., взял в плен и принудил согласиться на реформу государственного строя Англии, после чего был провозглашен „протектором" (регентом) королевства, но в следующем году пал в сражении с сыном короля, Эдуардом. Он первый стал привлекать к участию в парламенте, наряду с крупными королевскими вассалами, представителей мелкого поместного дворянства и городов—69.

Мордвинов Семен Александрович (1825—1900), сенатор и старший председатель петербургской палаты с 1876 г.; в 1880 г. в числе четырех сенаторов послан Лорис-Меликовым для производства ревизии с целью выяснения нужд населения, с 1895 г. член Госуд. совета—157.

Мороне (Morone) Франческо (род. около 1474 г., ум. 1529), итальянский художник, родом из Вероны—76.

Мосолов Николай Семенович (род. 1847), сын коллекционера, рисовальщик и гравер; в 1861 г. получил от Академии малую серебряную медаль; в 1864 г.—большую золотую медаль; „почетный вольный общник" Академии Художеств; специализировался по гравированию копий с рисунков и офортов Рембрандта. В 1872 г. издал „Les chefs d'oeuvreaux de l'Ermitage Impérial à S-t Petersbourg". „Les Rembrandts de l'Ermitage Impérial", в 1876.—„Dix eaux-fortes d'après Rembrandt". Продолжал расширять собрание картин отца и деда—74, 75.

Мосолов Сергей Николаевич, коллекционер, расширил картинную галлерею, начало которой было положено отцом его, Николаем Семеновичем Мосоловым; по родословной у С. Н. Мосолова братьев не было—74, 75,

Мочалов Павел Степанович (1800—1848), изв. артист—77.

Муравьев Михаил Николаевич (1796 — 1886), сенатор (с1842 г.), член Госуд. совета (с 1850г); председатель департамента уделов (с 1856 г.); министр госуд. имуществ с 1857 г. по 1861 г. В 1863 г. назначен генерал-губернатором сев.-западных губерний для подавления польского восстания; задачу свою он исполнил с величайшей жестокостью, заслужившей ему прозвище „вешателя"; после усмирения вел энергичную руссификаторскую политику в крае (до 1865 г.), впоследствии вел следствие по делу Каракозова—100, 131.

Муратов Алексей Николаевич, секретарь тамбовского дворянского собрания; в 1860-х годах мировой посредник в Тамбовском у.; позже член Тамбовской губернской управы, в качестве какового заведывал „богоугодными" учреждениями—28, 29, 34.

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), профессор римского права, преподавал в Московском ун-те с 1877 по 1884 г., когда вынужден покинуть кафедру по политическим причинам, многолетний гласный Московской городской думы и Московского и Тульского губернских земских собраний; председатель Московского юридического об-ва (с 1880 г.); председатель Госуд. думы I созыва; за подписание Выборгского воззвания был привлечен к судебной ответственности и устранен от дальнейшей общественной и политической деятельности. Имеет много научных трудов: „О консерватизме римской юриспруденции" (1876), „Очерки общей теории гражданского права" (1877) и др.—180, 191, 249, 253.

Мусин-Пушкин Алексей Сергеевич, граф (1820—1881). О нем см. Воспоминания Б. Н. Чичерина, „Москва в сороковых годах"—40.

Набоков Дмитрий Николаевич (1826—1904), член Госуд. совета, министр юстиции в 1878—1885 гг.—114.

[1] В „Московском некрополе“ дата смерти ошибочно показана — 1894; исправлена по Указателю к Журналам Моск. Гор. думы за 10 лет 1893—1903. М. 1907.

с 1816 по 1835; на дочери его княгине Варваре Николаевне (род. 1841) был женат шурин Б. Н. Чичерина Василий Алексеевич Капнист (род. 1838)—44.

Рихтер Оттон (Дмитрий) Борисович (1830—1898), генерал-адъютант; в 1858 г. назначен состоять при наследнике Николае Александровиче; с 1866 г. управляющий делами императорской главной квартиры и начальник штаба войск гвардии и СПБ военного округа: с 1881 г. командующий императорской главной квартирой; с 1887 г. член. Госуд. совета. Об его добрых отношениях с Б. Н. Чичериным свидетельствуют письма, сохранившиеся в архиве последнего. О нем см. Воспоминания Б. Н. Чичерина, „Московский университет"—228, 229, 237, 245, 270.

Роберти (Де-Роберти де Кастра де-ла-Серда) Евгений Валентинович (род. 1843 г.), философ-позитивист, земский деятель; в 1880 г. выступил в Тверском дворянском собрании с предложением ходатайствовать о введении представительства—315.

Ростопчин Андрей Федорович, граф (1813—1871), младший сын московского генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина; библиофил, писатель-библиограф и коллекционер, владелец ценной библиотеки и картинной галлереи—73.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1829—1894), композитор—77.

Рукавишников Константин Васильевич (1848—1916), гласный Московской городской думы; после трагической смерти Алексеева в 1893 г. был избран городским головою, но звание это сложил в 1896 г. Видный деятель по борьбе с детской беспризорностью, продолжавший дело своего брата Николая Васильевича, по его инициативе и на его средства был учрежден „Городской Рукавишниковский приют" для малолетних правонарушителей. Он сам руководил постановкой дела в приюте до 1908 г., когда устранился из-за несогласия с вошедшей в нем в употребление палочной системой воспитания; стал вновь принимать участие в его жизни с 1911 г., когда было приступлено к реорганизации системы воспитания на гуманных началах—183, 248.

Рукавишников Николай Васильевич (ум. 1875 г.) брат предыдущего, известный деятель по борьбе с детской беспризорностью, с 1870 г. до смерти директор основанного „Обществом распространения полезных книг" приюта для малолетних правонарушителей, получившего в 1873 г. наименование Рукавишниковского; был проводником гуманных принципов воспитания малолетних. После его смерти по инициативе его братьев, на средства, пожертвованные ими в 1879 г., приют был расширен и реорганизован и передан в ведение городского управления под названием „Городского Рукавишниковского приюта"—183.

Сабуров Андрей Александрович (1838—1916), попечитель дерптского учебного округа (с 1875 г.), в начале 1880 г. занял пост министра народного просвещения, каковой должен был покинуть в марте того же года, и перешел в Сенат; в 1899 г. назначен членом Госуд. совета—102, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 121.

Сабурова Елизавета Владимировна, рожд. Соллогуб (род. 1847), дочь писателя В. А. Соллогуба (1814—1882), замужем за А. А. Сабуровым—107.

Садовский Пров Михайлович (1818—1872), знаменитый артист—67.

Садовский, инженер—47.

Садомцев Дмитрий Васильевич, помещик Борисоглебского уезда Тамбовской губ.—27, 35, 46, 48.

Салтыков (Щедрин) Михаил Евграфович (1826—1889), знаменитый русский сатирик—205.

фели были предоставлены представителям консервативной партии Болгарии. По настоянию последней он отменил всеобщее голосование и допустил давление на выборах 1882 г., но в дальнейшем разошелся с консерваторами и поддерживавшим их князем Александром, в результате чего кабинет его пал. В 1883 г. он составил новый кабинет с участием умеренно-либеральных элементов болгарского общества и стал настаивать на восстановлении Терновской конституции, действие которой было приостановлено князем, но, когда в сентябре 1883 г. князь, помимо его, провозгласил восстановление конституции, то Соболев счел уместным удалиться в Россию. См. подробнее в примечаниях—294.

Созонович Михаил Сергеевич, инженер, член Московской городской управы (с 16 марта 1882 г.),, заведывал строительным отделением—187.

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901), коммерции советник, известный меценат, коллекционер и издатель; собранная им картинная галлерея после его смерти перешла в б. Румянцевский музей—75.

Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882), писатель, автор повести „Тарантас".

Соллогуб Мария Федоровна, графиня, рожд. Самарина (1821 — 1888), сестра славянофила Ю. Ф. Самарина, с 1846 г замужем за графом Львом Александровичем Соллогубом (1818—1852)—43.

Соловая, Соловой — см. Петрово-Соловая. Петрово Соловой.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), известный философ-идеалист—293.

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), русский историк, профессор Московского университета. О нем см. Воспоминания Б. Н. Чичерина, „Московский университет", Указатель, и „Москва 40-х годов", стр. 186—191,—43, 85, 315.

Солодовников, московский купец—272.

Сольсбери (Salisbury) Роберт-Артур-Тальбот, маркиз (1830—1903), английский государственный деятель, с 1869 г. лидер консервативной партии в палате лордов; после смерти Дизраэли стал во главе всей партии; в 1885 г. составил свой первый кабинет, в 1886 г. второй, продержавшийся до 1892 г.; с 1895 г. непрерывно был председателем кабинета до 1902 г. Он вел упорную борьбу с политикой Гладстона; при нем имело место усмирение Ирландии; во время предвыборных кампаний он обещал социальные реформы рабочим, но на деле поддерживал интересы крупных домовладельцев, торговых компаний, фабрикантов.

В области иностранной политики он энергично противодействовал в 70-х годах притязаниям России на Балканском полуострове (в качестве уполномоченного на Константинопольской конференции 1876 г. и на Берлинском конгрессе). В 90-х годах он развил самую беззастенчивую империалистическую политику; поддерживал авантюру Джемсона в Трансваале и втянул Англию в войну с бурами (1899—1902), по окончании которой передал председательство в кабинете своему племяннику А. Бальфуру и удалился от политики—78.

Сосульников, купец, член Тамбовского губернского земского собрания—22, 24.

Стамбулов Стефан (1855—1895), болгарский политический деятель, в 1884 г. избран президентом болгарского собрания; сначала радикал, примкнул потом к Александру Баттенбергскому, но после свержения его в 1886 г. образовал новое правительство, к которому перешло регентство; способствовал избранию в 1887 г. Фердинанда Саксен-Кобургского, при котором стоял во главе министерства и правил страною как диктатор, чем вызвал сильное недовольство и должен был в 1894 г.

Сдано в набор 16/VI—34 г. Подписано к печ. 28/XI—34 г. Тираж 4100. экз. Заказ № 5429.
Уполн. Главлита № В-39905. Печ. л. 23 1/4; авт. л. 30, бум 62—94 1/16. Кол. печ. зн. в 1 л. 51500.

2-я типография Трансжелдориздата им Лоханкова. Ленинград, ул. Правды, д. № 15.